Рабиндранат Тагор

Рассказы

Перевод
с бенгальского



Государственное издательство
художественной литературы
Москва
1957

Составитель
А. П. ГНАТЮК-ДАНИЛЬЧУК
Вступительная статья
И. А. МИХАЙЛОВОЙ

РАБИНДРАНАТ ТАГОР

Имя великого индийского писателя, поэта и мыслителя, гуманиста и патриота Рабиндраната Тагора широко известно как в самой Индии, так и за ее пределами.

Наследие Тагора огромно. Им написано двенадцать романов и повестей, более ста рассказов, свыше тридцати пьес, много поэм, стихотворений и песен. Не менее известен Тагор как публицист и активный общественный деятель.

Творчество Рабиндраната Тагора составляет целую эпоху в индийской литературе. Продолжая многовековые литературные традиции Индии, опираясь на сокровища ее древнейшей культуры, великий писатель и поэт явился вместе с тем смелым новатором как в выборе тем своих произведений, так и в области формы и языка.

В своих произведениях, особенно в рассказах и романах, Тагор правдиво отобразил окружающую его действительность, показал жизнь простых людей Индии, поведал об их тяжелой судьбе, об их радостях, горестях и надеждах. Тагор одним из первых в бенгальской литературе создал жанр рассказа и наряду с исключительными по красоте и глубине чувств лирическими поэмами — замечательные образцы политической лирики.

Рабиндранат Тагор жил в тяжелую для Индии эпоху колониального господства, когда английские империалисты не только грабили и эксплуатировали эту богатейшую страну, обрекая ее многомиллионный народ на нищету и бесправие, но и стремились всеми способами принизить замечательные достижения индийского народа во всех областях культуры и искусства. Именно в эти годы Тагор выступил как истинный патриот, горячо любящий свой народ, родной язык, прекрасную природу своей страны.

Произведения Рабиндраната Тагора, его стихи и поэмы, романы и рассказы, статьи и памфлеты проникнуты большой любовью к родине, уважением к человеку, верой в его счастье. Как подлинный гуманист, Тагор всегда выступал против кровавых империалистических войн, он был борцом за мир, за дружбу и сотрудничество между народами.

Исключительные художественные достоинства, большая человечность и правдивость сделали произведения Тагора близкими и дорогими многим поколениям читателей, и они по праву вошли в сокровищницу мировой литературы.

* * *

Рабиндранат Тагор родился в Калькутте 7 мая 1861 года в богатой и родовитой семье бенгальских помещиков, представители которой являлись одними из наиболее культурных и образованных людей своего времени.

Из семьи Тагоров вышло много выдающихся реформаторов и общественных деятелей, талантливых поэтов, музыкантов, художников и артистов.

Дом Тагоров в Калькутте в течение нескольких десятилетий конца XIX — начала XX века был центром культурной жизни Бенгалии.

Тагор обучался в различных учебных заведениях Калькутты, но школы, которые он посещал, с их казенными программами, угодными английским хозяевам, давали мало знаний будущему писателю. Широкое образование и глубокое знакомство с родной литературой и языком Тагор получил дома.

В 1878 году Тагор едет в Англию. Однако через полтора года он возвращается на родину и целиком посвящает себя литературной деятельности.

Политическая обстановка в Индии в этот период была сложной. Восстание 1857 года, которое Маркс охарактеризовал как первое национальное восстание в Индии, пробудило в широких слоях индийского общества чувство национального самосознания, идею борьбы с английскими колонизаторами. Восстание было жестоко подавлено английскими властями, но уже в 70—80 годах в Индии вновь наблюдается оживление национально-освободительного движения. Это движение оказало большое влияние на Тагора, как об этом говорит сам писатель в своей книге «Беседы в Китае». Семья Тагоров выступала за развитие индийской промышленности, была организатором ежегодной ярмарки «Хинду Мела», пропаган-

дирующей национальную промышленность и национальное искусство, способствовала развитию родного языка.

Наряду с идеями национально-освободительного движения значительное влияние на формирование общественно-социальных взглядов Тагора оказало религиозно-философское общество «Брахмо Самадж», основанное в 1828 году крупным реформатором и публицистом Бенгалии Рам Мохон Роем. Деятельность «Брахмо Самадж» в значительной степени была направлена против кастовой системы, жертвоприношений и многих других средневековых пережитков.

Большое значение для развития творчества Тагора имело также новое направление в бенгальской литературе во второй половине XIX века, связанное с именем крупнейшего бенгальского романиста Бонкима Чондро Чоттопадхая.

Во второй половине XIX века, после многовекового преобладания поэзии, значительное место в бенгальской литературе стала занимать проза. Изменилась тематика произведений. Писатели отходят от старой религиозной традиции и начинают интересоваться реальной жизнью. Уже в 50—60 годах появляются такие произведения, как драма Динабондху Митро «Зеркало Индиго», написанные с позиций критического реализма; в исторических романах Бонкима звучит тема борьбы индийского народа со своими поработителями.

В литературной и артистической обстановке своей семьи Рабиндранат Тагор очень рано узнал все лучшее, что было создано до него в индийской литературе. Наряду с бенгальскими классиками XIX века на начинающего писателя немалое влияние оказала древнеиндийская литература, в особенности поэмы Калидасы[1], религиозная вишнуистская средневековая лирика и народная бенгальская поэзия.

Тагор начал писать очень рано. Его первыми произведениями были лирические стихотворения, и следует подчеркнуть, что поэзия преобладала в творчестве писателя в течение всей его жизни. Расцвет лирики Тагора падает на 70—80 годы XIX века, несмотря на создание им нескольких романов, драм и публицистических статей.

Вначале стихи юного поэта печатались в бенгальских журналах «Гьянанкур» и «Бхароти». Первым произведением Тагора, вышедшим отдельной книгой, была поэма «История поэта» (1877). Вслед за ней появляется сборник лирических стихов «Лесные

---

[1] Калидаса (V в. н. э.) — великий индийский поэт и драматург.

цветы», небольшие стихотворения в прозе, лирические поэмы и драма в стихах «Разбитое сердце» (1879).

Все эти произведения носили еще подражательный характер, и содержание их определялось главным образом миром чувств самого автора и его душевными переживаниями. Характерно, что впоследствии сам Тагор отрицательно относился к своей ранней поэзии. В своих «Воспоминаниях» Тагор характеризует поэму «История поэта» как произведение «молодого человека, не видавшего до того времени фактически ничего, кроме преувеличенного изображения своего собственного туманного «я».

Более значительной является поэзия 80-х годов — лирические сборники «Вечерние песни», «Утренние песни», «Картины и песни», «Диэзы и бемоли». В них поэт пытался выйти из узкого круга личных переживаний и отразить окружающий его мир.

К лучшим поэтическим произведениям Тагора относится лирика более позднего периода — сборники: «Маноши» (1890), «Золотая ладья» (1892), «Садовник», «Лунный серп» (90-е годы), а также религиозно-философские сборники: «Найбедья» (1901), «Переправа» (1904), «Гитанджали» (1910) и другие. Эти произведения, принадлежащие перу уже зрелого автора, поражают читателя глубиной мысли, исключительной красотой и музыкальностью стиха, богатством поэтических средств и разнообразием форм.

С начала 90-х годов тематика произведений Тагора значительно расширяется. Писатель обращается к жанру короткого рассказа, на что оказал известное влияние переезд Тагора в 1890 году из Калькутты в свое имение Шилейду.

Пребывание в Шилейде и многочисленные разъезды по окрестным деревням познакомили писателя с бытом бенгальских крестьян, заставили его еще больше полюбить родную природу.

Вникая в быт индийской деревни, писатель воочию убедился, как тяжело положение крестьянства, страдающего от гнета английских хозяев, местных помещиков и ростовщиков, от средневековых пережитков и предрассудков.

Перед писателем открылся новый, мало знакомый ему до сих пор мир индийского народа с его заботами, радостями и горестями.

«Трепет внешней жизни вливается в мою душу шумными зелеными волнами, и их свет, аромат и звучание претворяются в моем воображении в рассказы и повести», — говорил писатель в одном из своих писем из Шилейды.

Все это давало Тагору большой, яркий и разнообразный материал, который в дальнейшем нашел отражение на страницах его рассказов, явившихся наиболее подходящим для этого жанром.

С этого периода, то есть с 1891 года, Тагор начал писать рассказы.

Следует отметить, что жанр новеллы возник в бенгальской литературе только во второй половине XIX века, и Тагор явился, по существу, новатором в этой области. До Тагора несколько авторов писали рассказы, но ни один из них не прославил себя как новеллист. Слава создания бенгальского рассказа, как отмечает большинство исследователей, принадлежит Рабиндранату Тагору, в творчестве которого рассказы занимают одно из первых мест.

Тагор создает большую часть своих рассказов в 90-е годы, в период своего пребывания в Шилейде. Писатель работает в это время особенно интенсивно. 1905—1907 годы ознаменовались в творчестве Тагора созданием патриотических и политических стихов, песен и статей, поэтому в этот период деятельность писателя как новеллиста отходит на второй план. Между 1907—1917 годами Тагор вновь обращается к рассказам, но они скорее напоминают повести, и число их сравнительно невелико. Писатель продолжал свою деятельность новеллиста до конца своих дней. Так, например, в 1940 году вышла книга его рассказов «Три друга».

Рассказы Тагора отличаются прежде всего правдивым изображением действительности. Писатель старается показать в них значительные явления жизни, найти наиболее характерные, типичные положения и образы. Именно поэтому рассказы Тагора так ярки, так волнующи, и многие из них не потеряли своей актуальности до настоящего времени.

Тагор отобразил в своих рассказах неведомый для прежней индийской литературы мир простых людей. Освободившись от векового влияния религии на литературу, индийская проза в те годы только вступала на путь реализма. Поэтому, когда в начале 90-х годов появились рассказы Тагора, повествующие о повседневной жизни, делах и чувствах крестьян, мелких помещиков, чиновников, служащих, городской и сельской интеллигенции, это было огромной победой реалистического направления в индийском искусстве.

В своих рассказах Тагор умело раскрывает характер, психологию и внутренние переживания своих героев («Бабу Наянджора», «Счастливые смотрины», «Возвращение, кхокабабу»). В маленьком, казалось бы незаметном, человеке писатель открывает большие и глубокие чувства.

Тагор раскрывает душевный мир ребенка («Кабулиец», «Тетрадка») и психологию взрослого человека, показывает семейную

драму («Ночью», «Приговор») и трагедию одиночества человека в современном ему обществе, где вместо дружеских и родственных привязанностей господствует власть денег («Неразумный Рамканаи», «Расчеты», «Учитель»).

Но Тагор не ограничивается показом душевных переживаний своих героев. Он принимает живое участие в судьбе человека, остро переживает его страдание, горе и унижение. Симпатии писателя всегда на стороне простых людей, отличающихся благородством, честностью, трудолюбием, но вынужденных претерпевать всевозможные лишения в условиях колониальной Индии. Вместе с тем писатель рисует отвратительные фигуры богатых помещиков, крупных чиновников, важных брахманов, английских сахибов, показывает их страсть к обогащению, фальшь, лицемерие, а главное жестокость и произвол в отношении индийского народа.

Как истинный гуманист, Тагор поднимает голос против тех общественных устоев и отношений, которые уродуют и калечат человеческую личность, морально и физически губят человека.

Многие рассказы направлены против средневековых пережитков индийского общества, фанатичных верований, веками сковывавших сознание людей («Мохамайя», «Жива или мертва?», «Наследство»).

Большое внимание писатель уделяет проблеме каст. Уже один тот факт, что Тагор часто вообще не указывает кастовую принадлежность своих героев и что многие положительные персонажи оказываются представителями низших каст, свидетельствует об отрицательном отношении автора к кастовым различиям. Но Тагор не ограничивается этим. В ряде рассказов писатель наглядно показывает косность кастовой системы, утверждая, что живые человеческие чувства и привязанности выше искусственных условных ограничений («Отречение», «Гирлянда любви»). Наиболее интересен в этом отношении рассказ «Отречение», заключающий в себе острый драматический конфликт. Герою его пришлось выбирать между отречением от горячо любимой жены, оказавшейся не брахманкой, или отказом от касты. Он выбирает последнее и открыто заявляет: «Я не признаю каст!» Эти слова Тагора, вложенные в уста одного из его героев, прозвучали смелым вызовом многовековым традициям.

Не меньшей критике подвергается в рассказах реакционное индийское брахманство. Сатирические образы брахманов — ханжей и бездельников — прекрасно изображены в рассказах «Освобождение» и «Искупление». Гневной сатирой на брахманство проникнут рассказ «Жертвоприношение». Герой этого рассказа Бойдонатх,

желая иметь наследника-сына, решил совершить особую священную жертву. Сотня брахманов была приглашена для участия в грандиозном богослужении, и им раздавались всевозможные угощения. «А в те дни, — говорит Тагор, — страшный голод надвинулся на Бихар, Бенгал и Ориссу, превратив их жителей в ходячие скелеты. Пока Бойдонатх думал о том, кто будет есть его хлеб, голодающие с тоской смотрели на пустые миски и думали о том, что они будут есть».

Сцена, рисующая Бойдонатха, с благочестивым видом наблюдающего за пиршеством, в то время как слуги отгоняют от дверей его дома толпу голодных людей, проникнута негодованием автора. На резких контрастах богатства и бедности, роскоши и нищеты, столь характерных для Индии того времени, построено все описание жертвоприношения: с одной стороны — стоящие у дверей умирающие от голода люди, с другой — «жирные», «здоровенные» брахманы, пирующие в доме богача.

Наибольшей остроты достигает заключительная сцена рассказа. В толпе голодных оказалась и жена Бойдонатха, которую он выгнал из дому десять лет тому назад, не зная, что у нее должен родиться сын. Худая, изможденная женщина просит дать хоть немного пищи для своего умирающего ребенка, но ее мольбы не трогают «благочестивого» брахмана, и он приказывает слугам выгнать мальчика и мать.

Открыто выступает писатель также против аскетизма, освященного в индийской литературе многовековой традицией.

Тагор первый из бенгальских писателей изображает истинное лицо отшельников, срывает с них обличье святости и благочестия. Для писателя, горячо любящего жизнь, для гуманиста, глубоко верящего в человека, всегда чужды были те тенденции индуизма, которые предписывали больше заботиться о спасении собственной души, о благе в следующих рождениях, чем о делах настоящей, реальной жизни.

В ряде рассказов писатель создает целый ряд отрицательных и сатирических образов отшельников («Избавление», «Отшельница»). Истинная сущность «ухода от мира» наиболее ярко раскрыта в рассказе «Освобождение», герой которого «ученый» брахман Фокирчанд под видом ухода в отшельники сбегает от семьи, не желает работать и ведет праздное и паразитическое существование

Центральной темой очень многих рассказов является тяжелое положение индийской женщины. Следует отметить, что женские образы особенно заботливо и любовно нарисованы писателем На страницах рассказов мы знакомимся с простыми, любящими,

глубоко мыслящими и чувствующими женщинами Индии. Судьба их часто оказывается трагической, так как старые обычаи и традиции, узаконивающие бесправие индийской женщины, наиболее глубоко укоренились в семейном быту.

Согласно многовековой традиции выбор жениха для девушки производился прежде всего с учетом касты, древности рода и богатства, в то время как на чувства и симпатии самой невесты обращалось меньше всего внимания. Это хорошо изображено в одном из лучших рассказов писателя «Мохамайя», посвященном разоблачению дикого обычая «сати» (самосожжение вдов), долгое время существовавшего в Индии и отмененного только в 1832 году. Разлучая Мохамайю с любимом человеком, ее брат Бхабаничорон выдает ее замуж за умирающего старого брахмана, прекрасно зная, что на другой же день ее как вдову сожгут на погребальном костре. Но даже мучительную смерть он считает спасением от бесчестья — брака с любимым, но не знатным человеком.

Древний обычай, требовавший непомерных расходов на брачные церемонии, на подарки и подношения жениху, ложился непосильным бременем на семью девушки. Часто, чтобы выдать дочь за «достойного» человека, крестьянин тратил последние сбережения, продавал дом и все свое имущество, занимал под огромные проценты деньги у ростовщика, а в результате вся семья становилась нищей («Жертва Джогешора», «Расчеты»).

Тяжело отражался этот обычай и на положении самой девушки. Для семьи родовитого жениха приобретение невесты являлось часто выгодной статьей дохода, и если родители девушки не могли выплатить обещанных сумм, то ее жизнь в доме свекра становилась настоящим адом. Именно в таком положении оказалась Нирупома — героиня рассказа «Расчеты». «Разве твоя дочь кошелек, который ценят лишь до тех пор, пока в нем есть деньги?»—с возмущением жалуется Ниру своему отцу. Непрестанные упреки, оскорбления, отсутствие всякого ухода во время болезни довели девушку до смерти, а райбахадур, устроив пышный погребальный обряд, невиданный в округе, занялся поисками новой невесты для сына, требуя теперь уже не десять, а двадцать тысяч рупий приданого и обязательно наличными.

С большим реализмом раскрывает Тагор жестокость обычая ранних браков. Маленькая девочка, почти ребенок, лишенная заботы и внимания своей семьи, попадая в дом мужа, становится бесправным, забитым существом («Тетрадка»). Ума, героиня этого рассказа, была развитым, одаренным ребенком. Она рано научилась читать и писать, любила записывать в дневник свои мысли и

наблюдения, первые самостоятельные сочинения. Но муж этой девятилетней девочки Перимохон, считающий себя образованным и культурным человеком, приходит в негодование, узнав, чем занята его жена. Он не может даже представить, что она, его раба и вещь, может иметь такие же потребности и желания, как и он сам. Туманно рассуждая о том, что грамота подавляет силу женщины и тем самым нарушается равновесие сил в супружеской чете, он грубо отбирает у Умы дневник, лишая девочку последней радости.

Особое внимание уделяет писатель трагической судьбе индийских вдов. Хотя во времена Тагора они уже не подвергались сожжению, жизнь сулила им мало радости. Лишенные по индуистским законам права на вторичное замужество, они были обречены вести бесцельное и бессмысленное существование, так как большинство индийских женщин могло найти себе применение лишь в узкой сфере семьи Трагизм подобного положения, когда молодая, полная сил женщина становится лишним человеком в обществе, показан в рассказах «Скелет», «Судья», «Мохамайя».

Почти во всех этих рассказах женщина-вдова, пытающаяся преодолеть старые обычаи, не находит своего счастья.

В рассказе «Мохамайя» девушка-вдова открыто нарушила все индуистские правила. Ей удалось сбежать с погребального костра и уйти к любимому человеку. Но обгоревшее лицо Мохамайи, всегда закрытое покрывалом, как вечный символ погребального костра, встало непреодолимой преградой между ней и Раджибом. Стремятся устроить личную жизнь, нарушая тем самым «священные» традиции, и героини двух других рассказов. Но обеим женщинам любовь принесла только страдания и мучения, толкнув их в конце концов на самоубийство.

Вместе с тем в целом ряде рассказов Тагор рисует прекрасные образы индийских женщин, которые уже имеют смелость постоять за себя вопреки семейным традициям. Шоши в рассказе «Старшая сестра», несмотря на то, что горячо любит своего мужа, возмущается его незаконными действиями. Она открыто выступает перед судьей и рассказывает о всех бесчестных махинациях своего мужа.

Особенно ярко раскрывается тема права женщин на самостоятельность, на свободу своей личности в рассказе «Письмо женщины». В уста его героини Мринал писатель вкладывает настоящий протест против бесправного положения женщины в индийском обществе. «Почему самым маленьким людям на этом свете живется труднее всех? — восклицает Мринал. — Как бессмысленна моя жизнь, как бессмысленны установленные в ней законы,

принятые обычаи». Но не в смерти, подобно другим героиням рассказов, находит Мринал свое освобождение. После пятнадцати лет, проведенных в доме мужа, она уходит из этого дома и начинает самостоятельную жизнь. «Теперь, выйдя на свет, я вижу, что только здесь я могу сохранить чувство собственного достоинства», — говорит Мринал в конце рассказа.

Образы новых индийских женщин, стремящихся получить образование, занимающихся литературой и искусством, изображены также в рассказах «Профессор» и «Унижение». В одной из более поздних новелл «Непринятый рассказ», относящейся к 20-м годам, Тагор ставит вопрос об участии женщин не только в культурной, но и общественно-политической жизни Индии. В образе Амии — студентки одного из колледжей — автор показывает передовую, прогрессивно настроенную девушку, активно и смело включившуюся в освободительную борьбу своего народа.

Наряду с критикой средневековых пережитков индийского общества многие страницы рассказов посвящены критике современных Тагору социальных отношений, показу их противоречий, обостренных в условиях колониального режима.

Правдиво рисует Тагор беспросветную жизнь индийской деревни. Хоринатх Мозумдар, например, в рассказе «Оплошность» не считается бедным крестьянином, но он живет в развалившемся доме, у него нет коровы, а все имущество заложено у ростовщика. Каково же должно быть положение настоящего бедняка?

Произвол заминдара над крестьянами не имеет предела. Естественно, что они живут в страшной нищете, если помещик «несколько раз в год отправляется в сопровождении полицейского насильно отбирать арендную плату». Но прямым ограблением в виде требования непомерных налогов заминдар не ограничивается. Он может заставить крестьянина выполнять любую работу, не считаясь с его временем, занятостью и домашними делами. В период уборки урожая, когда крестьяне торопились собрать рис, боясь, что он будет затоплен водой, заминдар отправляет двух братьев Дукхирама и Чхидама на целый день чинить крышу своей конторы («Приговор»). С возмущением говорит писатель об этом издевательстве помещика: «Им (крестьянам) пришлось совершенно промокнуть от дождя, но они не получили положенной платы. Зато они услышали столько попреков и брани, что количество их намного превысило причитающееся им вознаграждение».

Наиболее ярко рисует Тагор насилие заминдара в рассказах «Непоправимое несчастье» и «Разгаданная загадка». Помещик произвольно повышает арендную плату, доводя крестьян до полного

разорения; он незаконно отбирает у арендатора земельный участок, лишая его последних средств к существованию. Особенно примечателен рассказ «Непоправимое несчастье», в котором говорится о том, как разоренный, нищий крестьянин нигде не может найти защиты от беззаконий заминдара. Продажные адвокаты и судьи целиком на стороне помещика, а крестьянин не имеет никаких прав.

Но не только от гнета заминдара страдало индийское крестьянство. Не менее убедительно показывает Тагор, какое разорение приносило крестьянству хищничество ростовщиков («Расчеты»), взяточничество и произвол полицейских чиновников. «Такое жестокое пренебрежение к несчастью и горю человека не украшает даже дьявола», — говорит Тагор о бесчеловечных действиях полиции. Правдиво и жизненно нарисована писателем сцена в рассказе «Оплошность», когда измученный крестьянин целый день сидит под дождем у двери полицейского участка, а развалившийся в кресле чиновник нарочно не хочет его принимать, чтобы получить взятку. «Люди вы или демоны?» — с негодованием спрашивает Тагор.

С большим художественным мастерством изображает Тагор жизнь ремесленников, разоряемых ввозом английских промышленных товаров («Исполненное решение»), мелких чиновников и представителей бенгальской интеллигенции.

Для простого человека из народа стремление получить даже незначительное образование и добиться места мелкого чиновника связано с огромными трудностями и лишениями. Чтобы дать возможность своему сыну Хорлалу («Учитель») кончить начальную школу, его старуха мать должна была заниматься поденной работой, ходить по чужим людям варить пищу и молоть рис. Когда же способный юноша отправился для продолжения своего образования в Калькутту, он познакомился там с настоящей нуждой. Почти умирающему от голода Хорлалу удалось, наконец, устроиться учителем в доме Одхор-бабу — крупного ростовщика и банкира. Однако там он был вынужден терпеть не только материальные лишения и невзгоды, но и выслушивать всевозможные оскорбления и насмешки по поводу своей бедности. Окончание колледжа не могло принести облегчения такому человеку, как Хорлал, не имеющему «рекомендации от каких-нибудь влиятельных лиц». «Если он и сдаст экзамены, — говорит Тагор, — то получить работу нет никакой возможности... Трудно найти место, но еще труднее жить без работы». Безработица и нищета — таков был удел даже образованного человека в колониальной Индии. Но и те, кому посчастливилось получить место чиновника или служащего с

мизерным жалованием в несколько десятков рупий, обречены были на тяжелое существование. Писатель показывает, что в буржуазном обществе, где все подчинено власти денег, проникнуто подкупом и взяточничеством, царит не меньший произвол, чем в феодальной деревне. Честность, бескорыстие, благородство — все лучшие человеческие качества подавлены в этом обществе властью денег, безудержным стремлением к обогащению.

В уже упомянутом рассказе «Учитель» сын богача Бенугопал выкрадывает у мелкого служащего Хорлала (своего бывшего учителя) три тысячи рупий казенных денег. Когда же Хорлал пытается получить пропавшие деньги от его отца, то он слышит только грубые насмешки и издевательства и даже угрозы отправить его самого в полицию.

В рассказе «Оплошность» провинциальный врач, честно выполняющий свою работу, бесплатно лечащий бедняков, оказывается неугодным полицейскому инспектору. Он незаконно увольняет доктора только за то, что тот посмел обвинить полицейских в непомерном взяточничестве и вступиться за бедняка крестьянина.

Рамканаи (герой рассказа «Неразумный Рамканаи») возмущается бесчестными махинациями своего сына, стремящегося отобрать небольшое состояние у тетки-вдовы. Старик открыто разоблачает преступные действия Нободипчондро, но его благородный поступок вызвал только всеобщее недоумение. Адвокаты на суде, влиятельные друзья его сына и даже его жена решили, что «такого круглого дурака не найти во всем городе». Измученный всеобщим осуждением, старик не перенес потрясения и умер, а напутственным словом ему было единодушное мнение всех родственников, что «было бы куда лучше, если бы он скончался на несколько дней раньше».

Трудолюбивые, честные и бескорыстные люди не находят себе достойного места в окружающей действительности. Там процветают богачи, взяточники и хищники, только им принадлежит право произвольно распоряжаться судьбой всех обездоленных, неимущих людей.

Острая и едкая сатира писателя направлена во многих рассказах против той части индийской буржуазии и буржуазной интеллигенции, которая пренебрегает интересами своей страны и своего народа ради мелких подачек английских хозяев («Коронация»).

Разоблачая раболепство индийской буржуазии перед англичанами, Тагор осуждает ее слепое преклонение перед английской культурой, литературой и языком («Профессор», «Унижение»).

Особенно интересен в этом отношении рассказ «Унижение», герой которого бенгалец Хоришчондро Хольдар не знает своего родного языка. Он делает невероятные ошибки в произношении, а писать может только с помощью англо-бенгальского словаря.

Основную причину бедственного положения Индии Тагор видит в британском колониальном господстве. Характерным примером разоблачения насилий, чинимых английскими хозяевами над индийским народом, является один из лучших рассказов Тагора «Свет и тени». В этом рассказе английский чиновник ради забавы стреляет в парус индийского баркаса, от чего гибнет судно и часть гребцов; английский полицейский, не желая терять времени, приказывает разрезать рыбацкую сеть, оказавшуюся на его пути, а эта сеть стоила семьсот — восемьсот рупий и составляла богатство целой деревни; судья, англичанин, требует от крестьян несколько килограммов масла для своей собаки, и за невыполнение этого приказа управляющий поместьем подвергается грубым издевательствам.

«Есть много преступлений, которые требуют от зрителя немедленного вмешательства... Тогда бывает мучительно стыдно утешать себя ссылкой на грядущее правосудие», — восклицает Тагор.

Герой этого рассказа Шошибушон, возмущаясь преступлениями, совершенными на его глазах английскими властями, считает своим долгом заступиться за несчастных крестьян. Чтобы добиться справедливости, он неоднократно обращается в суд, но его старания не имеют успеха. Шошибушон одинок в своей борьбе; даже пострадавшие крестьяне, боясь судебных издержек и потеряв веру в справедливость правосудия, не поддерживают его, и в результате сам Шошибушон попадает в тюрьму.

Более стоек и мужественен в своей борьбе Кешорлал — герой рассказа «Великая надежда» — активный участник восстания 1857 года. Он открыто заявляет, что «надо изгнать из Индии белых людей», и с оружием в руках борется за свободу своего народа.

Конечно, Тагор еще не мог указать в своих рассказах путь освобождения индийского народа от гнета иностранных колонизаторов. Характерно, например, что участниками и руководителями освободительного движения писатель изображает в основном представителей бенгальской интеллигенции и студенчества. Однако, смело говоря правду о представителях господствующих классов и об английских хозяевах и выражая глубокое сочувствие страданиям народа, Тагор стремился пробуждать своими рассказами

чувство любви к своей родине, к ее замечательному народу и веру в его счастливое будущее.

Наряду с глубокой идейной направленностью рассказы Тагора отличаются исключительными художественными достоинствами

Большинство рассказов — это новеллы, занимающие всего несколько страниц, с небольшим числом персонажей. Диалог в них также невелик, и тема раскрывается главным образом через поступки героев. В этом сказалось большое мастерство и новаторство Тагора, так как почти все произведения предшествующей и даже современной писателю индийской литературы отличались большими размерами, обилием монологов и диалогов и большим числом действующих лиц.

Тагор выступает в рассказах как прекрасный мастер пейзажа, глубоко понимающий и любящий природу своей родины. Мы находим в рассказах картины «ароматного весеннего утра», «знойного полдня с его «глубоким безмолвием», вечера, когда «в бескрайном небе появляется неясный свет молодого месяца». Но писатель не просто любуется красотами индийской природы. К Тагору в полной мере можно отнести то, что он сам сказал об одном из своих героев: «За шелестом расцветающей весны он рассмотрел огромный мир, страдающий от голода и жажды». Пейзаж в рассказах Тагора неотделим от человека С помощью пейзажа автор оттеняет характер действующих лиц, их настроения и чувства. Например, Тагор значительно усиливает драму, разыгравшуюся между героями рассказа «Отречение», противопоставлением спокойной весенней природы переживаниям людей. Картина страшной бурной ночи в рассказе «Мохамайя», во время которой девушка навсегда уходит из своей деревни, подчеркивает перелом, происходящий в жизни героини. Тонко переплетается пейзаж с переживаниями героя в рассказе «Голодные камни».

В обрисовке портрета Тагор отказывается от старой индийской поэтической традиции, требующей подробного, всестороннего описания внешности персонажа. Писатель старается подчеркнуть какую-нибудь одну характерную черту облика человека, о которой затем напоминает неоднократно на протяжении всего рассказа. Так, рисуя портрет Курани («Гирлянда любви»), Тагор все время указывает на то, что ее лицо «по выражению напоминает лесную лань», или что «у нее глаза, как у лани» Благодаря этому приему у читателя создается более яркое и полное впечатление от данного образа.

Язык рассказов отличается исключительной поэтичностью и образностью, что помогает писателю более глубоко понять их со-

держание. Вместе с тем язык рассказов предельно ясен и прост. Он близок к разговорному языку Бенгалии и понятен для всех слоев бенгальского народа. Эта особенность рассказов имела важное значение для литературы того времени, так как с XVII—XVIII веков неуклонно растет разрыв между разговорным и литературным языком Бенгалии. Начало большой и сложной работы введения бенгальской народной речи в художественную и публицистическую литературу заложил еще Бонким Чондро Чоттопадхая, его начинания блестяще развил в своих рассказах Тагор.

Если в 90-е годы XIX века Тагор выступает главным образом как новеллист, то с начала девятисотых годов, кроме рассказов, появляются его крупные романы. В 1901—1902 годах выходят в свет романы Тагора «Песчинка в глазу» и «Крушение». По своей тематике эти романы можно назвать социально-психологическими, так как главное внимание в них уделяется вопросу взаимоотношений героев, их переживаниям и чувствам, вступившим в противоречие с консервативной традицией. Наиболее характерен в этом отношении роман «Крушение», представляющий в то же время большую познавательную ценность и дающий широкую картину индийской жизни на рубеже XIX—XX веков.

1905—1907 годы ознаменовались в Индии мощным подъемом национально-освободительного движения.

Антианглийские демонстрации под лозунгами самоуправления (сварадж), развития национальной промышленности и отечественного производства (свадеши) охватили всю страну. Особой силы движение достигло в Бенгалии.

В эти годы Тагор становится активным деятелем национально-освободительного движения. Он выступает на митингах протеста, принимает участие в создании национальных просветительных организаций, выдвигает планы аграрных преобразований в деревне. Писатель создает в этот период много патриотических песен и стихотворений, которые находят широкий отклик у миллионов трудящихся Индии.

Однако характер массовой революционной борьбы, который приняло движение 1905—1907 годов, оттолкнул Тагора, так как писатель всегда стоял на принципах реформ и ненасилия, как единственных средств социального переустройства общества.

В 1907 году Тагор покидает Калькутту и целиком посвящает себя педагогической деятельности в школе в Шантиникетоне. Эта школа была основана Тагором в поместье его отца в 1901 году, и писатель всегда уделял ей большое внимание. Тагор стремился ввести в Шантиникетоне обучение на принципах гуманного, сво-

бодного воспитания, приспособить индийские традиции воспитания к запросам современности. Большой упор в Шантиникетоне делался на развитие у детей эстетических вкусов и любви к национальному искусству. Тагор многие свои произведения писал специально для этой школы, и некоторые его драмы впервые были поставлены в Шантиникетоне.

Последующие годы — период правительственных репрессий и спада национально-освободительного движения — отмечены в лирике Тагора некоторой религиозно-философской направленностью, на что несомненно оказали влияния и его личные большие утраты: за пять лет, с 1902 по 1907 год, писатель потерял жену, дочь, отца и сына. В эти годы были опубликованы лирический сборник «Гитанджали» (1910) и несколько других сборников стихов, а также пьесы «Раджа» (1910), «Почта» (1912) и ряд статей.

В 1911 году Тагор создает песню, ставшую ныне государственным гимном республики Индии. В это же время (1910) выходит в свет роман «Го́ра», в котором нарисована яркая картина жизни Бенгалии конца XIX века. Горячая любовь к своей родине, поиски путей ее освобождения от иностранного господства, критика феодальных устоев и традиций, требование самостоятельности для индийской женщины — таковы основные идеи романа «Го́ра».

Следующий крупный роман Тагора «Дом и мир» вышел в свет в 1916 году. Роман этот написан от имени трех действующих лиц: Бимолы, Шондипа и Никхилеша. Взаимоотношения героев раскрываются Тагором на фоне движения «свадеши» — агитации за товары национального производства и бойкота иностранных товаров, — широко развернувшегося в Индии в годы, к которым относится создание романа.

Крайне разнообразны по сюжету и форме драматические произведения Тагора. Им были созданы музыкальные и танцевальные пьесы, в постановке которых принимал участие и сам автор, несколько небольших социальных комедий в прозе, драматические диалоги и, наконец, наиболее известные драмы: «Отшельник» (1883), «Жертвоприношение» (1895), «Читра» (1895), «Освобожденный поток» (1922), «Красные олеандры» (1924) и другие.

Взяв за основу сюжета своих драм старые легенды или отдельные исторические факты, писатель освещает их по-новому, вносит в них новые идеи и настроения. Поэтому драмы Тагора, несмотря на их, казалось бы, отдаленность от реальной жизни, представляют все же значительное явление в индийской литературе.

В 1910 году Тагор возвращается в Калькутту и вновь занимается широкой общественной деятельностью. В 1912 году писатель посещает Англию, а в 1913 году за сборник «Гитанджали», вышедший в английском переводе самого Тагора, ему была присуждена Нобелевская премия по литературе. В этом же году писатель получил от Калькуттского университета степень доктора литературы.

Во время нового мощного подъема национально-освободительного движения 1918—1920 годов Тагор, несмотря на то, что он не принимал активного участия в этом движении, стоял, как всегда, на стороне индийского народа, протестуя против жестокостей английских колонизаторов. Так, в 1919 году, в связи с расстрелом, учиненным английскими империалистами над безоружным народом в городе Амритсаре, писатель обращается с гневным письмом к вице-королю, в котором открыто выражает свой протест против действий английских властей и отказывается от дворянства и титула пэра, дарованного ему английским правительством.

В эти годы начинаются путешествия Тагора по различным странам Европы, Азии и Америки с докладами и чтением лекций.

К этому же времени относится деятельность Тагора по организации в Шантиникетоне интернационального университета «Вишва-Бхароти», открывшегося в 1921 году, в котором на принципах равноправия, дружбы и солидарности обучалась молодежь из различных провинций Индии, а также Китая, Бирмы, Малайи, Ирана и других стран Азии.

В 1921 году недалеко от Шантиникетона Тагор создает пункт помощи крестьянам «Шриникетон», который по его мысли должен был стать центром ликвидации неграмотности, распространением сельскохозяйственных, медицинских и других полезных знаний и навыков среди крестьян. Писатель мечтал этим улучшить тяжелое положение индийского крестьянства.

За последние два десятилетия его жизни в творчестве писателя происходят значительные изменения. Октябрьская революция и дальнейший рост страны социализма не могли не оказать влияния на такого большого художника, каким был Тагор. Писатель чутко прислушивается к голосу индийского народа и народов других стран, к их стремлениям, надеждам и чаяниям, расширяет и обогащает тематику своих произведений.

В 30-е годы, несмотря на преклонный возраст, Тагор активно сотрудничает в прогрессивном общественно-литературном бенгальском журнале «Поричой». Он приветствует создание «Ассоциации прогрессивных писателей Индии». В этот период появляется не-

сколько его новых повестей и рассказов («Две сестры», «Четыре части»), ряд стихотворных сборников («Конец», «Возрождение») и драматических произведений. В своей лирике писатель все большее внимание уделяет показу тяжелой жизни индийского народа. Его произведения проникнуты глубоким убеждением, что настоящая свобода для его родины невозможна без освобождения народа (поэма «Униженные»).

Интересы Тагора не ограничиваются только Бенгалией и Индией. Писатель поднимает голос в защиту угнетенных народов других стран. Еще ранее в статьях и выступлениях Тагор клеймил линчевание негров и расовую дискриминацию в США, жестокость колонизаторов в Бельгийском Конго (статья «Торговля смертью»). Его поэма «Поклонники Будды» (30-е гг.) полна негодования по поводу попыток японских империалистов поработить китайский народ. В стихотворении «Африка» Тагор выступает в защиту борющейся с итальянскими фашистами Абиссинии, где «стоны и крики задушены и лесные тропинки стали влажны от крови и слез». В 1938—1940 годах, когда гитлеровские полчища вторглись в страны Европы, появляются поэмы и стихи Тагора, проникнутые возмущением против фашистского насилия и полные чувства солидарности со свободолюбивыми народами.

Социальная и политическая лирика Тагора представляет собой лучшие страницы индийской поэзии. Этот жанр не был известен ранее в индийской литературе. Здесь Тагор является подлинным новатором, смело преодолевающим старые поэтические традиции.

Творчество Тагора сыграло огромную роль в дальнейшем развитии индийской литературы, оказало большое влияние на совершенствование мастерства лучших демократических писателей и поэтов Индии.

Под влиянием его рассказов и романов начинал свою писательскую деятельность крупный романист и новеллист Бенгалии Шорот Чондро Чоттопадхая.

Даже на такого крупного писателя-демократа, как Прем Чанд, оказало благотворное воздействие творчество Рабиндраната Тагора. В одном из своих писем он писал: «Что касается моих рассказов, то первоначально на меня влиял Рабиндранат. Затем я развил свой собственный стиль».

Современные индийские поэты и писатели продолжают развивать наследие Тагора. Они учатся у великого художника правдивому изображению жизни, критической направленности художественных произведений, большому и сложному мастерству писателя.

Имя Рабиндраната Тагора известно почти каждому человеку в любой провинции Индии, его произведения переведены на многие индийские языки.

Творчество Тагора оказало влияние не только на развитие литературы, но и на общественную жизнь Индии. В своих произведениях писатель старался пробудить у соотечественников чувство национальной гордости, любви к родине, ненависть к ее поработителям. В одной из своих последних статей «Кризис цивилизации» (1941) Тагор писал: «Колеса судьбы скоро принудят англичан покинуть Индию, но что они оставят после себя? — Какие бедствия! Когда схлынет поток их двухсотлетнего правления, какое море тины и грязи останется после него!» Всем своим творчеством писатель боролся с чужеземным засилием в языке, литературе, искусстве; он требовал, чтобы обучение в школах и университетах, работа в общественных организациях проводились на родном языке; многочисленными статьями по истории индийской литературы и популярными лекциями он знакомил индийский народ с его культурными ценностями.

Как в художественных, так и в публицистических произведениях Тагор отстаивал дело мира, был непримиримым противником войны. Еще в 1915—1920 годах он разоблачал японских и американских империалистов и предостерегал народы мира от ужасных последствий милитаризации этих стран. В дальнейшем, в 30-е годы, писатель клеймил фашистскую агрессию и выражал дружеские чувства народам, борющимся с фашизмом (статья «Ответ на Мюнхен» и другие произведения конца 30-х годов). В лекциях, выступлениях и докладах, во время своих путешествий по различным странам писатель призывал предотвратить новую мировую войну, убеждал народы в возможности мирного сотрудничества, ратовал за широкий обмен культурными достижениями между различными государствами.

Большая заслуга Тагора в том, что он один из первых раскрыл перед индийскими читателями правду о Советском Союзе. В своей книге «Письма о России», опубликованной после его поездки в Советский Союз в 1930 году, писатель ярко и убедительно показал замечательные достижения советского народа в технике и хозяйственной жизни, в культуре, в вопросах образования и т. д. «Наконец, я прибыл в Россию, — писал Тагор. — Все, что я вижу,— чудесно. Не похоже на другие страны... Они всколыхнули всех». Тагор восхищался энергией советских людей и политикой советского правительства. Книга Тагора сыграла немаловажную роль в деле укрепления дружеских чувств и симпатий индийского народа к СССР.

До конца своих дней (Тагор умер 7 августа 1941 года) писатель продолжал живо откликаться на все важнейшие события современности. В дни второй мировой войны, когда гитлеровская Германия напала на СССР, Тагора не покинула уверенность в светлом будущем свободного человечества; он твердо верил в победу демократии над мрачными силами агрессии.

Велики заслуги Рабиндраната Тагора — писателя-гуманиста и общественного деятеля перед прогрессивным человечеством. Индийский народ свято чтит светлое имя Рабиндраната Тагора, писателя-патриота, всегда мечтавшего о свободе и лучшей жизни для своего народа.

И. Михайлова

Рассказы



Расчеты

Когда в семье Рамшундора Митро, уже имевшего пять сыновей, родилась, наконец, дочь, счастливые родители назвали ее нежным именем Нирупома [1]. Это редкое имя до сих пор не встречалось в роду Рамшундора. Здесь детей чаще всего нарекали именами богов — Ганеш, Картик или Парвати [2], но только не Нирупома.

Пришло время, и Нирупома стала невестой. Заботливый отец начал подыскивать подходящего жениха, но долго никто не мог ему угодить. Наконец, жених отыскался. Это был единственный сын райбахадура [3]. Юноша происходил из знатного, но обедневшего рода.

Отец жениха потребовал приданое в десять тысяч рупий [4]. Рамшундор, не подумав как следует, согласился на эти условия, лишь бы не упустить знатного жениха. Однако собрать нужную сумму оказалось не так-то легко.

Рамшундор продал и заложил все, что только мог, но все же к назначенному сроку ему не хватало шести-семи тысяч рупий. А день свадьбы все приближался и, наконец, наступил.

---

[1] Нирупома — буквально — несравненная.

[2] Ганеш — в индийской мифологии — бог мудрости, покровитель наук. Картик — бог войны. Парвати — супруга Шивы, бога созидания и разрушения, иначе — Дурга.

[3] Райбахадур — почетный титул, присваивавшийся английскими колониальными властями.

[4] Рупия — основная денежная единица в Индии; приблизительно 84 коп.

В последний момент нашелся человек, который под огромные проценты согласился ссудить ему недостающую сумму, но по каким-то причинам этих денег Рамшундор так и не получил.

И вот за свадебным столом началась перебранка. Напрасно Рамшундор умолял райбахадура подождать с уплатой.

— Пусть свадьба идет своим чередом,— просил он.— Я непременно отдам вам долг.

— Нет,— упорствовал райбахадур,— пока я не получу всех денег, жених и за стол не сядет!

При этих словах на женской половине дома кто-то горько заплакал. Там находилась главная виновница всех неприятностей. Она, надев красное чели[1], украшения и сделав себе на лбу метку сандаловой краской[2], ожидала решения своей судьбы. Нельзя сказать, чтобы это происшествие вызвало у нее чувство нежной привязанности и глубокого уважения к будущим родственникам.

К счастью, события приняли благоприятный для Рамшундора оборот. Неожиданно для всех жених отказался подчиниться своему непреклонному отцу и заявил:

— Я пришел сюда не для того, чтобы торговаться. Я намерен жениться, и я женюсь!

Возмущенный отец стал жаловаться гостям.

— Вы посмотрите на него! Вот как ведет себя нынешняя молодежь! — кричал он.

— А все потому, что никто их больше не учит шастрам[3] и правилам поведения! — поддакнул кто-то из стариков.

Столь ядовитые плоды современного воспитания, ярко проявившиеся в его сыне, вконец расстроили райбахадура, и свадьба прошла безрадостно.

Расставаясь с дочерью, Рамшундор крепко прижал ее к груди. Он не смог сдержать слез.

— Папа, они позволят мне бывать у тебя? — спросила Ниру.

---

[1] Чели — шелковая одежда. Красное чели — одежда невесты.

[2] Сделав... метку сандаловой краской — здесь: часть свадебного обряда индуистов.

[3] Шастры — древние священные книги, в которых изложены обязанности индуистов, трактаты по различным религиозным, философским и научным вопросам.

— А почему бы нет? Я буду сам заходить за тобой,— успокаивал ее отец.

Рамшундор часто навещал дочь. Но среди своих новых родственников он не пользовался уважением. Даже слуги в этом доме и те смотрели на него косо. Лишь иногда ему удавалось поговорить с Ниру пять — десять минут в отдельной комнате, но зачастую он не мог даже увидеть дочь.

Невозможно было гордому Рамшундору терпеть дальше все унижения, которым он подвергался в этом доме. «Ничего не пожалею, а деньги отдам!» — говорил он себе. Скоро он настолько превысил свои платежные возможности, что бремя долгов стало для него непереносимым. Ему пришлось урезать все домашние расходы и прибегать ко всяким довольно некрасивым уловкам, чтобы только не попадаться на глаза кредиторам.

А жизнь Ниру в доме свекра с каждым днем становилась все безрадостней. Часто, после того как кто-нибудь отзывался непочтительно о ее семье, она запиралась в своей комнате и горько рыдала. Но больше, чем от всех прочих, ей доставалось от злой свекрови. Бывало, скажет кто-нибудь о Ниру:

— Какая красивая — глаз не оторвать!

А свекровь тут же начинает ворчать:

— Тоже нашли красавицу! Вы бы лучше ее семейкой полюбовались!

Никто не заботился о Ниру, и если какая-нибудь сердобольная соседка замечала, что Ниру плохо одета или похудела, свекровь сразу же ее обрывала.

— За свое приданое она и так много получает! — заявляла свекровь, словно желая подчеркнуть, что степень заботы о молодой женщине будет находиться в прямой зависимости от уплаты долга ее отцом.

Домашние смотрели на Нирупому так, словно она, не имея на это никакого права, обманом вошла в их семью.

Рамшундор знал, как издеваются над его дочерью. Поразмыслив, он решил в конце концов продать свой дом, лишь бы отдать деньги.

«Арендую дом у нового хозяина»,— думал он, но никому не говорил о своем намерении, полагая, что при помощи такой простой уловки ему удастся скрыть продажу дома от сыновей до самой смерти.

Но они каким-то образом разузнали об этом и пришли

к нему. Особенно протестовали трое старших сыновей, которые уже сами имели детей. Планы отца натолкнулись на столь упорное сопротивление с их стороны, что ему пришлось отказаться от продажи дома.

Тогда Рамшундор, чтобы выйти из трудного положения, опять начал занимать деньги под высокие проценты у кого только мог.

Это привело к тому, что настал день, когда семье Рамшундора не на что стало жить. Встречаясь с отцом, Ниру чувствовала, как трудно ему приходится. Его осунувшееся лицо, поседевшие волосы и угнетенный вид говорили о нужде и тяжелых заботах. Да и сам он чувствовал себя виноватым перед дочерью и не в силах был скрывать от нее боль, причиняемую сознанием своей вины. Когда Рамшундор с разрешения родни зятя урывками виделся с Ниру, его печальная улыбка ясно говорила, как ему тяжело.

Ниру всей душой стремилась побывать в доме отца. чтобы хоть как-нибудь утешить его страдающее сердце.

— Отец, возьми меня домой! — попросила она как-то.

— Хорошо,— согласился Рамшундор.

Но он не имел в семье зятя никакого веса, словно, не уплатив деньги, он уступил вместо них свои отцовские права. Даже для того чтобы просто повидаться с дочерью, ему каждый раз приходилось испрашивать особое разрешение. Но как может отец отказать дочери, если она просит только о том, чтобы побывать дома?

Лучше не вдаваться в подробности, сколько унижений, оскорблений и мучительного стыда испытал Рамшундор, прежде чем собрал три тысячи рупий. Только после этого он решился изложить свою просьбу райбахадуру.

Завязав банковые билеты в угол чадора [1], Рамшундор отправился в дом свата. Принужденно улыбаясь, он для начала завел разговор о последних новостях. Рамшундор обстоятельно поведал о крупной краже у Хорекришно; сравнил между собой братьев Нобинмадхора и Радхамадхора, похвалив первого и выбранив второго; передал различные слухи о новой эпидемии, которая появилась в городе. Затем он отложил в сторону хукку [2] и, как будто между прочим, сказал:

---

[1] Чадор — кусок ткани, употребляемый как верхняя одежда.
[2] Хукка — трубка для курения.

— Да, чуть было не позабыл! За болтовней совсем из головы выскочило. Ведь я тебе деньги должен, так вот я принес немного... Да, дорогой, старею, видно...

После столь длинного предисловия Рамшундор легко и небрежно вынул три банковых билета. Но если учесть, чего они ему стоили, то он, вероятно, легче бы вырвал три своих собственных ребра.

Однако, увидев всего три тысячи рупий, райбахадур презрительно расхохотался.

— Оставь, сват, мне эта мелочь не нужна,— сказал он, приведя в заключение бенгальскую поговорку, смысл которой заключается в том, что не следует пачкать руки по пустякам.

Вероятно, в целом мире не найдется отца, который решился бы после этого просить, чтобы его дочь отпустили погостить домой.

«Нет, так больше не может продолжаться!» — думал про себя Рамшундор.

Угнетенный таким обращением райбахадура, он долго молчал, прежде чем осмелился, наконец, изложить свою просьбу. Но тот без всяких объяснений отрезал:

— Нет, нельзя! — и ушел по делам.

Дрожащими руками Рамшундор завязал в чадор банковые билеты и вернулся домой, так и не увидев дочери. Он дал себе слово, что не переступит порога этого дома, пока не выплатит всех денег и не будет вправе потребовать у свата, чтобы его дочери разрешили хоть изредка появляться под отеческой кровлей.

Прошло много времени... Нирупома не раз посылала за отцом, но он не приходил. В конце концов она обиделась и больше не возобновляла своих безуспешных попыток. А Рамшундор хотя и сам сильно страдал, но в доме свата не показывался.

Наступили праздничные дни ашшина[1]. Рамшундор сказал себе: «Чего бы это мне ни стоило, но на праздник Ниру должна побывать дома. Я этого добьюсь».

И он поклялся самой страшной клятвой.

На пятый или шестой день ашшина старик опять завязал в чадор банковые билеты и уже совсем собрался идти, когда к нему подбежал пятилетний внук и спросил:

---

[1] **Ашшин** — шестой месяц индийского календаря, соответствует сентябрю — октябрю.

— Дедушка, ты идешь покупать мне коляску?

Мальчик давно мечтал покатать по улице игрушечную коляску. За ним подошла внучка, которая была всего на год старше малыша, и обиженно сказала:

— Нет, дедушка идет купить мне хорошее платье! А то в чем я пойду в гости на праздники!

У нее даже слезы навернулись на глаза.

Тяжело было Рамшундору слышать все это. Подавленный, он курил трубку за трубкой и горестно вздыхал, думая о том, что его невесткам придется идти к райбахадуру на праздник Пуджи[1] в жалких нарядах и украшениях, словно они самые последние бедняки. Но, сколько он ни думал, ничего придумать не мог — только морщины на лбу стали глубже.

Когда опечаленный старик вошел в дом райбахадура, в его ушах еще звучал плач маленьких внучат.

На этот раз Рамшундор уже не чувствовал себя стесненно. Он шел как по собственному дому и не опускал униженно глаз под взглядами привратников и слуг. Однако самого райбахадура дома не оказалось, и ему велели немного подождать.

Рамшундор, не в силах сдержать волнения, прошел к дочери. От радости у обоих из глаз полились слезы. Плакал отец, плакала дочь, и некоторое время они не могли произнести ни слова.

Наконец, Рамшундор сказал:

— Теперь я возьму тебя на праздник, дочка, и никто мне не запретит!

Неожиданно дверь отворилась, и в комнату вошел старший сын Рамшундора с двумя его маленькими внуками.

— Отец, ты что — собираешься по миру нас пустить? — обратился сын к Рамшундору.

Рамшундор вспыхнул.

— Разве я злой дух своей семьи? — негодовал он.— Должен же я выполнить свой долг!

Оказалось, что старик опять начал заниматься продажей дома, приняв целый ряд предосторожностей из опасения, чтобы это не дошло до сыновей. Но они каким-

[1] Пуджа — большой индуистский праздник в честь возвращения богини Дурги к своим родителям; происходит в конце сентября — начале октября.

то неведомым образом узнали обо всем. Рамшундор был вне себя от негодования.

Тем временем внук обнял колени деда, поднял свое личико и залепетал:

— Дедушка, ты еще не купил мне коляску?

Рамшундор опустил голову. Не получив ответа, мальчик подбежал к Ниру.

— Тетенька, купи мне коляску! — попросил он.

Этого было вполне достаточно, чтобы Нирупома поняла истинное положение вещей.

— Отец, если ты дашь свекру еще хоть одну пайсу [1], ты меня больше не увидишь! — сказала она.

— Не надо так говорить,— возразил Рамшундор.— Если я не отдам долга, это будет позором и для меня и для тебя!

— Наоборот, позорно платить эти деньги! У меня ведь тоже есть самолюбие! Разве твоя дочь кошелек, который ценят лишь до тех пор, пока в нем есть деньги? Да муж их совсем и не требует!

— Но ведь они не будут пускать тебя домой, дочка!

— Что же поделаешь, пусть не пускают. И ты их больше не проси об этом!

Рамшундор дрожащими руками перекинул через плечо край чадора с завязанными в нем деньгами. Он возвращался домой, точно вор, избегая взглядов встречных.

Однако то, что Рамшундор приносил деньги и не отдал их потому, что запретила дочь, не осталось тайной. Любопытная служанка все подслушала у двери и сообщила своему хозяину. Гневу райбахадура не было границ!

Отныне пребывание в доме свекра превратилось для Нирупомы в настоящую пытку. Безрадостное положение молодой женщины отягощалось еще тем, что вскоре после свадьбы ее муж получил должность помощника судьи и уехал в другую местность. Встречаться с отцом и с родными ей совсем запретили: нечего, мол, набираться дурных привычек в таком обществе!

Вскоре Ниру тяжело заболела. Но не следует, однако, возлагать вину за это только на свекровь. Ниру сама

---

[1] Пайса — мелкая монета.

перестала думать о себе и совсем не обращала внимания на свое здоровье. В холодные дни месяца картик[1] дверь у изголовья ее постели оставалась по ночам открытой; зимой она ходила почти раздетой. Ела Ниру плохо, и если служанки забывали принести ей еду, она никогда им об этом не напоминала. Молодая женщина привыкла к мысли, что в этом доме она только приживалка, целиком зависящая от милости хозяев.

Но такое поведение невестки пришлось не по вкусу сварливой супруге райбахадура. Заметив, что Ниру ест с неохотой, она набрасывалась на нее с упреками:

— Подумаешь, богатая наследница! Ей, видите ли, не нравится пища таких бедняков, как мы...

При всяком удобном случае она говорила:

— Посмотрите-ка на нее, полюбуйтесь — вся высохла, точно щепка.

Ниру чувствовала себя все хуже и хуже, но свекровь заявляла, что все это глупости.

Наконец, настал день, когда Ниру с мольбой в голосе обратилась к свекрови:

— Мать, позволь мне последний раз перед смертью увидеть отца и братьев!

— Все это выдумки! — услышала она в ответ.— Просто ты хочешь пойти к отцу.

Что бы ей ни говорили — свекровь ничему не хотела верить. А вечером Ниру умерла... В этот день ее впервые осмотрел врач, больше его звать не пришлось.

Зато погребальные обряды были совершены со всею торжественностью — ведь покойница была женой старшего сына райбахадура! Такого костра, сложенного целиком из сандалового дерева, не видел еще никто в округе. Церемония похорон Ниру была обставлена с такой пышностью, что молва о величии райбахадура разнеслась повсюду. Теперь с его славой могла сравниться разве только слава, окружающая торжества бросания в воду изображения богини Дурги во время праздника Пуджи в доме райчоудхури[2]. Столь великие почести могли быть оказаны только покойной, принадлежащей к дому райбахадура...

---

[1] Картик — седьмой месяц индийского календаря, соответствует октябрю — ноябрю.

[2] Райчоудхури — почетный титул, присваивавшийся английскими колониальными властями.

Говорили, что ради этих похорон райбахадуру даже пришлось влезть в долги.

Рамшундору наперебой рассказывали, с какой роскошью хоронили его дочь. Но вряд ли это могло его утешить.

А тем временем от помощника судьи пришло письмо.

«Я уже устроился на новом месте,— писал он родителям,— поскорей пришлите ко мне жену!»

Супруга райбахадура ответила сыну:

«Сын, мы подыскали тебе другую жену. Поэтому бери отпуск и поскорей приезжай домой».

На этот раз райбахадур потребовал в приданое двадцать тысяч рупий и поставил условие: деньги вперед, до свадебной церемонии.

1891



Неразумный Рамканаи

Только человеконенавистники, любители поднимать шум по пустякам, способны утверждать, что в то время, когда Гуручорон умирал, его жена играла в карты на женской половине дома. Нет, в действительности она сосредоточенно ела холодный рис с рыбой и пряностями. Услышав, что ее зовут, она выплюнула изжеванные стручки и, отставив блюдо с недоеденным рисом, сердито проворчала:

— Времени не хватает даже на то, чтобы доесть несколько горсточек риса.

Гуручорон умирал. Только что ушел доктор. Брат Гуручорона, Рамканаи, стоявший у изголовья больного, сказал:

— Дада[1], если хочешь, продиктуй мне завещание.

— Хорошо, пиши,— сказал умирающий ослабевшим голосом.

Рамканаи приготовил перо и бумагу.

— Все свое движимое и недвижимое имущество завещаю законной супруге Шримоти Бородашундори,— произнес Гуручорон.

Рамканаи писал, хотя перо не слушалось его. Ведь он предполагал, что бездетный брат оставит имущество единственному сыну Рамканаи — Нободипу.

Хотя братья жили раздельно, жена Рамканаи возлагала большие надежды на дядюшкино наследство. Она

---

[1] Дада — старший брат.

даже не разрешила сыну поступить на службу, рано его женила, причем брак этот не остался бесплодным.

Наконец, завещание было готово. Рамканаи дал его брату подписать.

В замысловатой закорючке, которую вывел дрожащей рукой умирающий, трудно было узнать имя Гуручорона.

Когда, бросив свой рис, на зов прибежала жена, Гуручорон уже был не в состоянии разговаривать — началось удушье. Бородашундори разрыдалась. Те, кто лишился надежд на наследство, сказали, что это были крокодиловы слезы, но вы этому не верьте!

Жена Рамканаи, услышав о завещании, подняла скандал.

— Старик рехнулся! — вопила она. — Имея такого замечательного племянника...

Рамканаи очень считался с женой. Он настолько с ней считался, что иные называли это просто страхом. Но здесь не выдержал даже он:

— Милая, ведь ты с ума не сошла, зачем же так себя вести? Брат умер, но я-то жив, мы обо всем побеседуем в другое время, а сейчас не дело заниматься подобными разговорами.

Когда отсутствовавший Нободип, узнав о болезни дяди, спешно приехал, Гуручорона уже не было в живых.

— Посмотрим, кто теперь устроит кремацию по всем правилам,— грозил он умершему дяде,— во всяком случае, я хоронить тебя не буду.

Покойный был взбалмошным человеком и мало считался с общественным мнением. Особенно ему нравилось потреблять такую пищу, которая согласно шастрам считалась самой несъедобной. А если его за это называли христианином, он еще поддразнивал собеседника:

— Ну, уж если я стану христианином, то буду есть говядину!

Таким он был всю жизнь, и нечего было рассчитывать, что он испугается голода который ему придется испытать на том свете, если его не похоронят согласно обрядам. Но Нободип больше ничем не мог ему отомстить. «Пока я жив, — размышлял молодой человек, — я и без дядюшкиного наследства заработаю на пропитание, а вот пусть-ка он попробует на том свете выпросить себе хоть крошку...» У живых людей много преимуществ.

Рамканаи сказал Бородашундори:

— Госпожа, дада передал тебе все свое состояние. Вот завещание. Спрячь его в железный сундук да подальше.

В этот момент вдова, причитая, произносила длинные тирады. Ей вторили несколько служанок. Скорбные вопли женщин разбудили всю деревню.

Появление упомянутого выше клочка бумаги нарушило гармонию, и хор расстроился.

— О, какое несчастье, о, какое несчастье! — причитала Бородашундори.— Дада,— перебила она самое себя,— в чью пользу завещание? Наверное, в твою?.. О, кто теперь будет заботиться обо мне? Кто теперь посмотрит на меня! Прекратите, не кричите все сразу, дайте мне выслушать!.. — прикрикнула, наконец, хозяйка. И затем продолжала:— О, почему я не умерла раньше, и зачем только я осталась жить...

«Да, это случилось, вероятно, по воле злого рока». — Рамканаи вздохнул про себя:

Дома за Рамканаи взялась жена. Как под градом ударов возчика беспомощно стоит бык, попавший с телегой в канаву, так и Рамканаи молча терпел все упреки. Наконец, он грустно промолвил:

— Разве я виноват? Я ведь не Гуручорон.

Жена продолжала шипеть:

— Подумаешь, благородный человек, брат сказал: «Пиши», — он и пишет, ни о чем не думая. Все вы одним миром мазаны!.. Небось тоже собираешься пойти по его стопам, — когда я умру, возьмешь в дом какую-нибудь уродливую ведьму, а моего золотого мальчика выгонишь на улицу. Но можешь на это не рассчитывать, я не скоро умру.

Повествуя о подобного рода несправедливостях, которые в будущем учинит ее супруг, женщина все больше и больше приходила в ярость.

Рамканаи знал по опыту — стоит ему заявить хоть малейший протест против всех этих фантастических обвинений, как буря с новой силой обрушится на его голову. Поэтому он с виноватым видом молчал, будто в самом деле лишил Нободипа наследства, завещал все свое имущество будущей второй жене и умер. И у него не было никакой возможности снять с себя все эти обвинения.

Пока продолжались ссоры между супругами, Нободип советовался с опытными друзьями. Наконец, он сказал матери:

— Я получу дядюшкино наследство, не волнуйся зря. Только нужно отца отправить куда-нибудь на время. Если он останется здесь, ничего не получится.

Мать Нободипа не питала никакого уважения к умственным способностям своего супруга, поэтому она согласилась с доводами сына.

Никчемный, глупый и вредный супруг по настоянию жены был послан под каким-то предлогом в Бенарес. А тем временем Нободип подал в суд, обвиняя Бородашундори в подделке завещания. Та в свою очередь обвинила в том же Нободипа. Нободип предъявил экземпляр завещания в свою пользу, на котором была ясно видна подпись Гуручорона; нашел он и несколько «незаинтересованных в деле» свидетелей.

А у Бородашундори единственным свидетелем был отец Нободипа, и подпись завещателя на ее экземпляре разобрать было очень трудно. Ободрял женщину только живший в их доме двоюродный брат:

— Не беспокойся, я выступлю на суде, найду других свидетелей...

Когда все было подготовлено, мать Нободипа вызвала из Бенареса супруга, и кроткий господин с зонтом и саквояжем приехал домой. Он даже попробовал завести шутливый разговор.

— Ваш покорный слуга прибыл. Каковы будут приказания госпожи? — спросил старик, сложив ладони в знак приветствия. Жена наклонила голову:

— Ладно, ладно, нечего шутить. Провел столько времени под всякими предлогами в Бенаресе и вдруг вспомнил о нас...

Долго еще супруги заверяли друг друга во взаимном уважении. Наконец, обратились к другим темам.

Супруга сопоставила любовь мужчины с привязанностью мусульманина к курице. А супруг отметил, что уста женщин полны очарования, но сердца их подобны острой бритве.

Очень трудно сказать, когда именно научился Рамканаи столь изысканному обращению с женщинами.

Между тем совершенно неожиданно для Рамканаи пришло извещение: его вызывали в суд в качестве

свидетеля. Озадаченный супруг тщетно пытался понять в чем дело. Но явилась жена и, плача, поведала о том, что безобразная ведьма не только лишила Нободипа наследства, справедливо доставшегося ему от любящего дяди, но еще собирается посадить золотого мальчика в тюрьму...

Догадавшись в конце концов в чем дело, Рамканаи решился и громко сказал:

— Что за нехорошее дело вы затеяли?

Супруга отбросила всякое притворство.

— Разве Нободип виноват в чем-нибудь? — говорила она.— Неужели он не получит состояния дяди? По первому слову откажется от него? Но, скажи на милость, что остается делать блестящему, прекрасному, хорошо воспитанному наследнику, если откуда-то прилетела пожирательница глаз, убийца своего мужа, дочь прокаженного и расселась, как дома... Колдовской силой она заставила дядю перед смертью совершить ошибку. Теперь же его чудесный племянник всего лишь старается исправить недоразумение. Ну, разве это несправедливо?

Когда несчастный Рамканаи понял, что жена и сын заодно, он ударил себя по лбу и замолчал. Старик перестал есть и пить.

Два дня прошло в посте. Наконец, наступил день суда. Нободип угрозами и посулами сумел так повлиять на брата Бородашундори, что тот без особого труда дал показания в пользу Нободипа.

Победа была уже готова оставить Бородашундори и перелезть на другую сторону, но в это время судья вызвал Рамканаи.

Истощенный от голода старик с трудом встал и оперся о стойки свидетельской скамьи. Его губы и язык пересохли от жажды.

Опытный адвокат приступил к сложному перекрестному допросу. Он начал издалека и осторожно, задавая каверзные вопросы, приближался к сути дела.

Рамканаи повернулся к судье и умоляюще сложил ладони:

— Господин, я слабый старик. Я не в состоянии долго говорить — скажу коротко. Перед смертью Гуручорон Чокроборти, мой покойный брат, завещал все свое состояние госпоже Бородашундори, своей жене. Я сам писал это завещание под диктовку брата, и тот его под-

писал. Завещание же, представленное моим сыном, фальшивое.— Тут старика начало трясти, и он упал в обморок.

Адвокат, наклонившись к сидевшему рядом прокурору, удивленно подняв брови, прошептал:

— Вот неудача! Как растерялся человек!

А обрадованный двоюродный брат тем временем побежал к сидевшей дома Бородашундори:

— Старик испортил все дело. Процесс выигран нами благодаря моим показаниям.

— Вот уж, правда, никогда не узнаешь человека. А я-то считала старика порядочным,— проговорила женщина.

После долгих размышлений опытные друзья арестованного Нободипа решили, что дело приняло такой оборот исключительно из-за трусости старика. Несомненно, он был невменяем, когда стоял перед судом. Второго такого круглого дурака не найдешь во всем городе.

У Рамканаи началась нервная горячка. И этот глупый, вредный, бесполезный отец скончался, повторяя в бреду имя своего сына. А кое-кто из родственников — я не хочу называть их имен — сказал после смерти старика:

— Было бы лучше, если бы он сделал это немного раньше.

1891



Наследство

I

— Я ухожу! — с гневом сказал отцу Бриндабон Кундо.

— Ах ты щенок! — ответил Джогонатх Кундо.— Я с детства кормил и одевал тебя! Ты никогда не сможешь мне заплатить за это. Смотрите, какая наглость!

В доме Джогонатха не тратили много на еду и одежду. В древности праведники питались очень скудно, носили только крайне необходимую одежду, и Джогонатх старался следовать их великому примеру. Правда, нельзя сказать, чтобы он особенно преуспевал. Частично это происходило из-за пороков, свойственных современному обществу, а частично — из-за совершенно противоестественных потребностей человеческого организма.

Все шло более или менее гладко, пока не женился его сын. После свадьбы сын перестал придерживаться высоких взглядов отца в отношении пищи и одежды. Обнаружилось, что в своих стремлениях он материальное предпочитает духовному. Расходы Джогонатха все увеличивались.

Отец и сын стали часто ссориться. В конце концов, когда серьезно заболела жена Бриндабона, Джогонатх прогнал врача, прописавшего дорогое лекарство. В этом лекарстве он усмотрел доказательство невежества врача. Бриндабон сначала умолял, потом требовал, — все было напрасно. Когда жена умерла, он обвинил отца в ее смерти.

— Почему? — удивился Джогонатх. — Разве люди никогда не умирают, принимая лекарства? И если дорогое лекарство спасает жизнь, то с чего же это умирают цари? И почему нужно поднимать такой шум, когда умирает жена? Чем она лучше твоей матери или бабки?

Действительно, если бы горе не сделало Бриндабона глухим и слепым и он рассуждал здраво, это бы его успокоило. Ни мать, ни бабка не принимали лекарств, когда заболевали. Так было всегда в этом доме. Но теперешние люди и умирать-то не хотят по-старому!

В то время, о котором я рассказываю, англичане только что вторглись в Индию, но и тогда уже старики, покуривая трубки, сокрушенно покачивали головами, глядя на молодежь.

Как бы там ни было, но передовой для того времени Бриндабон поссорился с отсталым Джогонатхом.

— Я ухожу!

Отец немедленно согласился на его уход, заявив, что если он когда-нибудь даст Бриндабону хоть одну пайсу, то пусть все считают, что он пролил кровь коровы[1]. Бриндабон в свою очередь ответил, что если он когда-нибудь наследует состояние Джогонатха, то это будет равносильно убийству матери. После этого отец с сыном расстались.

Жители деревни были рады этому небольшому происшествию, нарушившему однообразие их жизни. Все они по мере сил начали утешать Джогонатха, особенно после того, как узнали, что тот лишил сына наследства. Все утверждали, что только в наше время можно поссориться с отцом из-за какой-то невестки.

При этом прежде всего подчеркивался тот факт, что если умрет невестка, то через некоторое время можно взять другую, но уж если умрет отец, другого не найдешь, хоть все глаза прогляди! Без сомнения, довод был очень веский, но мне кажется, что такой сын, как Бриндабон, скорее бы обрадовался последнему, чем опечалился.

Нельзя сказать, чтобы после ухода Бриндабона отец особенно страдал. Во-первых, с уходом сына сократились расходы, а во-вторых, Джогонатх освободился от посто-

---

[1] По канонам индуизма, корова — священное животное, убивать ее или употреблять в пищу ее мясо считается тяжким грехом.

янного страха: старика всегда преследовала мысль, что его отравят. После смерти невестки этот страх несколько рассеялся, а с уходом сына Джогонатх окончательно успокоился.

Только одно его мучило: вместе с сыном ушел и внук — четырехлетний Гокулчондро. Расходы на пищу и одежу Гокула были относительно невелики, и старик любил внука. И все же, несмотря на неподдельное горе, он прежде всего прикинул, насколько меньше теперь, с уходом двоих, он будет тратить в месяц и сколько на этом он сбережет.

Но все-таки трудно стало жить в опустевшем доме, старику не хватало обычных шалостей Гокулчондро: никто не мешал ему во время молитвы, не утаскивал у него кусков за едой, не убегал с чернильницей, как только он садился за подсчеты расходов. Джогонатх начинал даже страдать от того, что мылся и ел без помех.

Ему казалось, что такую ничем не возмутимую пустоту человек ощущает только после смерти. Особенно тяжело становилось старику, когда он видел дырку, сделанную его внуком на заштопанном одеяле, или чернильное пятно, которое упомянутый художник посадил на цыновке. Дед очень бранил неугомонного мальчишку за то, что тот за два года вконец изнашивал дхоти [1], а теперь, когда он увидел грязные тряпки, брошенные в комнате, где прежде спал Гокул, на глазах у старика навернулись слезы. Он не сделал из этих тряпок фитили для лампы, как поступил бы раньше, не употребил их на что-нибудь другое в домашнем хозяйстве, а бережно спрятал в сундук и дал самому себе обещание, что, если Гокул вернется, он никогда не упрекнет его, даже если тот будет изнашивать по дхоти в год.

Но Гокул не вернулся. Джогонатх старел все быстрее и быстрее, а опустевший дом с каждым днем казался ему все более пустым.

Джогонатх не мог больше спокойно сидеть дома. Даже в полдень, когда все почтенные люди спят после обеда, Джогонатх с трубкой в руке бродил из одного конца деревни в другой. Дети, которых он встречал во время этих безмолвных послеобеденных прогулок, зави-

---

[1] Дхоти — индийская мужская одежда; кусок ткани, обертываемый вокруг бедер и спускающийся ниже колен.

дев его, бросали игры, отбегали на безопасное расстояние и дразнили старика, выкрикивая стихи деревенского поэта о его скупости. Боясь остаться голодными, люди не решались произносить его имя [1], поэтому каждый звал его по-своему, старики — Джогонаш, а дети — «Летучая мышь». Почему они дали ему такое имя — неизвестно. Возможно, его худая, бескровная спина чем-то напоминала этого зверька.

II

Однажды в полдень, прогуливаясь в прохладной тени манговых деревьев, росших вдоль деревенской дороги, Джогонатх увидел незнакомого мальчика, очевидно это был главарь, который учил деревенских ребят новому способу озорничать. Дети, покоренные силой воли мальчика и его богатым воображением, полностью ему повиновались.

Завидев старика, дети бросили игру, а неизвестный мальчик смело подошел к Джогонатху и дернул его за край чадора. В то же мгновение из чадора выпрыгнула ящерица, сбежала по телу старика вниз и исчезла в кустах. От ужаса старик похолодел. Дети радостно зашумели. Не прошло и минуты, как с плеч Джогонатха исчез платок и появился на голове незнакомого мальчика в виде тюрбана.

Джогонатх был очень доволен таким знакомством с этим неизвестным человеком. Давно уже он не видел ни в ком из ребят подобной фамильярности. Поговорив с ним и много пообещав, Джогонатх внушил ему некоторое доверие к себе.

— Как тебя зовут?

— Нитай Пал.

— А где ты живешь?

— Не скажу.

— Как зовут твоего отца?

— Не скажу.

— Почему не скажешь?

— Я убежал из дому.

— Почему?

---

[1] В Бенгалии существует поверие, что тот, кто произнесет имя скряги, не должен есть целый день.

— Отец хотел отдать меня в школу.

«Отдать такого ребенка в школу — ведь это только пустая трата денег и лишь доказательство глупости его отца!» — мелькнуло в уме Джогонатха.

— Будешь жить у меня?

Мальчик ничего не имел против и расположился у старика так бесцеремонно, точно под деревом у дороги. И это еще не все: он стал таким требовательным в отношении еды и одежды, словно уже раньше оплатил все. Из-за этого он, как и следовало ожидать, время от времени ссорился с хозяином дома. Легко было прогнать собственного сына, а теперь вот Джогонатху приходилось подчиняться чужому ребенку!

III

Деревенские жители удивлялись, наблюдая, как хозяйничает Нитай Пал в доме Джогонатха. Было ясно, что старик долго не проживет и все его состояние достанется этому чужому, неизвестно откуда взявшемуся мальчишке.

Все очень завидовали мальчугану и только и думали о том, чтобы как-нибудь навредить ему. Но старик оберегал его как зеницу ока.

Время от времени мальчик угрожал, что уйдет, и Джогонатху приходилось его уговаривать.

— Сын мой, — говорил он, — я умру и оставлю тебе все свое состояние.

Мальчику было немного лет, но он уже прекрасно понимал цену такому обещанию.

Тогда жители деревни пустились на поиски отца мальчика.

— Ах, сколько горя отцу с матерью! — повторяли они.— И кто же виноват в этом, как не мальчишка!

Они осыпали ребенка бранью и злились на него, а это свидетельствовало скорее о зависти, чем о возмущении их справедливых сердец.

Однажды старик услышал от какого-то прохожего, что некий человек по имени Дамодор Пал разыскивает своего сбежавшего сына и что скоро он будет в их деревне. Узнав об этом, Нитай заволновался. Он уже собирался бежать, бросив все свое будущее состояние, но

Джогонатх пообещал так спрятать Нитая, что никто не сможет его найти, даже деревенские жители.

— А где, покажи! — любопытствовал мальчик.

— Если я покажу тебе это место сейчас, все увидят. Мы пойдем туда ночью.

Нитай очень обрадовался новой игре. Он решил, что, когда отец уйдет ни с чем, он обязательно будет играть с ребятами в прятки. И никто его не найдет. Вот хорошо! Отец тоже обыщет все кругом и не найдет его! Ведь это все так интересно!

В полдень Джогонатх запер мальчика дома и куда-то ушел. Когда он вернулся, Нитай пристал к нему с расспросами, от которых старику стало не по себе.

Еще не наступил вечер, как мальчик сказал:

— Идем.

— Еще рано, — ответил Джогонатх.

— Уже наступила ночь, идем, — опять попросил Нитай.

— В деревне еще не спят.

Нитай подождал немного и снова заладил:

— Теперь можно, идем.

Приближалась ночь. Нитаю очень хотелось спать, и, несмотря на отчаянные усилия побороть сон, он начал дремать сидя. В полночь Джогонатх взял Нитая за руку, и они вышли на темную улицу спящей деревни.

Тишина. Только время от времени вдруг залает собака, к ней присоединяются другие. Иногда, испугавшись звука шагов, с шумом взлетит с дерева ночная птица. Замирая от страха, Нитай крепко вцепился в руку Джогонатха.

Они пересекли большое поле и, наконец, в джунглях подошли к разрушенному, пустому храму. Нитай разочарованно спросил:

— Здесь?

Совсем не то, что он ожидал! Это ничуть не весело! После бегства из дому ему приходилось иногда ночевать в таких разрушенных храмах. Правда, если играть в прятки, то место подходящее, но нельзя сказать, что здесь его невозможно будет найти.

Джогонатх сдвинул с пола большой камень. Мальчик увидел внизу какое-то помещение вроде комнаты, в которой горел светильник. Это было интересно. Он удивился, но вместе с тем ему стало почему-то страшно. Джо-

гонатх принес лестницу и спустился вниз. Вслед за ним, дрожа от страха, спустился и Нитай.

Оглядевшись, он увидел, что вокруг стоят медные кувшины, в середине — сиденье, и на нем лежит киноварь, палочка из сандалового дерева, гирлянда цветов и различные молитвенные принадлежности. Из любопытства мальчик заглянул в один из кувшинов — только рупии и золотые монеты.

— Нитай, я говорил, что все свои деньги я оставлю тебе. Больше у меня ничего нет. Все мое состояние — эти несколько кувшинов. Сегодня все отдам тебе.

— Все! — мальчик даже подпрыгнул.— И ты не возьмешь ни одной рупии?

— Пусть отсохнет моя рука, если возьму. Но я ставлю одно условие: если когда-нибудь придет мой внук Гокулчондро, о котором я ничего не знаю, или его сын, или сын его сына, или внук его сына, или кто-нибудь из его рода, — ты отдашь ему все эти деньги.

Мальчик подумал, что старик сошел с ума, и тотчас же ответил:

— Хорошо.

— Тогда садись сюда.

— Зачем?

— Мы совершим богослужение.

— Зачем?

— Так надо.

Нитай сел. Джогонатх взял сандаловую палочку, поставил ему на лбу знак киноварью, на шею надел гирлянду, сам уселся перед ним и начал бормотать молитву.

Мальчику было страшно сидеть как идолу и слушать молитву. Он окликнул старика:

— Дада!

Джогонатх ничего не ответил и продолжал бормотать.

Наконец, он с большим трудом начал по одному пододвигать к мальчику кувшины, приговаривая каждый раз:

— Все эти деньги я отдам Гокулчондро Кундо, сыну Бриндабона Кундо, сыну Джогонатха Кундо, сыну Пороманондо Кундо, сыну Пракришна Кундо, сыну Годахора Кундо, сыну Джудхиштира Кундо, или его сыну, или его внуку, или кому-нибудь из прямых потомков его рода.

От беспрерывного повторения за стариком всех этих имен мальчику стало плохо. У него начал заплетаться язык. Когда священнодействие закончилось, в маленькой пещере стоял туман от дыма светильника и дыхания двух людей. У мальчика кружилась голова, горели руки и ноги, он задыхался.

Пламя светильника слабело и вдруг совсем погасло. В темноте мальчик услышал, что Джогонатх по лестнице поднимается наверх.

— Дада, ты куда? — закричал он в смятении.

— Я пошел, — ответил Джогонатх,— а ты оставайся здесь, тебя никто не найдет. Только помни: Гокулчондро — сын Бриндабона, а Бриндабон — сын Джогонатха.

Старик поднялся наверх и вытащил лестницу. Задыхаясь, напрягая все свои силы, мальчик пролепетал:

— Дада, я пойду к отцу.

Джогонатх надвинул камень на отверстие и, приложив ухо к земле, услышал, как Нитай еще раз, задыхаясь, позвал:

— Отец!

После этого послышался шум падения и наступила тишина.

Передав таким образом свое богатство в руки Джокхи[1], Джогонатх засыпал камень землей. Сверху он набросал кирпичи и щебень, повсюду валявшийся в разрушенном храме, затем все это прикрыл дерном и посадил куст, который вырыл в лесу. Уже почти рассвело, а он никак не мог уйти с этого места и время от времени прикладывал ухо к земле, слушал. Ему казалось, что откуда-то издалека, из самой середины земли доносится плач. Ему чудилось, что ночное небо переполнено этими звуками, что они разбудили всех людей на земле и эти люди сидят на постелях и прислушиваются...

Старик торопливо насыпал один слой земли на другой и утрамбовал их. Он как будто хотел закрыть лицо земли. Вдруг кто-то окликнул его:

— Отец!

Старик стукнул в землю:

— Молчи! Все услышат!

Снова — «отец!» Тут только он заметил, что уже

---

[1] Джокха — в индийской мифологии дух, охраняющий клады.

взошло солнце. Старик со страхом покинул храм и вышел в поле. Опять кто-то позвал его:

— Отец!

Джогонатх испуганно обернулся и увидел Бриндабона.

— Отец, я узнал, что мой сын прячется у тебя. Отдай его.

Старик сощурил глаза, сморщил лицо и, наклонившись к Бриндабону, спросил:

— Твой сын?

— Да, Гокул. Теперь его зовут Нитай Пал, а меня Дамодор, ты так «прославился», что мы решили изменить наши имена.

Старик вытянул вперед руки, растопырил пальцы, словно хотел опереться о воздух, и рухнул на землю.

Когда Джогонатх пришел в себя, он привел Бриндабона в храм и спросил:

— Слышишь, кто-то плачет?

— Нет.

— А ты приложи ухо к земле. Слышишь, кто-то зовет: «Отец»?

— Нет.

Старик как будто немного успокоился...

С тех пор он всех спрашивал:

— Слышишь, кто-то плачет?

И все смеялись над сумасшедшим.

Прошло около четырех лет. Наступил день смерти старика. И когда глаза его уже перестали видеть свет, а дыхание стало прерываться, умирающий вдруг с силой приподнялся. Хватая обеими руками воздух, он проговорил:

— Нитай, кто-то унес мою лестницу.

И, не найдя лестницы, чтобы выбраться из этой лишенной воздуха и света пещеры, он тяжело упал на постель. Он ушел туда, где кончается игра в прятки между жизнью и смертью, туда, где никого нельзя найти.

1891



Освобождение

I

Фокирчанд с детства отличался серьезным характером. Поэтому старики так охотно принимали его в свое общество. Он не переносил холода, сырости и шуток. Глубокомысленный вид и черный шарф, большую часть года обмотанный вокруг его шеи, делали Фокирчанда необычайно солидным. К тому же он рано начал отращивать усы и бороду; густая растительность совершенно скрывала его губы и щеки, и казалось, что для улыбки на лице не было места.

Хоймоботи, жена Фокирчанда, была очень молода, и интересы у нее были самые земные. Например, она любила читать романы Бонкима Чондро [1] и не считала, что должна поклоняться мужу, как божеству. Любила она и повеселиться. Как распускающийся цветок тянется навстречу свежему ветерку и лучам утреннего солнца, так и юная душа Хоймоботи жаждала нежности и веселья. Но муж при каждом удобном случае читал ей «Бхагавату» [2], декламировал по вечерам «Бхагавадгиту» [3] и ради ее духовного развития не останавливался даже перед

---

[1] Бонким Чондро Чоттопадхая (1838—1894) — бенгальский романист XIX века.

[2] «Бхагавата» — одна из пуран — мифологических сказаний индуизма.

[3] «Бхагавадгита» («Песнь господа») — философская поэма из шестой книги древнеиндийского эпоса «Махабхарата».

телесными наказаниями. Обнаружив однажды под подушкой жены роман Бонкима «Завещание Кришноканты», он заставил легкомысленную молодую женщину проплакать всю ночь. Не станет в другой раз читать романы, да еще тайком от мужа!

Путем непрерывных поучений, указаний и наставлений, сочетая религиозные беседы с рукоприкладством, муж-бог сумел в конце концов добиться того, что улыбка, радостное настроение и живость юности покинули Хоймоботи.

Но семья всегда мешает жить тем, кто ее не любит. К тому же у Фокира родился сын, а за ним — дочь. Дети сделали семейные узы еще более обременительными. Такому необыкновенно серьезному человеку, как Фокир, пришлось по настоянию отца ходить из конторы в контору в поисках работы.

Но работы не было. Тогда он сказал себе:

«Я покину семью, как сделал это когда-то Будда!»

И однажды глухой ночью Фокир исчез.

II

Мне придется рассказать читателям еще одну историю.

В семье жителя Нобограма, Шоштичорона, был только один сын. Звали его Макхонлал. От первого брака у него не было детей. Уступая просьбам отца и увлеченный новой страстью, он женился еще раз. И тогда обе жены родили ему в общей сложности семь дочерей и одного сына.

Макхон был человеком слабовольным и нерешительным. Заниматься каким-либо серьезным делом было ему не по душе. А тут еще на его плечи невыносимой тяжестью легли заботы о многочисленном потомстве. Кроме того, каждая жена чуть ли ни за уши старалась перетянуть его на свою сторону. И вот однажды, когда терпеть стало совсем невмоготу, Макхон пропал в ночной тьме.

Долгое время о нем ничего не было известно. Доходили слухи, будто в Бенаресе он тайно женился еще раз, чтобы понять, наконец, в чем же заключается счастье

брака. Говорили, что бедняга несколько пришел в себя. Говорили еще, что Макхон собирался побывать в родных местах и не приходил только потому, что боялся быть узнанным.

III

Избавившись от мирских забот, Фокирчанд проскитался несколько дней и очутился, наконец, в Побограме. Он сел у дороги под баньяном, глубоко вздохнул и продекламировал:

— О бесстрашный, о равнодушный к миру! Ты никем и ничем не связан: ни женой, ни детьми, ни людьми, ни богатством. Кто же тогда твой воспреемник?

Потом он запел:

Слушай, о, слушай, душа неразумная,
Слушай речи святого, в них дышит свобода,
Слушай мудрости высшей советы:
Разбей раковину суеты мирской,
Найди жемчуг освобожденья!
О заблудившийся ум! Где твой путь?

Внезапно Фокир перестал петь. «Кто это там? — подумал он. — Отец! Наверно, ищет меня... Все пропало! Опять меня затянут в этот семейный ад. Нужно бежать...»

IV

И Фокир бросился в ближайший дом. На пороге сидел старик хозяин и молча курил. Увидев Фокира, он спросил:

— Сынок, ты кто?

— Я санниаси [1], отец.

— Санниаси? Дай-ка мне поглядеть на тебя. Стань поближе к свету.

Старик притянул к себе Фокира и начал пристально всматриваться в его лицо, как будто склонясь над книгой, он пытался старческими глазами разобрать, что в ней написано.

— О, это, кажется, наш Макхонлал, — забормотал старик. — Тот же нос, те же глаза... Только лоб

[1] Санниаси — отшельник, аскет.

изменился, и лицо, подобное раньше луне, совсем заросло.

Он несколько раз провел рукой по усам и бороде Фокира и громко спросил:

— Бабу[1] Макхон, это ты?

Излишне говорить, что старика звали Шоштичорон.

— Макхон? — удивился Фокир. — Мое имя не Макхон. Неважно, как меня звали прежде, теперь мое имя Чиданондосвами (Высший дух). Можно звать меня и Порманондо (Высшее блаженство).

— Сын мой! — сказал тогда Шошти. — Если хочешь, зови себя теперь хоть Чинре (Толченый рис), хоть Порманно (Рисовая каша[2]). Но ты мой Макхон, в этом я не могу ошибаться. Что заставило тебя покинуть семью? Чего тебе недоставало? У тебя две жены — не нравится старшая, есть младшая. И детишками небо тебя не обидело: сын и семь дочерей назло врагам! Я уже старик, сколько мне еще жить? Семья останется на твоих руках.

— Какая семья? — воскликнул перепуганный Фокир. — Слушать и то страшно!

Но в конце концов он понял в чем дело и решил: «А ведь это не так уж плохо! Поживу здесь день-два как сын этого старика, а потом, когда мой отец убедится в тщетности своих поисков, уйду».

Видя, что Фокир больше не возражает, старик отбросил последние сомнения и позвал слугу:

— Кешта, скажи всем, что вернулся наш Макхон.

V

Услышав новость, сбежался народ. Большинство поверило словам отца Макхона, но некоторые все еще продолжали сомневаться. Однако людям так хотелось считать возвращение пропавшего сына правдой, что они начали вовсю ругать скептиков:

— Вы приходите только портить настроение! Всегда вы из мухи делаете слона! Иначе вы не можете!

---

[1] Бабу — господин.

[2] В подлиннике игра слов.

Деревенские жители не могли успокоиться, пока скептики выражали хоть какое-то сомнение.

— Знаем мы их! Они не верят ни в духов, ни в заклинателей змей! Когда кто-нибудь рассказывает необычайные истории, все сидят, не шелохнутся, а эти всегда вылезают с вопросами. Одним словом, безбожники, да и только. Ну пусть бы они не верили в злых духов — от этого никому вреда нет. А тут нашелся сын престарелого отца, и они еще сомневаются! Да разве это по-человечески?!

В конце концов на скептиков набросились со всех сторон и заставили их угомониться.

Тогда, не обращая больше внимания на необыкновенно важный вид Макхона, обитатели деревни окружили его и засыпали градом вопросов и шуток.

— Только подумайте, наш Макхон стал аскетом и риши! [1] Был пустым болтуном, а теперь заделался великим мудрецом. Ну и чудеса!

Такие речи пришлись весьма не по вкусу напыщенному Макхону. Но возразить, как следует, он не мог и должен был молча терпеть все эти насмешки.

Кто-то подошел к нему поближе и спросил:

— Послушай, Макхон, ты ведь был совсем черный. Как это ты сумел так посветлеть?

— Занимался йогой [2],— ответил Фокир.

— Вот так йога! — кричали все. — Удивительно!

— И ничего здесь нет удивительного,— возразил кто-то. — В шастрах рассказывается, что однажды Бхима захотел поднять хвост у Ханумана [3], да так и не смог этого сделать. Тут, должно быть, тоже не обошлось без йоги!

Остальным пришлось с этим согласиться.

Но тут подошел Шоштичорон и сказал Фокиру:

— А теперь, сынок, пойдем на женскую половину!

Фокиру показалось, что небеса разверзлись над его головой. О такой возможности он не подумал!

Выслушивая обидные предположения окружающих, Фокир молча раздумывал. Наконец, он сказал:

---

[1] Риши — святой мудрец.

[2] Йога — одна из систем древнеиндийской идеалистической философии, комплекс религиозных упражнений.

[3] Хануман — царь обезьян, история которого описывается в древнеиндийской эпической поэме «Рамаяна».

— Отец, я стал санниаси и теперь не могу войти к женщинам!

Тогда Шоштичорон, сдерживая вольные шутки односельчан, обратился к собравшимся:

— Делать нечего, всем вам придется уйти. Я приведу своих невесток сюда. Они там места себе не находят!

Все посторонние вышли, и Фокир понял, что ему нужно немедленно бежать отсюда. Но когда он подумал, что стоит ему показаться на улице, как все, словно свора гончих, бросятся за ним следом, то решил, что ему придется остаться в комнате и терпеть.

Едва обе женщины показались в дверях, Макхон склонился перед ними.

— О матери, дитя ваше перед вами,— пробормотал он.

В тот же миг перед носом Фокира, словно нож, которым режут жертвенных животных, промелькнула рука, украшенная браслетами, и раздался визгливый голос:

— Ах ты урод! Ах негодяй! Да как ты осмелился называть меня матерью?

Две глотки вопили так пронзительно, что дрожали стены соседних домов.

— Ты что, совсем рехнулся? Или глаза потерял? Да как ты только жив еще после этих слов?!

От своей жены Фокир никогда не слышал такой изысканной разновидности живого бенгальского языка. Поэтому он только складывал умоляюще руки и бормотал:

— Вы ошибаетесь! Посмотрите на меня внимательнее — вы ошибаетесь! Хотите, я стану поближе к свету...

— Достаточно мы на тебя нагляделись! Глаза уже не смотрят! Прикидывается, словно он новорожденный! Молочные зубы у тебя давно прорезались! Ты уже вышел из младенчества! Если Яма[1] о тебе позабыл, то мы не позабудем! — кричали жены, перебивая друг друга.

Невозможно сказать, сколько времени длилась бы эта супружеская беседа, в которой принимала участие только одна сторона, потому что Фокир окончательно утратил дар речи и стоял, не смея поднять глаза.

---

[1] Яма — бог смерти, владыка подземного царства в индийской мифологии.

Но, на его счастье, в комнату вошел Шоштичорон, он услышал невероятный шум и заметил, что люди останавливаются на улице.

— Сколько лет в моем доме царила тишина! — проговорил старик.— Ни одного звука не было слышно. А теперь я чувствую, что мой Макхон действительно вернулся!

— Господин, теперь я понимаю, почему ваш сын бросил семью. Я свидетельствую вам свое почтение и ухожу.

— Сын, ты как долго отсутствовал, что просто отвык от своей семьи. Поэтому на первых порах тебе все покажется невыносимым. Но ты привыкнешь. А пока вы, дочки, уходите. Макхон останется здесь, я его больше из дома не выпущу.

Когда милые жены вышли, Фокирчанд воскликнул:

— Господин, теперь я понимаю, почему ваш сын бросил семью. Я свидетельствую вам свое почтение и ухожу.

Но, услышав это, старик так завопил, что соседи решили, будто Макхон убивает своего отца. Они сейчас же сбежались и наперебой принялись доказывать Фокиру, что здесь такое праведничество неуместно. Ему нужно вести себя, как подобает сыну порядочных родителей.

— Да он, видно, не священный лебедь, а просто бородатый гусь,— сказал кто-то.

До сих пор солидная борода, усы и черный шарф охраняли Фокира от подобных оскорблений.

На всякий случай деревенские жители решили зорко следить за ним, чтобы он не сбежал. И даже сам заминдар встал на сторону Шоштичорона.

VI

Увидев, как бдительно стерегут его сторожа-добровольцы, Фокир понял, что выйти из дома он сможет только через их трупы. Ему оставалось одно: сидеть в уединении и распевать:

Слушай речи святого, в них дышит свобода,
Слушай мудрости высшей советы...

Нечего и говорить, что эта песня в значительной степени утратила свой возвышенный смысл.

Время шло. Услышав о возвращении Макхона, появилась целая стая родственников его жен.

Прежде всего они принялись дергать Фокира за усы и бородку, утверждая, что они фальшивые и просто приклеены для обмана людей. Даже такому исключительному человеку, как Фокир, было трудно сохранить величие, когда его теребили за усы. Тем более что доставалось не только усам, — уши тоже натерпелись неприятностей: мало того что их дергали,— им приходилось выслушивать такие речи, что они и без этого налились бы кровью.

Натешившись, родственники стали требовать от Фокира исполнения таких песен, в которых духовный смысл не могли бы отыскать мудрейшие из пандитов[1].

Когда Фокир спал, они мазали чернилами те немногие места на щеках, которые оставались свободными от растительности. Во время еды вместо фруктов ему подсовывали какие-то коренья, а вместо сока кокосового ореха— воду. Мутная жидкость, в которой варили рис, должна была заменять ему молоко. На пол они бросали куски бетеля, чтобы он поскользнулся. Они прицепляли ему сзади хвост и тысячами обычных в таких случаях способов старались нарушить его невозмутимое спокойствие.

Сколько Фокир ни надувался и ни злился, сколько ни трясся и ни кричал — ничего не помогало! Он не мог внушить страха озорникам, и они осыпали его все новыми насмешками.

К этому прибавилось еще одно испытание: с женской половины дома иногда доносился чей-то нежный голос и звонкий смех. Голос казался Фокиру мучительно знакомым, а смех поэтому — вдвойне невыносимым.

Голос этот небезызвестен и читателям. Они поймут в чем дело, если я скажу, что Шоштичорон приходился каким-то отдаленным родственником Хоймоботи. Родителей ее не было в живых, и, когда свекровь начинала слишком сильно ее донимать, она уезжала к своему дальнему родственнику.

Теперь она снова приехала к своему дяде и, словно из-за кулис, стала наблюдать эту занимательнейшую игру. Пусть психологи определят, было ли у Хоймоботи, кроме

---

[1] Пандит — почетный титул, присваивавшийся ученым, прошедшим школу индийской классической науки.

свойственной ей любви к забавам, еще и желание отомстить. Мы этого сделать не беремся.

Шутники иногда дают отдохнуть предмету своих забав, но от тех, кто вас любит, отделаться весьма трудно.

Семь дочерей и сын ни на минуту не оставляли Фокира в покое. Матери постоянно посылали их к отцу, чтобы они завоевали его сердце. И каждая мать прилагала все усилия, чтобы именно ее ребенок привлек внимание «Макхона». Они все время подстрекали своих детей, а ребятишки, разделившись на две группы, старались завоевать расположение «отца», как могли, — они обнимали его, целовали, забирались к нему на колени и всякими прочими способами выказывали свою искреннюю любовь к родителю.

Вряд ли стоит повторять, что Фокирчанд не был хорошим семьянином,— иначе он не лишил бы своих детей отцовской заботы. К тому же дети не умеют почитать высших и не научены трепетать перед святостью. Поэтому Фокир старался избавиться от них, словно это были насекомые или черви. Но дети каждый день налетали на него, как стая саранчи. И вскоре он стал похож на ученую статью по истории, испещренную пометками на полях, примечаниями и добавлениями. Дело в том, что по возрасту дети значительно отличались друг от друга, и не все еще умели вести себе согласно правилам вежливости. Поэтому Фокир иной раз готов был заплакать, но отнюдь не от умиления. Когда дети кричали на разные голоса: «Папа, папа!» — и ластились к нему, он испытывал сильнейшее желание поколотить их, но не решался. Единственное, что ему оставалось, это гримасничать от отвращения и молчать, стиснув зубы.

VII

Но в конце концов Фокир не выдержал. Он стал вопить, что уйдет и никакая сила его не удержит!

Тогда деревенские жители пригласили адвоката.

— Вы знаете, что у вас есть две жены? — спросил адвокат Фокира.

— Я впервые об этом узнал, когда пришел сюда,— ответил Фокир.

— А о том, что у вас семь дочерей и две из них на выданье, вы тоже не знаете?

— Я вижу, что вы это знаете лучше, чем я.

Тогда адвокат заявил:

— Если вы не станете заботиться о своей многочисленной семье,— я вас об этом заранее предупреждаю, — беспомощные женщины вынуждены будут обратиться в суд.

Больше всего на свете Фокирчанд боялся суда. Он знал, что адвокаты не считаются с достоинством выдающихся людей и публично оскорбляют их во время судебных процессов. И еще он знал, что потом все это печатается в газетах. Поэтому со слезами в голосе он подробно рассказал адвокату о том, что с ним произошло. Слушая его, адвокат все больше и больше восхищался способностью «Макхона» сочинять небылицы.

Шоштичорон видел, что Фокир собирается убежать, и принял соответствующие меры предосторожности. Деревенские жители вовсю ругали Фокира. А тут еще адвокат нагнал на него такого страху, что он больше ни о чем не осмеливался говорить.

Однажды все восемь отпрысков Макхона обняли Фокира столь нежно, что он чуть не задохнулся. Хоймоботи, увидев все это, уже не знала, плакать ей или смеяться.

Наконец, Фокир, не видя иного выхода, послал отцу письмо, в котором обрисовал свое горестное положение. Хоричорон-бабу, отец Фокира, сейчас же приехал. Однако деревенские жители, адвокат и заминдар совсем не собирались выпускать добычу из рук. Они приводили тысячу неопровержимых доказательств того, что Фокир — это Макхон, и даже притащили откуда-то дряхлую старуху, которая в свое время нянчила Макхона. Держа дрожащей рукой Фокира за подбородок, она всматривалась в его лицо, и слезы из ее глаз ручьями лились на бороду Фокира.

Несмотря на все это, вскоре стало ясно, что Фокир не позволит надеть на себя ярмо. Тогда, закрыв покрывалами лица, на сцену выступили обе его жены. Посторонние вышли, и в комнате остались Шоштичорон, Фокир, отец Фокира и дети.

Обе женщины, энергично жестикулируя, стали спрашивать у Фокира, в какой ад, в какие врата царства Ямы он хочет направиться.

Фокир не мог вразумительно ответить на этот вопрос, но по выражению его глаз можно было понять, что у него нет особой охоты направляться в какие бы то ни было врата царства Ямы. Он скорее готов был выскочить в любую дверь — лишь бы выбраться из этого дома! Но выхода не было.

В этот момент в комнату вошла еще одна женщина и склонилась перед Фокиром. Сначала он так и застыл на месте — настолько это было неожиданно. Потом вспыхнул от радости.

— Ты ли это, Хоймоботи? — воскликнул он.

Глаза Фокира излучали такую любовь, какой еще не видела ни его жена, ни чужие жены. Фокиру казалось, что перед ним стоит само воплощение свободы и жизни! Но случилось так, что свидетелем всей этой сцены стал еще один человек, который стоял поодаль, закутавшись в покрывало. И это был сам Макхонлал.

Сначала, поняв, что его место занял какой-то незадачливый незнакомец, Макхон необычайно обрадовался. Но, когда появилась Хоймоботи, он сообразил, что этот незнакомец — муж его родственницы. Тогда Макхонлал пожалел ее и сам вышел вперед.

— Смертный грех будет на мне, если я ввергну близкого человека в такую беду,— сказал Макхон. И, указав пальцем на двух своих жен, добавил:— Вот мой камень, и вот моя веревка!

Долго еще деревенские жители дивились благородству и героизму Макхонлала.

1892



Отречение

I

Первое полнолуние пхалгуна[1]. Ветер новой весны несет аромат нераспустившихся манговых деревьев. С берега пруда, из густых ветвей старого личу[2] доносится неумолчное пение папияра[3]. Оно слышно и в одной из спален дома Муккерджи. Взволнованный Хэмонто то вытащит прядь волос из кос жены и покрутит ее в пальцах, то вдруг дотронется до ее браслетов, и они начинают звенеть, то слегка потянет цветы в ее голове, и они падают ей на лицо. Так ветер подует то с одной стороны, то с другой, чтобы оживить неподвижное вечером дерево.

Но Кушум сидит не шевелясь, устремив взгляд в бесконечную пустоту, залитую светом луны. Волнение мужа не трогает ее. Наконец, Хэмонто нетерпеливо встряхивает руки жены:

— Кушум, ты где? Ты так далеко, что, даже если посмотреть на тебя в подзорную трубу, ты все равно будешь маленькой. Я хочу, чтобы сегодня ты была ближе. Посмотри, как прекрасна ночь!

Кушум перевела взгляд на мужа:

— Я знаю одно заклинание, которое сразу может уничтожить красоту этой лунной ночи, эту весну — все.

---

[1] Пхалгун — одиннадцатый месяц индийского календаря, соответствует февралю — марту.
[2] Личу — название дерева.
[3] Папияр — певчая птичка.

— Ну что ж, даже если и знаешь, не стоит говорить об этом. А вот если ты произнесешь такое слово, от которого будет три или четыре воскресенья на одной неделе или ночь будет продолжаться до следующего вечера, то я готов его услышать.

Он попытался притянуть Кушум ближе, но она отстранилась.

— Я хочу сказать то, о чем думала рассказать тебе только перед смертью. Но сегодня, мне кажется, я смогу вынести любое наказание.

Чтобы обратить ее слова в шутку, Хэмонто хотел было процитировать несколько строк о наказании из Джойдеба[1], но в это время послышались тяжелые, сердитые шаги и шлепанье ночных туфель. Знакомые шаги отца Хэмонто — Хорихора Муккерджи. Хэмонто поспешно встал. Хорихор подошел к дверям.

— Хэмонто, сейчас же выгони невестку из дома! — проревел он.

Хэмонто взглянул на жену. Она не выразила никакого удивления, а только испуганно закрыла лицо руками, будто хотела собрать всю свою душевную силу и волю и исчезнуть.

Ветер дул с юга. Он нес с собой в комнату пение папияра. Никто не слышал его. Как бесконечна красота природы, и как легко она рушится!

II

Хэмонто вошел в комнату.

— Это правда? — спросил он жену.

— Правда.

— Почему же ты до сих пор молчала?

— Я много раз хотела сказать, но не могла решиться. На мне большой грех.

— Тогда расскажи все сегодня.

И Кушум рассказала, словно прошла сквозь огонь, выпрямившись во весь рост, и никто не узнал, как она обожглась. Дослушав до конца, Хэмонто поднялся и вышел.

Кушум поняла, что того мужа, который ушел, ей уже не вернуть. Она нисколько не удивилась, ум ее словно

---

[1] Джойдеб — средневековый поэт, писавший на санскрите.

оцепенел, и это событие она восприняла так же просто, как и другие ежедневные происшествия. Она понимала только одно: и мир и любовь были с начала до конца ложью и пустотой. Она вспомнила все прежние слова Хэмонто о его любви к ней, и сухой, жестокий, злобный смех зазвучал в ее ушах, резал мозг, как острый, безжалостный нож. Вероятно, она думала: «Вот она — эта любовь, такая большая, сильная, великая, малейшая разлука с которой разрывает сердце, а мгновенное прикосновение дает такую полную радость. Эта радость кажется беспредельной, бескрайной, ее конец нельзя себе представить даже после смерти! Вот на что была надежда! Небольшое столкновение с обществом, и бесконечная любовь превратилась в пыль! Еще совсем недавно Хэмонто трепетно шептал мне на ухо: «Прекрасная ночь!» Эта ночь и сейчас еще не кончилась, и сейчас поет папияр, южный ветер колышет занавески, защищающие от москитов, и луна, как утомленная счастьем спящая красавица, лежит на крайних ветвях олибанового дерева, что растет у окна. Все ложь! Любовь для меня ложь и на словах и на деле!»

III

На следующее утро, проведя бессонную ночь, Хэмонто как одержимый вбежал в дом Перишонкора Гхошала.

— В чем дело, бабу? Какие новости? — спросил Перишонкор.

Лицо Хэмонто пылало, голос срывался:

— Ты погубил наш род, все пропало — ты мне за это ответишь!

Перишонкор засмеялся:

— А-а, зато вы охраняли мой род, мою семью, гладили меня по спинке! Вы так обо мне заботитесь, так меня любите!

Хэмонто хотел бы в ту же минуту испепелить Перишонкора лучами Брахмы [1], и это желание только распаляло его гнев. Перишонкор удобно расположился в кресле.

[1] Брахма — по религиозным верованиям индуистов — божественная субстанция, лишенная всех атрибутов и являющаяся первоисточником всех миров.

— Что мы тебе сделали? — хрипло спросил Хэмонто.

— Это я должен спросить тебя. У меня нет детей, кроме одной-единственной дочери. Чем она провинилась перед твоим отцом? Ты в то время был маленький — может быть, ты и не знаешь. Ну, так слушай внимательно. Не волнуйся, бабу, здесь будет много забавного.

— Ты был еще ребенком, когда муж моей дочери украл ее драгоценности и сбежал в Англию. После этого, когда через пять лет он стал адвокатом и вернулся домой, в деревне поднялся шум. Ты, я думаю, кое-что из этого помнишь. А может быть, и не помнишь, — тогда ты учился в школе, в Калькутте. Твой отец был главой деревни, он сказал мне: «Если ты отправишь дочь к мужу, то никогда больше не сможешь взять ее в свой дом». Я просил его, ловил его руки, обнимал ноги: «Дада, прости ему эту поездку. Я заставил его совершить очищение, примите его снова в касту». Твой отец был непреклонен; я тоже не мог бросить свою единственную дочь, поэтому оставил касту, деревню и переехал в Калькутту. Но мои несчастья не кончились на этом. Все уже было приготовлено к свадьбе моего племянника, но вмешался твой отец, убедил родителей невесты, что жених недостоин ее, и расстроил свадьбу. Я поклялся, что не буду сыном брахмана[1], если не отомщу. Ну, теперь ты кое-что понимаешь? Наберись терпения, выслушай все и будешь удовлетворен. Будет и смешное!

Когда ты учился в колледже, рядом с домом твоего отца был дом Бипродаша Чаттерджи. Бедняга теперь уже умер. Господин Чаттерджи приютил в своей семье сироту из касты каястха, красивую девочку-вдову по имени Кушум. Старому брахману немало приходилось заботиться о том, как спрятать ее от глаз студентов. Но разве трудно девушке обмануть старого человека? Под предлогом, что ей надо сушить белье, Кушум часто поднималась на крышу; ты, кажется, тоже мог заниматься только на крыше. Разговаривали вы или нет, знаете только вы сами, но ее поведение заронило сомнение в душу старика. Она стала все делать не так: не ела, не спала — словно какая-нибудь прекрасная отшельница. А однажды вечером не могла сдержать перед стариком беспричинных слез.

---

[1] Брахман — представитель высшей касты в индийской кастовой системе.

В конце концов старик обнаружил ваши безмолвные свидания на крышах. Ты даже перестал ходить в колледж и сидел днем с книгой в руках на углу крыши в тени гнезда коршуна: у тебя вдруг появилось пристрастие к занятиям в уединении. Бипродаш пришел ко мне посоветоваться, что ему делать.

— Дада, — ответил я, — ты давно хотел побывать в Бенаресе. Оставь девушку мне и отправляйся паломничать, я о ней позабочусь.

Бипродаш отправился на богомолье. Я поселил Кушум в доме Срипоти Чаттерджи, выдав ее за его дочь. Что произошло потом, ты знаешь. Мне доставило большую радость рассказать тебе все. Это скорее похоже на рассказ. Хорошо бы записать все и напечатать, но я не умею писать. Я слышал, что мой племянник немного занимается литературой — я расскажу ему. Ну, конечно, было бы лучше всего, если бы ты помог ему, ведь я-то не знаю как следует конца.

Не обращая внимания на последние слова Перишонкора, Хэмонто спросил:

— Кушум не была против этой свадьбы?

— Была она против или нет — трудно сказать. Ведь знаешь, бабу, девушки всегда говорят «нет», а думают «да». В первое время, после того как она переехала в другой дом и не видела тебя, она словно обезумела. Потом ты откуда-то узнал, где она, и часто, взяв книги и направляясь в колледж, сбивался с дороги, приходил к дому Срипоти и бродил вокруг него, словно что-то разыскивал. Вряд ли ты искал улицу Президентского колледжа, потому что через окна дома почтенного человека можно попасть только к сердцу сумасшедшей девушки. Узнав все это, я очень опечалился. Вижу, ты не можешь заниматься, ее положение тоже затруднительно. Однажды я подозвал Кушум. «Дитя, я старик, меня не надо стыдиться, я знаю, о ком ты думаешь. Мальчишка тоже потерял голову. Я хочу, чтобы вы были вместе».

Кушум разрыдалась и бросилась вон из комнаты. С тех пор я часто стал заходить по вечерам в дом Срипоти, звал Кушум, говорил с ней о тебе и постепенно сломил ее робость. Ежедневно беседуя с ней на эту тему, я говорил, что не вижу никакого пути, кроме брака. Другого выхода нет. Кушум спрашивала, как же это можно

сделать? Я скажу, что ты девушка из хорошей семьи,— отвечал я.

После долгих уговоров она сказала, что надо узнать твое мнение. Но я ответил, что парень окончательно сошел с ума, незачем говорить ему еще и об этом. Если все кончится благополучно, все будут счастливы. Зачем же делать беднягу несчастным на всю жизнь, когда никто об этом никогда не узнает?

Мне неясно было, поняла Кушум или нет. Иногда она плакала, иногда молчала. В конце концов я сказал: «Ну что же, больше делать нечего». Тогда ее снова охватила тревога. При таких обстоятельствах я и послал тебе от имени Срипоти предложение вступить с ней в брак. Ты немедленно дал свое согласие. И мы договорились обо всем, что касалось свадьбы. Но незадолго до нее Кушум так разволновалась, что я никак не мог с ней сладить. Она падала передо мной на колени, кричала: «Дада, это не может произойти, это нехорошо!» Я ей отвечал: «Да ты что! Все уже решено, что я теперь скажу!» — «Ты скажи всем, что я умерла, и увези меня отсюда куда-нибудь», — умоляла Кушум. «А что будет с ним? — спрашивал я. — Он сейчас в раю, ведь он думает, что завтра исполнится то, о чем он столько мечтал, и вдруг я скажу ему о твоей смерти. А завтра сообщу тебе о его смерти, и в тот же день вечером услышу о твоей. Ты что же, хочешь, чтобы я в моем возрасте стал убийцей женщины и брахмана?»

После этого в благоприятный для свадебного обряда день произошла счастливая свадьба. Я выполнил свой долг, теперь я спасен. Что было дальше, ты знаешь.

— То, что ты считал нужным сделать, ты сделал. Но зачем рассказал об этом? — спросил Хэмонто.

— Я узнал, что уже решена свадьба твоей младшей сестры, и подумал: один род брахманов погиб, но это было необходимо. Теперь же погибнет еще один род, и мой долг помешать такому несчастью. Поэтому я и написал письмо, сообщая о имеющихся у меня доказательствах того, что Хэмонто женился на дочери шудры[1].

С большим трудом Хэмонто сдерживал себя:

---

[1] Шудра — член самой низшей касты в индийской кастовой системе. Брак людей из разных каст считается тяжким нарушением древних кастовых законов.

— Если я брошу эту женщину, что с ней будет? Ты возьмешь ее?

— То, что я должен был сделать, я сделал. Не моя обязанность заботиться о брошенных женах. О, я принесу для Хэмонто-бабу стакан кокосового сока со льдом.

Не дожидаясь этого ледяного гостеприимства, Хэмонто ушел.

IV

Прошло пять дней. Темная ночь. На ее черном фоне густым пятном выделяется дерево личу на берегу пруда. Птицы молчат. Только южный ветер свободно гуляет во мраке.

Звезды, разрывая темноту пристальным, внимательным взглядом, стараются раскрыть какую-то тайну.

В спальне нет света. Хэмонто сидит на кровати около окна и смотрит в полуночную тьму. На полу, обхватив его ноги и прижавшись к ним лицом, лежит Кушум. Время словно остановилось. Оно — как неподвижный океан. Как будто на бесконечном полотне ночи невидимый художник нарисовал эту вечную картину: кругом смерть, в середине — судья, а у ног его — преступница.

Снова шаги и шарканье ночных туфель. Хорихор Муккерджи подошел к дверям:

— Прошло много времени, больше я не могу ждать. Выгони женщину из дому!

Услышав его голос, Кушум на мгновение еще крепче обняла ноги Хэмонты. Словно прощаясь со всей своей жизнью, она почтительно прикоснулась к его ногам и, поцеловав их, встала.

Хэмонто поднялся.

— Я не брошу жену.

— Ты что же, нарушишь закон каст? — взревел Хорихор.

— Я не признаю каст!

— Тогда убирайся вон и ты!

1892



Золотой мираж

Аденатх и Бойденатх Чокроборти двоюродные братья. Причем, положение Бойденатха намного хуже. Дело в том, что отец его не умел вести дела и попал в полную зависимость от старшего брата, Шибонатха. Надо сказать, что последний очень любил Бойденатха, но тем не менее не постеснялся незаконно присвоить все его имущество, оставив лишь немного ценных бумаг, которые и стали единственной поддержкой Бойденатха.

Шибонатх после многочисленных исканий, наконец, женил своего сына, Аденатха, на дочери богача, что дало ему возможность еще увеличить свое состояние. Мохемчондро же из жалости женил своего сына на старшей из семи дочерей бедного брахмана и не потребовал ни пайсы в приданое. Он бы взял к себе в дом всех семерых, но не мог этого сделать, так как имел одного сына, да и брахман не требовал этого.

После смерти отца Бойденатх, получив по наследству ценные бумаги, зажил спокойно и бездумно, даже не помышляя о работе. В то время как все трудились, он с большим усердием вытачивал из срезанных веток дерева тросточки. Соседние мальчики и юноши прибегали к нему за этими тросточками, и он охотно дарил их. Кроме того, Бойденатх с большим искусством умел делать удочки, бумажные змеи, деревянные катушки для бумажного змея и тратил на это массу времени, с особой тщательностью отделывая произведения своего искусства. Он был бесконечно доволен, когда мог работать над

вещью, требующей тонкой отделки и большой законченности. Такая работа отнимала у него много времени, но не давала дохода его семье и не стоила затраченных усилий.

Почти каждое утро, когда огромный храм Дурги, который находился неподалеку, еще скрывал туман, уже можно было видеть Бойденатха с ветками, кусками дерева и ножом в руках. До самых сумерек просиживал он в одиночестве у дверей дома за своим любимым занятием.

С течением времени с благословения Дурги, на зависть врагам, у Бойденатха родились два сына и дочь. Но, несмотря на это, недовольство его жены — Мокходы — с каждым днем росло. В доме Аденатха — полный достаток, в доме Бойденатха — бедность. У жены Аденатха — Биндебашини — дорогие украшения, бенаресское сари, горделивая осанка, — чего у Мокходы никогда и не было. А что может быть неприятнее, чем подобное несоответствие? Еще родственниками называются! Какая надменность! И это после того, как Аденатх присвоил имущество брата! Сердце Мокходы кипело злобой и ненавистью против свекра и своего мужа. Ничто не нравилось ей в своем доме. Все казалось неудобным и безвкусным. Кровать — так она не годится даже для мертвеца! Никто не живет в подобной бедности. Бездомная летучая мышь и та не осталась бы жить в ветхих стенах их дома, а на глаза брахмана-аскета, обрати он внимание на их семью, непременно навернулись бы слезы. Возразить на подобные преувеличения трусливым мужчинам трудно, и поэтому Бойденатх, сидя у дверей дома, с удвоенным вниманием молча мастерил тросточки.

Но обетом молчания не избавишься от опасности. Однажды, оторвав мужа от его излюбленного занятия, жена позвала его в свою комнату. Не глядя на Бойденатха, она спокойно сказала:

— Прикажи больше не носить молока!

Бойденатх, немного помолчав, спросил:

— Если не будет молока, что будут есть дети?

— Рисовую жидкую кашу, — ответила Мокхода.

Через несколько дней хозяйка снова позвала Бойденатха:

— Я не знаю, но ты должен что-то придумать!

— Что же делать? — устало спросил муж.

— Поезжай на ярмарку и закупи на месяц продуктов.

С этими словами женщина вручила ему список покупок, которых хватило бы радже с большой пышностью совершить жертвоприношение. Тогда Бойденатх со смелостью, не свойственной ему, запротестовал:

— Какая в этом нужда?

— Ну, тогда пусть дети умирают с голода, умру и я, а ты оставайся и хозяйничай как хочешь, — услышал он в ответ..

Бойденатху стало ясно: нужно бросить бесцельное времяпрепровождение и заняться чем-нибудь серьезным. Но ему было одинаково невыносимо и служить и торговать, поэтому он мечтал открыть новый путь в сокровищницу Куберы[1]. Однажды перед сном с мольбой обратился он к богине:

— О мать Дурга! Помоги мне изобрести лекарство, которое бы излечивало людей от тяжелой болезни! Я напечатаю об этом объявление в газете и разбогатею...

Той же ночью ему приснилось, что жена очень недовольна им и дала обет выйти замуж за другого, как только овдовеет. Бойденатх возражал, ссылаясь на то, что трудно достать нужные для обряда украшения, так как нет денег. Мокхода же говорила, что вдове они не нужны. Бойденатх чувствовал, что можно найти веское возражение на это, но в голову не приходило, что именно... Тут он проснулся и увидел, что совсем рассвело. Тотчас же вспомнился ему тяжелый сон, угрозы жены, и бедняге стало немного грустно.

На следующий день после утренней молитвы Бойденатх, по обыкновению, одиноко сидел около дома и вырезал из бумаги змеев. Неожиданно с громким приветствием к двери подошел санниаси. В то же мгновение словно молния озарила мозг Бойденатха, и он увидел светлое видение будущего богатства.

С почтением и радостью приветствовал и чествовал он санниаси. Тщательно расспросив гостя, он узнал, что

---

[1] Кубера — бог богатства в индийской мифологии.

тот обладает секретом изготовления золота и что он сможет передать его Бойденатху. Узнав об этом, Мокхода пришла в неописуемый восторг... И с той поры, точно так же как люди, больные желтухой, видят все в желтом свете, так и хозяйка стала представлять себе мир, наполненный только золотом. Ее воображение покрыло золотом все в доме, от кроватей до стен, и она уже мысленно пригласила к себе Биндебашини.

А между тем санниаси ежедневно съедал по полтора сера[1] пудинга, выпивал по два сера молока, кроме того, он умел извлекать прибыль из ценных бумаг хозяина дома. Тщетно стучались в двери к Бойденатху любители тросточек, бумажных змеев и катушек для них. Дети и те были брошены на произвол судьбы: вовремя не накормлены, от их надрывного плача небо, казалось, готово было лопнуть. Но мать и отец не обращали на них никакого внимания. Они сидели и без слов, без улыбки, напряженно всматривались в раскаленные угли костра. Жадными глазами супруги неотрывно смотрели на пляшущие языки пламени, тщетно ожидая появления золота. А пламя то ярко вспыхивало, то краснело, подобно заходящему солнцу.

Однажды, после того как была принесена в жертву огню большая часть ценных бумаг, санниаси заявил:

— Завтра получите настоящее золото!

В эту ночь супруги не могли заснуть. В мечтах они строили золотые дворцы. Иногда мнения расходились и возникал спор, но избыток радости не позволял ему долго длиться. Они, не колеблясь, уступали друг другу. В эту ночь между ними царило полное супружеское согласие.

А на следующее утро санниаси исчез. Пропал и блеск золота, и даже солнечные лучи померкли. Лишь бедность и недостаток в доме выросли вчетверо. Теперь, если Бойденатх начинал что-нибудь говорить о домашних делах, жена сердито обрывала его:

— Хватит, достаточно познакомилась с твоим умом, теперь хоть помолчи.

И Бойденатх совершенно терялся. Мокхода же вела себя так, как будто она ни на мгновение не поверила в этот золотой обман.

---

[1] Сер — мера весы, равная приблизительно 900 граммам.

Чувствуя себя глубоко виноватым, Бойденатх всячески старался успокоить жену. Раз, спрятав в угол подарок, он позвал Мокходу и с таинственной радостной улыбкой сообщил:

— Ну-ка, скажи, что я тебе принес!

Жена, подавив в себе любопытство, равнодушно промолвила:

— Откуда же я знаю? Я ведь не колдунья!

Бойденатх немного помедлил, затем не спеша развязал веревку, вытер с бумаги пыль и после этого, очень осторожно вынув раскрашенную литографию, изображающую богиню Дургу в ее десяти воплощениях, повернул ее к свету и поставил перед Мокходой. Женщина тотчас же вспомнила картину, привезенную из Англии и нарисованную масляными красками, которая висела в спальне Биндебашини. С безграничным презрением бросила она мужу:

— Можешь повесить у себя в комнате и любоваться ей! Мне она не нужна.

Подавленный Бойденатх подумал, что бог обидел его, наделив столь острым умом и силой воли жену, а не его.

Между тем Мокхода не теряла зря время. Она ходила к гадальщикам и астрологам, показывала им руку, стремясь узнать свою судьбу. Все в один голос утверждали, что умрет она раньше мужа. Но она не очень стремилась к такому благополучию, и ее любопытство не было удовлетворено. Женщине сообщили также о том, что у нее будет много детей — дочерей и сыновей, но и это не особенно обрадовало Мокходу. Наконец, один астролог предсказал, что Бойденатх в течение года найдет клад. И чтоб ему сжечь свой альманах, если это не окажется правдой. Услышав столь страшную клятву, Мокхода уже ни на минуту не сомневалась в правдивости слов предсказателя. Астролог, получив большое вознаграждение, простился, а жизнь Бойденатха стала невыносимой.

Сколько на свете существует обыкновенных путей обогащения: земледелие, служба, торговля, воровство, мошенничество... Но никто не знает способа находить клады. Поэтому, сколько усилий ни прилагала Мокхода, как ни упрекала мужа, он не знал, что делать. Несчаст-

ный никак не мог решить, где копать землю, в какой пруд посылать водолазов, какую стену ломать в доме. Наконец, чрезвычайно разгневанная Мокхода сообщила мужу, что и не подозревала до сих пор, что в голове мужчины вместо мозга находится коровий помет.

— Пошевелись ты немного, — говорила она. — Ты что, думаешь, рупии с неба посыплются, а ты будешь сидеть сложа руки?

В этих словах была горькая правда, и Бойденатха охватило страстное желание что-нибудь сделать, но к кому обратиться, куда пойти — этого он не знал, и он продолжал попрежнему сидеть у двери своего дома и вытачивать тросточки.

Незаметно приблизился праздник Дурги в месяце ашшин. К набережной беспрерывно приставали лодки. Возвращались те, кто долгое время жил на чужбине. Корзины были наполнены дынями, тыквой, сушеными кокосовыми орехами, а железные ящики — обувью, зонтиками, детской одеждой, душистым мылом, новыми книгами и ароматным кокосовым молоком для прекрасного пола.

В эти дни тяжелые тучи скрыли голубизну неба, словно смеясь над светлым праздником; от сильных порывов холодного ветра трепетали зеленые листья умытых дождем деревьев и колыхалось почти созревшее рисовое поле. Люди, одетые в шелковое платье, накинув на плечи чадор, держа раскрытые зонтики над головой, спешили, торопливо шагая по проселочной дороге, домой. Бойденатх же только глубоко вздыхал и молча наблюдал за происходящим. Он сравнивал тысячи бенгальских домов со своим безрадостным жилищем.

«Боже! — шептал он. — Почему ты создал меня таким беспомощным?»

На рассвете дети побежали во двор к Аденатху, чтобы посмотреть на приготовление изображения Дурги для праздника, служанке еле удалось увести их домой, когда подошло время завтрака. И именно тогда, в тот радостный для каждого человека день, Бойденатх особенно остро почувствовал бесполезность своего существования. Отстранив служанку, он притянул к себе старшего сынишку и участливо спросил его:

— Обу, что хотел бы ты получить к празднику?

Обинаш тотчас попросил:

— Сделай лодку, отец!

А младший, подумав, что он нисколько не хуже старшего брата, тоже сказал:

— И мне сделай лодку, отец.

Достойные отца сыновья! Они ничего не хотели, кроме ненужной игрушки. Бойденатх согласился. Вскоре на встречу праздника из Бенареса приехал родной дядя Мокходы, адвокат по торговым делам. С его приездом Мокхода беспрерывно бегала к нему в дом. Наконец, она позвала мужа:

— Ты должен поехать в Бенарес.

Бойденатх подумал, что пришло время умереть. По всей вероятности, астролог предсказал это, а жена старается облегчить ему конец. А Мокхода между тем говорила, что в Бенаресе продается дом, в котором, как предполагают, существует тайный клад: тот, кто купит этот дом, станет богатым человеком.

— Проклятие! — воскликнул Бойденатх. — Я не поеду в Бенарес!

Он никогда не выезжал из дома, но еще в древних шастрах написано, что женщины одарены способностью заставить супруга покинуть дом. У несчастного Бойденатха при одной мысли о Бенаресе глаза наполнялись слезами.

Прошло несколько дней. За это время Бойденатх смастерил две игрушечные лодки. Он поставил на них мачты, натянул матерчатые паруса, повесил красные флаги, соорудил руль и весла. Не забыл он и о пассажирах с рулевым. Лодки были сделаны удивительно искусно. При виде их у какого мальчика не забилось бы нетерпеливо сердце и не появилось бы жгучее желание тут же завладеть игрушкой! И когда Бойденатх накануне праздника отдал лодки сыновьям, они запрыгали от радости и восхищения. Руль, весла, мачты, паруса и лодочники посредине — все вызывало у детей неподдельный восторг. Радостные крики мальчиков привлекли внимание Мокходы. Войдя в комнату, она увидела праздничный подарок бедного отца. С плачем и гневом ударила женщина себя по лбу, вырвала игрушки и выбросила их за окно. Все драгоценности, атласные курточки, вышитые шапочки — все продано, а этот несчастный человек без конца

обманывает своих детей какими-то игрушками! Даже на них не истратил и двух пайс, все сделал сам!

Младший сынишка громко заплакал.

— Глупый ребенок! — Мокхода сильно ударила его.

Старший сын, взглянув на отца, забыл о собственном горе. Как ни в чем ни бывало он сказал:

— Папа, я завтра же утром все соберу.

На следующий день после этого случая Бойденатх согласился поехать в Бенарес. Но где достать деньги? Тогда Мокхода решила продать последние украшения и набрать необходимую сумму. Драгоценности принадлежали еще бабушке Бойденатха, такого чистого золота в наше время не найти. Бойденатху казалось, что он отправляется на смерть. Он взял на руки детей, расцеловал их со слезами на глазах и уехал из дома. Тогда заплакала и Мокхода.

Владельцем дома в Бенаресе был клиент дяди Мокходы, может быть именно поэтому он и продал дом Бойденатху по очень дешевой цене. Новый хозяин поселился в доме один. Дом был расположен на самом берегу реки, так что ее волны обмывали фундамент здания.

Ночью Бойденатха охватил страх. Он засветил лампу, поставил ее у изголовья и, завернувшись в одеяло, попытался заснуть. Но сон не приходил. Глубокой ночью, когда все стихло, неожиданно откуда-то раздался резкий отчетливый металлический звон, от которого Бойденатх испуганно вскочил. Казалось, будто хранитель сокровищ раджи Бали [1] сидит в подземном царстве и считает деньги. В сердце Байденатха закрался страх, но вместе с тем любопытство и смутная надежда на что-то. С лампой в дрожащих руках обошел он комнаты. Когда он входил в одну, ему казалось, что звуки слышатся из другой, при входе в другую ему казалось, что они доносятся из первой комнаты. Всю ночь проходил Бойденатх по дому. На рассвете эти необычные звуки смешались с другими и перестали беспокоить его. Но на следующую ночь, когда все заснуло, звуки снова возобновились. Сердце Бойденатха учащенно билось. Он не мог понять, откуда

---

[1] По преданию, раджа Бали владел тремя мирами (небо, земля и подземное царство), но впоследствии был вынужден отказаться от земли и неба и жить в подземном царстве.

исходит этот звон. Когда в пустыне слышится журчанье воды, трудно определить, где она, и жаждущий путник замирает, прислушиваясь к звукам источника, а жажда его тем временем возрастает. Бойденатх был совершенно в таком же состоянии.

Так прошло несколько дней. Бессонница и напрасные волнения избороздили морщинами прежде беззаботное лицо Бойденатха. Его блуждающие глаза ввалились и блестели, подобно пескам под жгучими лучами полуденного солнца.

Однажды в полдень он запер дверь и начал громко стучать по полу железным ломом. В одной из маленьких комнатушек слышался глухой звук. В следующую ночь, не в силах заснуть, Бойденатх начал разбирать пол в той комнате. К рассвету работа была полностью закончена, и Бойденатх увидел внизу нечто вроде подземной комнаты. Но так как было темно, он не решился спуститься в подземелье. Тогда он прикрыл отверстие своей постелью и лег спать. Но тут же послышался такой громкий отчетливый звон, что Бойденатх не выдержал и убежал. Однако, оставив дверь незапертой, далеко уйти он не решался. Алчность и страх удерживали его вблизи дома. Так прошла еще одна ночь. На следующий день звон был слышен даже днем. Не позволив слуге войти в дом, Бойденатх позавтракал на улице. Наконец, он вошел в дом и запер дверь на ключ. Повторяя имя Дурги, он отодвинул постель с отверстия. Послышалось отчетливое капание воды, точно она стекала в металлический сосуд. Медленно, в волнении и страхе, наклонился Бойденатх над отверстием и увидел, что вода заливает комнату, — из-за темноты он ничего больше не заметил. Схватив большую палку, Бойденатх измерил глубину — вода не доходила еще до колен. Со спичками и лампой в руке он легко прыгнул в подземелье. Его охватило отчаяние, и дрожащие руки тщетно пытались зажечь лампу. Наконец, после долгих усилий ему удалось это сделать. Глазам Бойтенатха предстал большой медный, прикованный железной цепью горшок; вода медленно наполняла его, каждая капля которой порождала звук, который он слышал в течение нескольких ночей. Бойденатх по колено в воде подошел к горшку... Он был пуст. Мужчина не мог поверить своим глазам: он сильно встряхнул сосуд, но и внутри ничего не оказалось

Он перевернул его, но из горшка ничего не вывалилось. Бойденатх обратил внимание на горлышко, и ему показалось, что оно сломано — и притом совсем недавно. В тот же миг Бойденатх, словно безумный, начал шарить руками под водой. Под руку попалось что-то большое и скользкое. Дрожащими руками он вытащил человеческий череп. Бойденатх встряхнул его, однако и в нем ничего не оказалось. Отшвырнув его в сторону, он продолжал свои поиски, но, сколько ни искал, не нашел ничего, кроме костей скелета. В стене со стороны реки Бойденатх увидел отверстие, через которое в подземелье вливалась вода и через которое, вероятно, проник в подвал его предшественник, в гороскопе которого значилась находка клада. Полный отчаяния, с разрывающим душу стоном несчастный произнес имя Дурги, а эхо, казалось, собрав воедино стоны многих других отчаявшихся людей, ответило глубоким и тяжким вздохом.

Мокрый и грязный, Бойденатх поднялся из подземелья. Мир, наполненный человеческим гулом, показался ему необитаемым и пустым, подобно сломанному, скованному железной цепью горшку. Ему показалось немыслимым — снова собирать вещи, покупать билет, ехать в поезде — вернуться домой, снова разговаривать с женой, снова жить прежней тоскливой жизнью. У Бойденатха появилось страстное желание свалиться в воду, как подмытый берег реки.

Тем не менее он собрал вещи, купил билет, поехал на поезде и в один из холодных дней, вечером, подошел к дверям своего дома. Когда в месяце ашшин Бойденатх, бывало, сидел у своего дома, наблюдая, как возвращаются на родину люди, ему часто хотелось быть на их месте и испытать счастье возвращения домой. Но вечер сегодняшнего дня никогда даже не снился ему. Войдя во двор, он сел на скамейку, ничего не соображая. Он не пошел в комнаты жены. Служанка первая увидела его и вскрикнула от радости. Прибежали дети, жена позвала его к себе. Бойденатх словно проснулся от кошмара, увидев свою семью. С усталой улыбкой на похудевшем лице он взял на руки одного из сыновей, другого за руку и пошел к жене. В комнате в это время горела лампа, и хотя ночь еще не наступила, вокруг царили тьма и без-

молвие. Бойденатх некоторое время не мог вымолвить ни слова, затем мягко спросил жену:

— Как твое здоровье?

Жена, ничего не ответив, сказала:

— Ну, как дела?

Бойденатх молча ударил себя по лбу. Лицо Мокходы помрачнело. Дети, поняв, что случилось какое-то несчастье, ушли к служанке, улеглись на постель и потребовали, чтобы она рассказала сказку про парикмахера.

Ночь наступила, но муж и жена не обмолвились и словом. Какая-то тяжесть нависла над домом. Губы Мокходы были зловеще сжаты. Долго длилось молчание. Наконец, она, ни слова не говоря, ушла в спальню и заперла изнутри дверь. Бойденатх в безмолвии остался стоять за дверью. Прошел ночной сторож, выкрикивая время. Усталая земля погрузилась в сон. Но никто во всем мире, от родных на земле до звезд в безграничном небе, не думал о несчастном и униженном Бойденатхе.

Глубокой ночью проснулся старший сын Бойденатха. Вскочив с кровати, он вышел на террасу и позвал отца. Но никто не откликнулся. Мальчик кликнул громче.

— Отец! — Снова никакого ответа. Дрожа от страха, Обинаш пошел спать. Утром, как обычно, Мокхода набила табаком трубку и пошла искать мужа, но нигде найти его не могла. Днем соседи пришли проведать Бойденатха, но он исчез.

1892



Кабулиец

Моя маленькая пятилетняя дочка Мини минуты не может посидеть спокойно. Едва ей исполнился год, как она уже научилась говорить, и с тех пор, если только не спит, не в состоянии молчать. Мать часто бранит ее за это, и тогда Мини умолкает, но я так не могу. Молчание Мини кажется мне настолько противоестественным, что долго я его не выдерживаю, поэтому со мной она всегда беседует особенно охотно.

Как-то утром я работал над семнадцатой главой моей повести. В это время вошла Мини и уже в дверях начала:

— Папа, привратник Рамаоял называют корону — воро́ной! Он ведь ничего не понимает, правда?

Но прежде чем я приступил к рассуждениям о различиях, существующих в разных языках, она уже говорила о другом.

— Папа, знаешь, Бола говорит, что на небе слон выливает из хобота воду и от этого идет дождь. Какую чепуху может сказать Бола! Он ведь только болтает — день и ночь болтает!

И, не ожидая, пока я выскажу свое мнение, она вдруг спросила:

— Папа, а кто тебе мама?

«Свояченица», — подумал я, но вслух сказал:

— Мини, иди поиграй с Болой. Я сейчас занят.

Тогда она села возле моего письменного стола, обхватила колени руками и начала играть, быстро приговаривая: «агдум-багдум». В это время в моей семнадцатой

главе Протапсингх вместе с Канчонмалой прыгал темной ночью в воду из высокого окна темницы.

Окна моей комнаты выходят на улицу. Неожиданно Мини бросила играть в «агдум-багдум», подбежала к окну и закричала:

— Кабуливала, эй, кабуливала![1]

Высокий кабулиец в грязной широкой одежде, с чалмой на голове, с корзиной за плечами, медленно переходил дорогу, держа в руках несколько ящиков с виноградом. Трудно сказать, какие мысли зародились в головке моей дочери, когда она громко позвала его. Я же подумал, что сейчас в образе этой корзины придет несчастье и моя семнадцатая глава не будет окончена.

Но когда кабулиец, услышав зов Мини, широко улыбаясь, направился к нашему дому, ее и след простыл. Она сейчас же убежала на женскую половину дома, так как была уверена, что если заглянуть в эту корзину, то в ней можно найти таких же ребятишек, как она.

Кабулиец подошел — и с улыбкой поклонился мне. Я подумал, что, хотя положение Протапсингха и Канчонмалы довольно критическое, мне все же следует что-нибудь приобрести у человека, раз его позвали.

Я купил кое-что. Потом мы немного побеседовали. Абдур Рохмот начал рассуждать о пограничной политике России, Англии и других стран.

Наконец, он поднялся, собираясь уходить, и спросил:

— Бабу, а куда убежала твоя дочка?

Я решил рассеять напрасные страхи Мини и позвал ее. Прижимаясь ко мне, она подозрительно смотрела на кабулийца и его корзину. Рохмот вынул из корзины горсть кишмиша и сухих абрикосов и протянул ей, но она не взяла и с еще большим недоверием прильнула к моим коленям. Так состоялось их первое знакомство.

Как-то утром, спустя несколько дней, я вышел из дому и увидел, что моя дочь сидит на скамейке около двери и оживленно болтает, а кабулиец, сидя рядом на земле, с улыбкой слушает ее и время от времени вставляет свои замечания на ломаном бенгальском языке. За весь пятилетний жизненный опыт у Мини еще не было

---

[1] Кабуливала — кабулиец — житель города Кабул (столица Афганистана), здесь употреблено в значении «афганец».

такого терпеливого слушателя, не считая ее отца. Тут я увидел, что подол ее полон кишмиша и миндаля.

— Зачем ты ей дал это? Больше не давай, — сказал я кабулийцу и, вынув из кармана полрупии, отдал ему. Он спокойно взял деньги и опустил их в корзину.

Вернувшись домой, я увидел, что эти полрупии подняли шум на целую рупию.

Мать Мини держала в руке блестящий белый кружочек и строго спрашивала:

— Где ты взяла деньги?

— Кабуливала дал.

— А зачем ты взяла деньги у кабулийца?

Мини готова была расплакаться.

— Я не брала, он сам дал.

Я спас Мини от грозящей катастрофы и увел ее из комнаты.

Оказалось, что это была уже не вторая встреча Мини с кабулийцем — все это время он приходил почти ежедневно и взятками в виде миндаля и фисташек завоевал ее маленькое жадное сердечко.

У этих двух друзей были свои шутки и развлечения. Так, едва завидев Рохмота, Мини, смеясь, спрашивала его:

— Кабуливала, а кабуливала, а что у тебя в корзине?

И Рохмот отвечал в нос, хотя в этом не было никакой необходимости:

— Слон.

Вся соль этой шутки заключалась в том, что в его корзине не мог поместиться слон. Нельзя, конечно, сказать, чтобы это было особенно остроумно, но им обоим становилось от этого чрезвычайно весело, и, слушая в осеннее утро простодушный смех двух детей, я и сам радовался.

У них было еще одно развлечение. Рохмот говорил Мини:

— Кхоки [1], никогда не ходи в дом свекра.

В бенгальских семьях девочки с ранних лет приучаются к словам «дом свекра», но мы, будучи людьми до некоторой степени культурными, не знакомили Мини с ними. Поэтому она не могла понять просьбы Рохмота, а

---

[1] Кхоки — маленькая девочка.

так как не в ее характере было молчать, когда о чем-нибудь говорят, то она в свою очередь спрашивала:

— А ты пойдешь в дом свекра?

Рохмот грозил воображаемому свекру увесистым кулаком.

— Я его изобью.

Мини представляла себе положение, в которое попадет незнакомое существо, называемое свекром, и звонко смеялась.

Сейчас ясная осень. В древности в это время цари отправлялись покорять мир. Я же никогда никуда не уезжаю из Калькутты, но именно поэтому ум мой бродит по всей земле. Как будто я — узник, заключенный в углу своей комнаты, и лишь душа моя всегда стремится куда-то. Стоит мне только услышать название какой-нибудь страны, как я начинаю фантазировать, а стоит увидеть чужестранца, и в моем воображении возникает хижина у реки среди гор и лесов, и я уже слышу рассказы о радостной и привольной жизни.

Но, несмотря на такую любознательность, мне кажется, что гром грянул бы с ясного неба, если бы я покинул свой угол. Поэтому беседы с кабулийцем по утрам в моей маленькой комнате за письменным столом во многом заменяли мне путешествия. Кабулиец громовым голосом на ломаном бенгальском языке рассказывал о своей стране, и перед моими глазами проходили картины: высокие, труднопроходимые, выжженные солнцем, темно-красные цепи гор, между ними — узкая пустынная дорога, и по ней движется караван навьюченных верблюдов; купцы в тюрбанах и проводники — кто на верблюде, кто пешком, один с копьями, у других в руках старинные кремневые ружья...

Мать Мини — очень пугливый человек. Раздастся на улице какой-нибудь шум, и ей уже кажется, что пьяные собрались со всего света и бегут к нашему дому. За всю свою жизнь (не сказать, чтобы очень долгую) она не могла освободиться от страшной мысли, что весь мир переполнен ворами, разбойниками, пьяницами, змеями, тиграми, ядовитыми насекомыми, тараканами и солдатами, что нас постоянно подстерегает опасность заболеть малярией.

Она не была спокойна и в отношении кабулийца Рохмота, поэтому не раз просила меня получше присматри-

вать за ним. Я со смехом пытался рассеять ее подозрения, но она забрасывала меня вопросами:

— Разве никто никогда не крал детей?

— Разве в Афганистане не существует рабства?

— Разве совершенно невозможно для громадного кабулийца украсть маленького ребенка?

Мне приходилось соглашаться, что такое предположение вполне возможно, но я говорил, что этому трудно поверить. Однако не все люди обладают одинаковой способностью верить, и в душе моей жены подозрения остались. И все же я не мог просто так, ни с того ни с сего, запретить Рохмоту приходить к нам.

Каждый год в середине месяца магх[1] Рохмот уходил на родину. К этому времени он торопился собрать все долги. Он был очень занят, ходил из дома в дом, но никогда не забывал заглянуть к Мини. Во время этих встреч у них обоих был вид заговорщиков. Если он не мог почему-либо прийти утром, он приходил вечером. Глядя на этого высокого человека в длинной рубахе, в широких штанах, который сидел в темном углу комнаты, нагруженный корзинами, действительно становилось страшно. Но когда прибегала Мини, смеясь и крича: «Кабуливала, а кабуливала!», и я слышал, как между разными по возрасту друзьями начинались старые бесхитростные шутки, в сердце у меня распускалась радость.

Однажды утром я сидел в своей маленькой комнате за корректурой.

В последние дни похолодало. Через окно в комнату проникали лучи солнца и падали под стол, приятно грея мои ноги.

Было около восьми часов. Те, кто выходил на утреннюю прогулку, к этому времени уже вернулись домой.

Вдруг на улице послышался шум. Я посмотрел в окно и увидел, что двое стражников ведут связанного Рохмота, за ними идет толпа любопытных детей. На одежде Рохмота были видны следы крови, а один из стражников нес окровавленный нож. Я вышел из дому, остановил полицейского и спросил, что случилось.

Частью от него, частью от самого Рохмота я узнал,

---

[1] Магх — десятый месяц бенгальского календаря, соответствует январю — февралю.

что один из наших соседей задолжал Рохмоту за рампурский чадор, но отказался платить ему. Между ними разгорелась ссора, во время которой Рохмот ударил его ножом.

Рохмот отправил не одно ругательство по адресу этого лжеца. Неожиданно с криком: «Кабуливала, эй, кабуливала!» — из дому выбежала Мини.

Мгновенно лицо Рохмота расцвело улыбкой. Сегодня у него не было корзины, следовательно, не мог произойти и обычный разговор о ней, поэтому Мини спросила:

— Ты идешь в дом свекра?

Рохмот засмеялся:

— Именно туда!

Но этот ответ не рассмешил Мини, как обычно, и тогда кабулиец сказал, указывая на руки:

— Я бы его избил, но что делать, руки связаны.

За убийство Рохмот был осужден на несколько лет тюремного заключения.

Я забыл о нем. Когда мы сидим у себя дома и проводим дни за обычными повседневными делами, нам и в голову не приходит задумываться над тем, как живет в тюрьме какой-то свободный житель гор.

Живая, быстрая Мини становилась все более застенчивой. Это приходилось признавать и ее отцу.

Сначала, легко забыв своего старого приятеля, она завела знакомство с конюхом Наби. Потом, с возрастом, друзей стали заменять подруги. Теперь ее нельзя было увидеть даже в комнате отца. Наша дружба прекратилась.

Прошло несколько лет. Снова наступила осень. Назначена свадьба Мини. Она состоится во время праздника Пуджа. Моя радость вместе с обитательницей Кайласа[1] покинет отцовский дом, погрузит его во мрак и уйдет к мужу...

Утро было прекрасно. Умытое дождем солнце сияло, как расплавленное золото. Даже теснящимся в калькутт-

---

[1] Кайлас — индийское название Гималаев. По индийской мифологии, богиня Дурга обитает в Гималаях.

ских переулках грязным домам из облупленного кирпича лучи этого солнца придавали особую прелесть.

Еще до рассвета в нашем доме зазвучала флейта. Ее звуки разрывали мне сердце. Жалобный мотив и осеннее солнце так усиливают боль предстоящей разлуки, что она заслоняет собою весь мир. Сегодня свадьба моей Мини.

С самого утра шум, говор, приходят и уходят люди. Во дворе делают из бамбука навес, в комнатах и на веранде висят, покачиваясь, гирлянды цветов.

Я сидел у себя в кабинете и просматривал счета, когда вошел Рохмот.

Сначала я не узнал его. Корзины у него не было, волосы были острижены, не чувствовалось в нем и былой бодрости. Только улыбка осталась прежней.

— О, это ты, Рохмот? Когда же ты пришел?

— Вчера вечером меня выпустили из тюрьмы.

Эти слова точно ударили меня. Я никогда раньше не видел убийц, и теперь, при виде Рохмота, внутри у меня что-то сжалось. Я подумал, что будет хорошо, если сегодня, в такой счастливый день, этот человек уйдет отсюда.

— Сегодня мы все заняты. Мне некогда. Приходи в другой раз.

Он тотчас же повернулся, чтобы уйти, но в дверях остановился и спросил:

— Можно мне посмотреть на кхоки?

Он думал, что Мини все такая же. Он даже как будто ждал, что сейчас, как и раньше, с криком: «Кабуливала, эй, кабуливала!» — вбежит Мини, и все будет так, как во время их прежних веселых встреч. Помня старую дружбу, он принес ящик винограда и немного кишмиша и миндаля в бумаге. Вероятно, он собрал их у своих земляков, — корзины теперь у него больше не было.

— Сегодня все в доме заняты. Сегодня никого нельзя будет увидеть.

Это его как будто расстроило. Постояв некоторое время молча, он пристально взглянул мне в лицо, произнес:

— Салям [1], бабу! — и вышел за дверь.

---

[1] Салям — приветствие, принятое главным образом среди мусульман.

Мне стало больно. Я хотел уже позвать его, как вдруг он вернулся сам.

— Этот виноград и немного кишмиша с миндалем я принес Мини, отдайте ей.

Я взял и хотел было заплатить ему, но он схватил меня за руку.

— Вы очень добры. Я всегда буду помнить это. Но не надо денег. Бабу, у меня дома такая же девочка, как у тебя, я принес немного сладостей твоей маленькой девочке, чтобы поглядеть на ее личико. Я пришел не торговать.

Он сунул руку в складки своей широкой одежды и вытащил грязный бумажный сверток. Бережно развернул его и положил передо мной на стол.

На бумаге я увидел отпечаток маленькой детской руки. Это была не фотография, не портрет, нет, это был отпечаток руки, намазанной сажей. Каждый год Рохмот приходил в Калькутту торговать сладостями и носил на груди эту память о своей дочери — и нежное прикосновение отпечатка маленькой детской ручки согревало его большое, страдающее в разлуке сердце.

У меня на глаза навернулись слезы. Я забыл, что он — торговец сладостями из Кабула, а я — потомок благородного бенгальского рода. Я понял, что он — это я, что он такой же отец, как и я.

Отпечаток руки его маленькой жительницы гор напомнил мне мою Мини. Я тотчас позвал ее с женской половины. Там запротестовали, но я ничего не хотел слушать. Одетая в красное шелковое сари[1] невесты, с сандаловым знаком на лбу, Мини стыдливо подошла ко мне.

Увидев ее, кабулиец растерялся. Старая встреча не получилась. Наконец, он улыбнулся и спросил:

— Кхоки, ты идешь в дом свекра?

Теперь Мини понимала значение слов «дом свекра». Теперь она не ответила на вопрос Рохмота, как раньше, а смутилась, покраснела и отвернулась. Я вспомнил первую встречу Мини с кабулийцем, и мне стало грустно.

Когда Мини ушла, Рохмот, тяжело вздохнув, сел на пол. Он вдруг ясно понял, что и его девочка за это

---

[1] Сари — женская одежда, состоящая из цельного куска материи.

время тоже выросла, что ему предстоит с ней новая встреча и что он не увидит ее такой, как раньше. А кто знает, что произошло с ней за эти восемь лет?

Мягко светило осеннее утреннее солнце. Пела флейта. Рохмот сидел в одном из переулков Калькутты и видел перед собой пустынные горы Афганистана.

Я дал ему денег.

— Рохмот, возвращайся домой к дочери, и пусть ваша счастливая встреча принесет счастье Мини.

Мне пришлось несколько урезать расходы на празднество. Я не смог зажечь электрический свет так ярко, как хотел это сделать, не пригласил оркестр. Женщины выражали неудовольствие. Но праздник в моем доме был освещен светом счастья.

1892



Шубха

I

Когда девочке давали имя Шубхашини (нежно говорящая), кто мог ожидать, что она окажется немой? Двух старших ее сестер называли Шукешини (обладающая красивыми волосами) и Шухашини (нежно улыбающаяся); поэтому отец для соответствия назвал младшую дочь Шубхашини. Для краткости ее звали Шубха.

Старших сестер выдали замуж с обычными хлопотами и расходами, но судьба младшей дочери вызывала тяжелые раздумья родителей. Люди считали, что тот, кто не говорит, не может и чувствовать, и без стеснения высказывали в присутствии Шубхи беспокойство относительно ее будущего.

С раннего детства девочка поняла, что ее рождение было небесным проклятием дому ее отца. Поэтому она сторонилась людей и стремилась к одиночеству. Ей было бы намного легче, если бы все просто забыли о ней. Но кто может позабыть свое горе? Родители постоянно помнили о нем. Особенно страдала мать. Она видела в дочери свой позор: ведь дочь для матери всегда ближе сына, она словно часть ее существа, и всякий недостаток девочки вызывает у матери чувство стыда за себя. В то время как отец Шубхи, Баниконтха, любил Шубхашини больше других дочерей, мать относилась к ней с неприязнью.

Шубха была лишена дара речи, но у нее были большие темные глаза, затененные длинными ресницами, а

губы ее трепетали, словно легкие лепестки, отражая чувства, переполняющие сердце девочки.

Сколько требуется усилий, чтобы передать в словах свои мысли. И когда это не удается сделать достаточно точно, нас неправильно понимают. Но черные глаза девочки не нуждаются в словах; они отражают саму душу: в них чувства то вспыхивают, то слабо мерцают, то ярко разгораются, то устало гаснут, то смотрят спокойно, подобно заходящему месяцу, а порой сверкают, словно быстрые легкие молнии, озаряющие небосвод. Те, кто немы с самого рождения, заменяют дар речи не только трепетом уст, но языком глаз, бесконечно выразительным и глубоким, как море, ясным, как небо, как притихшая земля, где играют зори и закаты, где тени сменяют свет.

На немых, как и на самой природе, лежит печать одинокого величия. Поэтому дети обычно боялись Шубхи и никогда с ней не играли. Она была нема и одинока, как безлюдный полуденный час.

II

Деревня, в которой жила Шубха, называлась Чондипур. Река, протекавшая через нее, была обычной маленькой речкой, каких много в Бенгалии, она скромно держалась в узких берегах, как девушка среднего сословия. Эта добросовестная полоска воды трогательно заботилась о деревнях, расположенных на ее берегах, как будто она была полноправным членом деревенской семьи. По обеим берегам речки тянулись дома, зеленели деревья, и речная богиня, нисходя со своего ложа, быстро и самоотверженно, со счастливой душой, рассыпала бесконечную благодать.

Участок Баникантхы спускался к самой реке, и проплывавшие мимо лодочники могли видеть крытые соломой сараи, амбар, хлев, тамариндовые деревья, сад, обнесенный оградой. Не знаю только, замечал ли кто среди этого благополучия немую девочку.

Как только Шубха кончала работу, она шла на берег реки. И здесь природа как бы восполняла то, чего не хватало несчастной. Она словно разговаривала с девочкой. Журчание воды, голоса людей, песни лодочников, щебет

птиц и шелест деревьев смешивались и сливались с радостным трепетом сердца Шубхи, врываясь в тревожную, бесконечно молчаливую душу ребенка широкой волной звуков. Этот неясный шум природы и движение были языком немой девочки; взгляд ее больших глаз, затененных длинными ресницами, был отражением окружающего мира, начиная с деревьев, в листве которых стрекотали цикады, и вплоть до далеких беззвучных звезд. Для Шубхи все было полно таинственных знаков, движения, песен, слез и глубоких вздохов.

В полдень, когда лодочники и рыбаки уходят на обед, крестьяне спят, замолкают птицы, паром бездействует, когда беспокойный мир отдыхает, превращаясь в огромный безлюдный дом, тогда под жарким необъятным небосводом лицом к лицу оставались в безмолвии только немая природа, залитая щедрым солнечным светом, и немая девочка в тени невысокого дерева.

Нельзя сказать, чтобы у Шубхи совсем не было друзей. В хлеве стояли две коровы с кличками Шорбоши и Пангули. Они никогда не слышали своих имен из уст девочки, но хорошо знали ее поступь. Она была бессловесна, но ее шепот и невнятное бормотанье животные понимали лучше всяких слов. Они понимали, когда Шубха ласкала или журила их; если же девочка, входя в стойло, обнимала Шорбоши за шею, та терлась щекой о ее щеку, а Пангули, устремив кроткие глаза на своего маленького друга, лизала ей лицо. Шубха должна была три раза в день ходить в хлев, но она бывала там значительно чаще, особенно в те дни, когда ее дома обижали. Тогда она тотчас же шла к своим молчаливым друзьям. Животные с покорными, полными сочувствия глазами, каким-то особым, неведомым чутьем понимали сердечную боль девочки и, подойдя к ней, осторожно терлись рогами об руки Шубхи, молча, неуклюже пытаясь утешить ее. Были еще козы и кошки, но к ним Шубха не чувствовала особой привязанности, тем не менее они проявляли к ней не меньшую любовь, чем коровы. Котенок часто устраивался на мягких коленях девочки спокойно подремать и очень любил, когда Шубха нежными пальцами начинала гладить его по шее и спинке.

III

Среди существ высшего порядка у Шубхи тоже был товарищ. Трудно сказать, что связывало их, потому что мальчик умел говорить, и это лишало детей общего языка.

Младший сын Гоншайнов по имени Протап, был очень ленивым малым. После многочисленных и бесполезных попыток приучить его к какому-нибудь ремеслу родители отказались от надежды сделать из него что-нибудь путное и вывести его в люди. Но у бездельников есть одно преимущество: хотя домашние бранят их, почти у всех других людей они пользуются неизменной симпатией. Лентяи не связаны никакими делами и становятся как бы общественным достоянием. Как любой город нуждается в общедоступном саде, так и для каждой деревни необходимы два-три праздношатающихся, которые всегда к услугам тех, кому представлялась возможность повеселиться или полодырничать.

Основным занятием Протапа была ловля рыбы на удочку. На это он тратил массу времени, и почти всегда его можно было застать за этим занятием на берегу реки. Здесь же всегда происходили и его встречи с Шубхой. Для Протапа в любом деле был необходим добровольный товарищ. Во время рыбной ловли неразговорчивый товарищ — самый лучший; поэтому Протап очень ценил подругу. В то время как все звали девочку Шубхой, мальчик в знак особого к ней расположения называл ее просто Шу.

Обычно Шубха садилась под тамариндовым деревом, а Протап неподалеку от нее забрасывал удочку. У Протапа была привычка жевать бетель, и девочка сама приготовляла его для приятеля. Подолгу наблюдая за Протапом, она желала всей душой чем-то помочь ему, сделать для него что-то особенное, заставить его подумать, что и она не лишний человек на земле. Но Шубха ничего не могла придумать. Тогда она мысленно обращалась к творцу и молила его дать ей силу совершить какой-нибудь необыкновенный, достойный удивления поступок, который привел бы в изумление ее приятеля и заставил бы его воскликнуть: «Смотрите-ка, а я и не думал, что наша Шубха способна на подобное!»

Если бы Шубха была нимфой! Медленно поднявшись из воды, она вынесла бы Протапу драгоценный камень из

венца змеи, и он, бросив жалкую рыбную ловлю, спустился бы с этим драгоценным камнем на дно реки. А попав в подводное царство, кого же увидел бы он на золотом троне в серебряном дворце? Конечно, немую девочку Шу, дочь Баниконтхи, нашу Шу, единственную дочь царя этого лучезарного и спокойного подводного мира. Но это невозможно! И не потому, что есть вообще что-нибудь невозможное, а потому, что Шу родилась не в царской семье, а в семье Баниконтхи, и не в ее силах было изумить Протапа, сына Гоншайна.

IV

Шубха подрастала. Она даже начала как будто разбираться в себе. В ее душе стали появляться новые, еще не всегда понятные, но широкие и влекущие, подобные океанскому приливу в глубокое полнолуние, мысли. В ее головке теснилось множество вопросов, но найти ответа на них девушка не могла.

Как-то раз, глубокой ночью, в полнолуние, Шубха тихонько отворила дверь и, робко выглянув, осмотрелась по сторонам. Полная луна, одинокая, как Шубха, взирала на спящую землю. В девушке ключом била молодая жизнь; радости и печали заполняли все ее существо; она дошла до границы своего беспредельного одиночества и, сама не сознавая того, перешагнула ее. И вот наедине с безмолвной взволнованной матерью-природой стояла немая взволнованная девушка...

Между тем мысль о замужестве дочери не давала родителям покоя. Соседи осуждали их и поговаривали, что им не удастся пристроить дочь, хотя Баниконтха и был человеком богатым: его семья могла позволить себе есть дважды в день рыбу с рисом, и естественно, что у него было много врагов.

Баниконтха долго советовался с женщинами и через несколько дней куда-то уехал.

Наконец, он вернулся и сказал:

— Едем в Калькутту!

Стали собираться на чужбину. Тяжелые, словно густой утренний туман, слезы сдавили сердце Шубхи. С безотчетным страхом, который мучил ее несколько последних дней, как бессловесное животное, ходила она то за

матерью, то за отцом. Раскрыв большие глаза, девушка с тревогой всматривалась в их лица, пытаясь хоть что-нибудь понять, но родители не говорили ей ни слова.

Как-то раз, в полдень, закинув, по обыкновению, удочку, Протап со смехом сказал:

— Ну, Шу! Достали для тебя жениха! Ты уедешь и выйдешь замуж. Но, смотри, нас не забывай!

И снова занялся рыбной ловлей.

Шубха взглянула на Протапа, точно смертельно раненная лань на охотника. «Что я тебе сделала?» — спрашивали ее глаза, полные немой тоской. В тот день она уже не сидела под деревом.

Проснувшийся Баниконтха курил в своей спальне, когда в комнату вбежала Шубха и, припав к его ногам, громко разрыдалась. Баниконтха пытался успокоить ее, но и сам не мог сдержать слез.

На следующий день был назначен отъезд в Калькутту. Шубха пошла в хлев проститься с друзьями детства. Она кормила животных из своих рук, обнимала их за шеи, нежно шептала им что-то, ласково смотрела в глаза. Слезы неудержимым потоком катились по ее щекам.

Светлой ночью Шубха, выйдя из дома, упала на душистую траву у давно знакомой, родной и милой реки. Девушка как будто обнимала эту могучую, спокойную мать человечества — землю, как будто хотела сказать: «Не отпускай меня, мать! Держи меня так же крепко, как я тебя!»

Когда они приехали в Калькутту, мать с особым старанием одела Шубху. Скрутив волосы в узел, она обвязала его лентой, украсила драгоценностями, чем, надо сказать, убила всю природную красоту девушки. Из глаз Шубхи лились слезы. Мать ругала ее, опасаясь, что глаза распухнут и покраснеют, но никакие угрозы не могли остановить рыданий девушки.

Наконец, явился жених со своим другом посмотреть невесту. Родители девочки были обеспокоены и взволнованы так, словно сам бог сошел выбрать животное для заклания. Чрезмерно наставляя дочь, мать довела ее до того, что девочка расплакалась еще сильнее, и в таком состоянии Шубху представили избраннику. Жених, рассмотрев ее, промолвил:

— Недурна.

Видя неутешные слезы девушки, молодой человек подумал, что у нее нежная душа, и, решив, что сердце, которое так горько убивается при разлуке с родителями, будет заботливо и нежно к мужу, сказал:

— Слезы девушки только поднимают ей цену, как жемчужины цену раковины.

Больше он ничего не добавил.

Справились с календарем и в один из благоприятных дней сыграли свадьбу. Передав немую девочку в руки молодого человека, родители вернулись домой; их каста и будущее были спасены.

Муж Шубхи работал на западе и вскоре, после свадьбы, увез туда и жену. Не прошло и недели, как все уже знали, что новобрачная — немая. Ну, а если кто и не догадался, в этом была не ее вина. Девочка не старалась никого обмануть. Глазами она говорила всю правду, но никто не мог понять ее! Шубха оглядывалась, но нигде не находила с детства родных лиц, тех, с кем бы могла говорить на общем языке, кто бы мог понять ее,— и в сердце немой девочки поднимался неудержимый, нечеловеческий крик, но и его не мог услышать никто, кроме всеведущего бога. А муж Шубхи, в следующий раз более внимательно осмотрев невесту и пустив в ход не только глаза, но и уши, женился на другой девушке, уже обладающей даром речи.

1892



Мохамайя

I

Мохамайя и Раджиблочон встретились на берегу реки в старом разрушенном храме.

Не сказав ни слова, Мохамайя пристально посмотрела на Раджиба. «Как ты осмелился позвать меня сюда да еще в такое время, — казалось, упрекал ее взгляд.— До сих пор я выслушивала все, что ты говорил, но ты стал слишком дерзким!»

Смущенный этим взглядом, Раджиб робко подошел к девушке. Ему хотелось сказать ей сегодня несколько слов, но он тут же отказался от своего намерения. Но как бы там ни было, а ему нужно было объяснить Мохамайе, зачем он просил ее прийти к храму, поэтому он быстро проговорил:

— Давай убежим отсюда и поженимся.

Раджиб сказал именно то, что хотел, но не сделал вступления, которое уже давно было подготовлено в его сердце, поэтому его слова прозвучали так сухо и резко, что их странно было слышать. Он пробормотал их себе под нос, заикаясь, и больше не мог добавить ни одного слова.

Глупый Раджиб! Позвать Мохамайю в этот полдень на берег реки в разрушенный храм и не найти ничего лучшего, как сказать: «Давай поженимся!»

Мохамайя была девушкой из семьи, принадлежащей к некогда знатному аристократическому роду. Ей минуло двадцать четыре года, и красота ее была в полном

расцвете. Она напоминала изваяние из неотделанного золота, как осеннее солнце, спокойно льющее свои яркие, но нежгучие лучи. Ее прекрасные глаза глядели открыто и смело.

Отца у Мохамайи не было; был только старший брат, которого звали Бхобаничорон Чоттопадхайя. Брат и сестра казались людьми одного склада: говорили они мало, но во взгляде каждого было столько силы, что, безмолвный, он опалял, словно полуденный зной. Перед Бхобаничороном все чувствовали какой-то безотчетный страх.

Раджиб был не из тех мест. Его привез сюда старший управляющий местной шелкоткацкой фабрики, где служил отец Раджиба. После смерти отца управляющий взял на себя заботу о маленьком Раджибе и, когда мальчик немного подрос, привез его на бамонхатирскую фабрику. С мальчиком находилась только горячо любившая его тетка. Они поселились по соседству с Бхабаничороном, и Мохамайя с детства подружилась с Раджибом. Его тетка и Мохамайя были тоже очень привязаны друг к другу.

Раджиб рос. Ему уже исполнилось девятнадцать лет, но, несмотря на настойчивые просьбы тетки, он не хотел жениться. Узнав о таком необычайном благоразумии бенгальского юноши, его покровитель обрадовался, решив, что юноша за образец взял его жизнь (управляющий был холост).

Между тем тетка Раджиба умерла, и он остался один.

В то же время для Мохамайи не находилось достойного ее родовитого жениха, да и свадьба требовала больших расходов.

А девические годы ее шли.

Читателям излишне говорить, что узы брака — дело божества! Но если бог, ведающий этими узами, столь долго проявлял крайнюю безответственность в отношении этих двух молодых людей, то бог любви не тратил времени зря! Когда дремлет старый Праджапати[1], бодрствует юный Кандарпа[2].

---

[1] Праджапати — в индийской мифологии бог-создатель, считается также богом брака.

[2] Кандарпа — в индийской мифологии одно из имен бога любви Камадевы.

Власть бога любви, Кандарпы, над каждым человеком проявляется по-разному. Побуждаемый этим богом, искал Раджиб случая сказать Мохамайе несколько ласковых слов, но девушка не дала ему этого сделать — ее серьезный пристальный взгляд вселял робость в трепещущее сердце Раджиба.

Сегодня, наконец, набравшись смелости, юноша вызвал Мохамайю в этот разрушенный храм: сегодня он решил сказать ей все, а там — или счастье на всю жизнь, или смерть. Но в этот знаменательный день своей жизни Раджиб смог лишь сказать: «Давай поженимся» — и растерянно умолк, как школьник, забывший урок.

Мохамайя, казалось, не ожидала от Раджиба подобного предложения. Несколько минут она стояла молча.

Полдень был насыщен множеством неясных, чуть слышных звуков, которые нарушали безмолвие. Медленно качалась от ветра, издавая тихие жалобные стоны, то открываясь, то закрываясь, наполовину сорванная дверь храма; на окне храма ворковали голуби, в ветвях шелковичного дерева монотонно стучал дятел; из кучи сухих листьев, шурша, скользнула ящерица; вот подул с поля легкий ветерок, зашелестев листьями деревьев; словно пробудившись от сна, вода в реке с тихим плеском забилась о ступени полуразрушенной лестницы. Среди всех этих случайно возникающих и ничего не значащих звуков издалека доносился напев пастушьей свирели.

Не решаясь взглянуть в лицо Мохамайи, Раджиб прислонился к стене храма и смотрел на спокойную, словно дремлющую реку.

Немного погодя он обернулся и обратил к девушке свой умоляющий взор. Она покачала головой:

— Нет, это невозможно.

Этого было достаточно, чтобы все надежды Раджиба рассыпались в прах. Он прекрасно знал, что значит этот знак — теперь никто в мире не в силах заставить ее изменить свое решение. Веками воспитывалось в семье Мохамайи чувство гордости своим родом, — и могла ли она согласиться выйти замуж за простого брахмана, каким был Раджиб! Любовь — одно, брак — совсем иное. Мохамайя никак не могла представить, что ее необдуманное поведение придаст Раджибу такую смелость. Она хотела тотчас же уйти.

Видя ее намерение, юноша поспешно сказал:

— Завтра я уезжаю.

Сначала Мохамайя решила показать, что известие ее совсем не трогает, но это было свыше ее сил. Она хотела уйти, но не могла сдвинуться с места. Впрочем, она довольно спокойно спросила:

— Почему?

— Мой хозяин переводится отсюда на фабрику в Шонапур и берет меня с собой, — ответил Раджиб.

Несколько мгновений Мохамайя стояла молча. «Жизнь людей идет разными путями, — думала она, — нельзя надолго удержать при себе человека». Затем глубоко вздохнула и, почти не разжимая губ, сказала: «Хорошо». Промолвив только одно это слово, она опять хотела уйти, как вдруг Раджиб вскрикнул:

— Господин Чаттерджи!

Девушка заметила приближающегося к храму Бхобаничорона и поняла, что он ищет ее.

Видя, что Мохамайе грозит беда, Раджиб хотел перескочить через разрушенную стену храма, но девушка удержала его, крепко схватив за руку.

Бхобаничорон вошел в храм и молча посмотрел на обоих.

Мохамайя смело обернулась к Раджибу:

— Раджиб, я приду в твой дом, жди меня!

Не проронив ни слова, Бхобаничорон вышел, так же безмолвно последовала за ним Мохамайя; ошеломленный юноша замер на месте, словно услышал приговор о собственной казни.

II

В тот же вечер Бхобаничорон принес красное чели и сказал Мохамайе:

— Одевайся.

Когда девушка была готова, он велел ей следовать за собой. Не то что приказа, даже знака Бхобаничорона никто никогда не смел ослушаться. Не могла ему противиться и Мохамайя.

Они отправились на берег реки, на место сожжения трупов. Оно находилось недалеко от дома. Там, в хижине для паломников, старый брахман ждал своей смерти. К его постели они и подошли. В другом углу хижины

стоял жрец. Бхобаничорон подал ему знак, и тот быстро сделал все приготовления для обряда. «Меня выдают замуж за этого умирающего!» — поняла Мохамайя, но не оказала ни малейшего сопротивления. В полутемной хижине, освещенной лишь пламенем двух погребальных костров, где неясное бормотание мантр[1] сливалось со стонами предсмертной агонии, был совершен брачный обряд.

На другой день после свадьбы Мохамайя стала вдовой. Но это несчастье не очень ее опечалило, да и Раджиб, пораженный, как громом, известием о неожиданном браке Мохамайи, обрадовался, узнав, что она овдовела.

Однако радость его оказалась недолгой. Новый удар сразил юношу. Он услышал, что на месте сожжения трупов большой шум и суматоха: там готовили костер для Мохамайи.

Первой мыслью Раджиба было сообщить обо всем управляющему и с его помощью силой прекратить этот ужасный обряд. Но он вспомнил, что как раз сегодня его хозяин уехал в Шонапур. Он хотел взять с собой и Раджиба, но тот остался, попросив себе отпуск.

«Жди меня», — сказала Раджибу Мохамайя, и он знал, что она не нарушит своего обещания.

Пока он взял отпуск на месяц, но, если понадобится, возьмет на два и на три, а возможно, что и совсем оставит работу и будет кормиться подаянием, но всю жизнь не перестанет ждать Мохамайи.

В то время как Раджиб метался, словно помешанный, не зная, что предпринять — то он хотел наложить на себя руки, то пытался что-нибудь придумать, чтобы спасти свою Мохамайю, — наступили сумерки, поднялся сильный ветер, и с неба хлынули потоки дождя. Ветер дул с такой силой, что Раджибу казалось, будто крыша над его головой вот-вот рухнет. Неистовствующие силы природы вторили его душевной буре, и это немного успокаивало юношу. Ему казалось, что весь мир мстит вместе с ним, — то, что он не в силах был совершить сам, сделала за него природа, смешав небеса с преисподней.

Вдруг кто-то сильно постучал в дверь, юноша быстро открыл. В дом вошла женщина в мокрой одежде, с опу-

[1] Мантры — стихи из священных книг или заклинания, которые читают при совершении обряда.

щенным на лицо покрывалом. Раджиб сразу узнал ее — это была Мохамайя!

— Мохамайя! — воскликнул он, задыхаясь от волнения. — Ты встала с погребального костра?

— Да, я обещала прийти в твой дом. Я сдержала свое обещание. Но знай, Раджиб, я очень изменилась, нет больше прежней Мохамайи. Только душа моя осталась той же. В твоей власти вернуть меня на костер. Но если ты поклянешься, что никогда не снимешь с меня покрывало и никогда не будешь смотреть на мое лицо, — я останусь.

Когда вырвешься из рук смерти, все остальное кажется незначительным.

— Пусть будет, как ты хочешь, — поспешно ответил юноша. — Но если ты покинешь меня, я не переживу этого.

— Так уйдем отсюда. Мы должны найти твоего хозяина.

Бросив все, что было в доме, Раджиб и Мохамайя вышли навстречу буре. Ураган бушевал с невиданной силой, трудно было удержаться на ногах. Кусочки щебня неслись по ветру и впивались в тело. Боясь быть придавленными падающими деревьями, они свернули с дороги и пошли открытым полем. Порывы ветра с силой подхлестывали их в спины, как бы стараясь отогнать этих людей от человеческого жилья и сровнять с землей.

III

Пусть читатель не сочтет этот рассказ за вымысел Говорят, что в те времена, когда существовал обычай шахмарана[1], такие случаи бывали, хотя и редко.

Мохамайю, связанную по рукам и ногам, положили на костер и в назначенное время зажгли его. Пламя, загудев, поднялось вверх, но вдруг подул сильный ветер и хлынул дождь. Все, кто присутствовал при сожжении, укрылись в хижине паломников. Дождь погасил костер, однако веревки, связывающие руки девушки, успели сгореть. Несмотря на нестерпимую боль от ожогов,

---

[1] *Шахмаран, или сати,* — самосожжение вдовы на погребальном костре своего умершего мужа. Отменен в 1828 году.

Мохамайя поднялась, не издав ни единого стона, и развязала веревки на ногах. Затем, прикрыв свое тело остатками обгоревшей одежды, почти нагая, она сошла с костра.

Сначала Мохамайя направилась домой. Но никого там не застала. Все были на похоронах. Девушка зажгла светильник и, надев платье, взглянула на себя в зеркало, но в ту же минуту с ужасом бросила его на землю. Потом, накинув на голову покрывало, она пошла к Раджибу.

Что произошло дальше, читателю уже известно.

Теперь Мохамайя живет в доме Раджиба, но это не принесло ему счастья, покрывало встало между ними стеной, вечной и неумолимой, как смерть, и даже мучительнее смерти. Если безнадежность притупляет со временем боль невозвратимой утраты, то призрак надежды, таящийся за покрывалом, ежедневно, ежечасно причинял Раджибу невыносимые страдания.

По природе своей Мохамайя была замкнута, теперь же эта замкнутость еще больше увеличилась из-за того, что она была вынуждена вечно прятать свое лицо под покрывалом. Это было страшно. Девушка жила, словно погруженная в безмолвие смерти, и эта немая смерть, сжимая в своих объятиях жизнь Раджиба, грозила задушить и ее.

Раджиб потерял прежнюю Мохамайю, и прекрасный образ, который он с детства хранил в своей памяти, постепенно начал стираться, вытесняемый закутанным в покрывало существом, вечно находящимся перед его глазами. «Все живое имеет покров, данный ему природой, — думал Раджиб, — Мохамайя же подобна описанному в пуранах Карне[1], носившему от рождения панцырь. Явившись на свет в одном покрове, она как бы родилась вторично и обрела новую оболочку».

Мохамайя никогда не расставалась с Раджибом и в то же время была невыразимо далека от него. И юноша всем своим исстрадавшимся сердцем старался постичь эту нерушимую тайну — подобно тому, как звезды каждую ночь тщетно пытаются развеять своими негаснущими взорами ночную тьму.

---

[1] Пураны — древние предания. Карна — в индийской мифологии, первый сын Кунти (матери пандавов — героев «Махабхараты») и бога солнца. Он родился с оружием и в панцыре.

Так жили рядом эти две одинокие, не связанные друг с другом человеческие души.

Однажды, в конце полнолуния, во время сезона дождей, в первый раз прорвав облака, показалась луна. Тихая лунная ночь бодрствовала над изголовьем уснувшей земли.

Раджиб не спал в эту ночь. Он сидел у раскрытого окна. Из истомленного зноем леса на него пахнуло ароматами цветов; тихо стрекотали цикады. У края темнеющего леса, как начищенный лист серебра, блестело озеро. Трудно сказать, о чем думает человек в такую минуту, но вся его душа полна одним желанием, как лес пропитан ароматами, а ночь стрекотанием цикад.

Я не знаю, о чем думал Раджиб, но ему казалось, будто сегодня рухнут все преграды. Сегодня ночь сбросила с себя облачный покров и явилась прекрасной и торжественно-безмолвной, как Мохамайя прежних дней. Все его существо в едином порыве потянулось к девушке.

Раджиб встал и, как лунатик, направился к ней в комнату. Мохамайя спала. Он подошел ближе и наклонился над ее постелью — на лицо девушки упал лунный свет. Но что это! Где же давно знакомые черты?

Пламя погребального костра злобным языком слизало всю красоту с лица Мохамайи, оставив на нем лишь следы своего ненасытного голода.

Юноша вскочил, не в силах подавить стон. Это разбудило Мохамайю. Она проснулась и увидела перед собой Раджиба. В тот же миг девушка накинула на лицо покрывало и, быстро поднявшись, встала с постели.

Раджиб замер, словно пораженный громом. Потом он упал к ее ногам:

— Прости меня!

Ничего не ответив, ни разу не оглянувшись, Мохамайя вышла из дома. Больше она не вернулась. Раджиб нигде не мог найти ее.

Пламя гнева за вечную, без слов прощения разлуку оставило неизгладимый след на всей дальнейшей жизни Раджиба.

1892



Приговор

I

Когда два брата, Дукхирам и Чхидам, с заступами в руках чуть свет отправлялись на работу, между их женами тотчас же начинались яростные пререкания и ссоры. Но для соседей этот шум стал таким же привычным, как и любой из естественных шумов и звуков.

— Ну вот, опять началось! — говорили они друг другу, заслышав пронзительные голоса женщин.

Это означало, что случилось именно то, чего они ожидали, и что сегодняшний день ни в коей мере не является исключением из общего правила.

Подобно тому, как никто не спрашивает, почему солнце всходит на востоке, никто не стремился узнать и причину ссор между женщинами. Разумеется, эти шумные распри несколько больше касались мужей, нежели соседей — однако их это тоже мало заботило. Они двигались по длинной дороге жизни в одной повозке, и неумолчный скрип ее несмазаных колес считали явлением обычным при путешествии на колеснице жизни. Напротив, если бы из дома не доносился крик и ничто не нарушало бы тишину, все в страхе ожидали бы небывалого скандала, такого, что никто не решился бы даже предугадать его последствия.

В день, с которого начинается наше повествование, когда усталые братья поздно вечером вернулись с работы, дом был погружен в молчание. Снаружи также стояла необычная тишина. Сильный дождь, лривший не переставая в течение шести часов, наконец, кончился, но

тучи все еще застилали горизонт. В воздухе не чувствовалось ни малейшего ветерка. За время дождей деревья и травы вокруг селения пышно разрослись; пряный аромат влажной зелени затопленных водой полей плотной стеной окружал дом. Из болота, начинавшегося сразу за домашними пристройками, слышалось кваканье лягушек. Неподвижный воздух был наполнен стрекотом цикад.

Бежавшая неподалеку Падма разбухла от дождей и во мраке сгущающихся туч казалась особенно грозной. Затопив большую часть пашен, она подобралась к жилищам людей. На месте оползня торчали оголенные корни манговых и хлебных деревьев, словно вытянутые в отчаянии пальцы, они цеплялись за пустоту, в надежде обрести хоть какую-нибудь опору.

В тот день Дукхирам и Чхидам работали в конторе заминдара.

На отмели уже созрел урожай, и бедняки деревни либо были заняты на собственных огородах, либо на плантациях джута. Поэтому когда из конторы явились надсмотрщики, то застали только братьев.

Крыша конторы была в щелях и во многих местах пропускала воду. Весь день братья чинили ее. Уйти домой они не смогли и перекусили тут же, в конторе. Целый день они вынуждены были мокнуть под дождем, положенной платы не получили, зато ругани и упреков им досталось с избытком.

Грязные, промокшие до костей, в сумерках они вернулись домой. Чондора, жена младшего брата, расстелив край одежды, безмолвно лежала на полу. Она казалась хмурой, как сегодняшний день, что был таким же унылым, как дождливый вечер. Жена старшего брата, Радха, сидела, насупившись, на террасе — ее полуторагодовалый сынишка плакал. Войдя в комнату, братья увидели, что голый малыш опрокинулся на спину и заснул в углу.

— Давай есть! — бросил жене проголодавшийся Дукхирам.

Радха взорвалась, словно подожженная бочка с порохом.

— Откуда я возьму?—пронзительно закричала она.— Шутить вздумал? Уж не мне ли самой идти на заработки?

После дня, полного утомительного труда и оскорблений, услышать в темном и мрачном доме порожденную пламенем голода речь жены, в особенности же ядовитый намек, который таился в ее последних словах, было нестерпимо.

— Что ты сказала? — проговорил Дукхирам сдавленным голосом, напоминавшим рычанье разъяренного тигра, и в то же мгновение опустил заступ на голову женщины. Радха рухнула к ногам невестки и тут же скончалась.

— Боже мой! Что это такое? — закричала Чондора. Вся ее одежда была залита кровью. Но Чхидам зажал ей рот. Дукхирам же отбросил заступ и, растерянный, опустился на пол, закрыв лицо руками. Проснулся и заплакал испуганный мальчик.

Между тем в селении по-прежнему было спокойно. Пастух только что пригнал стадо. Крестьяне, весь день убиравшие рис на отмели, в легких лодках возвращались домой; они держали на головах по нескольку вязанок риса — свой дневной заработок.

Дядюшка Рамлочон Чокроборти, сосед братьев, снес на почту письмо и сидел около дома, спокойно покуривая трубку. Вдруг он вспомнил, что его арендатор Дукхи, порядком задолжавший ему, как раз сегодня обещал уплатить часть долга. Решив, что Дукхи, вероятно, уже вернулся домой, Рамлочон набросил на плечи чадор, взял зонт и вышел из дому.

Он заглянул в соседний дворик и вздрогнул от удивления. Во всем доме лампы были потушены. На темной террасе неясно вырисовывалось несколько фигур. Временами слышалось приглушенное всхлипывание — это малыш начинал было плакать, зовя мать, но Чхидам зажимал ему рот рукой.

— Ты дома, Дукхи? — спросил встревоженный Рамлочон.

Дукхи сидел, застыв, словно каменное изваяние. Услышав свое имя, он разрыдался, как малый ребенок.

Чхидам торопливо спустился во двор и подошел к Чокроборти.

— Видно, женщины опять скандалят? — спросил дядюшка Рамлочон. — Мы сегодня целый день слышали их вопли...

Чхидам никак не мог придумать, что ему делать. Множество вариантов, один нелепее другого, приходило ему в голову; в конце концов он решил, что, когда стемнеет, он спрячет где-нибудь труп и таким образом избавится от него. Он совсем не подумал о том, что до этого времени к ним может зайти Чокроборти. Застигнутый врасплох, Чхидам не знал, что отвечать.

— Да, сегодня была крупная ссора, — наконец, проговорил он.

— Но почему плачет Дукхи? — спросил Рамлочон, порываясь подойти к террасе.

Чхидам понял, что скрыть ничего не удастся, и поспешно произнес:

— Во время ссоры моя жена ударом заступа сшибла Радху с ног.

В такой момент никакая опасность не кажется страшнее той, которая угрожает: Чхидам думал только о том, как бы вырваться из когтей страшной правды. Да и мог ли он предвидеть, что ложь окажется страшнее истины? Поэтому, услышав вопрос Рамлочона, Чхидам тотчас же ответил первое, что пришло ему на ум.

— Подумать только! — воскликнул, вздрогнув, Рамлочон. — Что ты говоришь! Ну, так не умерла же она, надо полагать?

— Умерла, — проговорил Чхидам и упал к ногам Чокроборти.

Убежать Рамлочон уже не мог.

«Рам, Рам! — сказал он себе. — И надо же было к ночи попасть в такую ужасную историю! Теперь придется без конца давать показания на суде».

А Чхидам по-прежнему обнимал его ноги.

— О мудрый дядюшка, — молил он (в деревне Рамлочон считался лучшим знатоком и советчиком по судебным делам), — скажи, что мне делать, чтобы спасти жену?

— Послушай, — подумав немного, предложил Чокроборти. — Есть один выход: беги сейчас же в полицию и заяви, что Дукхи, твой старший брат, вечером, придя домой голодным и узнав, что обед не готов, ударил жену заступом по голове. Скажешь так — и жена спасена, уверяю тебя.

У Чхидама пересохло в горле.

— Нет, тхакур[1], — проговорил он, вставая. — Погибнет жена — я могу взять другую, но если повесят брата, второго мне не найти.

Однако в тот момент, когда Чхидам обвинил в преступлении свою жену, он даже и не думал об этом. Признание вырвалось у него неожиданно для него самого, и теперь он судорожно искал оправдание своему поступку.

Действительно, возражение молодого крестьянина показалось Чокроборти вполне основательным.

— Тогда ничего не поделаешь, — сказал он, — расскажи все, как было, ведь скрыть преступление невозможно!

С этими словами Рамлочон удалился, и по деревне тотчас же разнесся слух, что в доме, где живут братья, во время ссоры Чондора убила ударом заступа жену Дукхи.

С шумом, подобным реву воды, прорвавшей плотину, нагрянула в деревню полиция, и все, виновные и невиновные, пришли в большое волнение.

II

Чхидам понимал, что ему придется держаться раз взятого направления. Признание, сделанное Рамлочону, уже успело облететь всю деревню, да и сам он не решался выдумать что-нибудь другое, так как не знал, к чему это может теперь привести. Поэтому единственный путь к спасению жены он видел в том, чтобы, не оспаривая ранее сказанного, постараться запутать дело показаниями.

Чхидам предложил своей жене Чондоре принять вину на себя. Эта просьба поразила ее, словно гром среди ясного неба.

— Не бойся того, что я буду говорить, — обнадеживал ее Чхидам. — Мы все равно тебя выручим.

Он утешал жену, а у самого перехватывало дыхание и лицо покрывалось смертельной бледностью.

Чондоре шел восемнадцатый год. У нее было круглое румяное личико и сильная, гибкая фигурка — такая стройная, что, шла ли молодая женщина, поворачивалась ли,

[1] Тхакур — принятое в Индии обращение к почтенным, уважаемым людям.

или наклонялась, — она всегда была одинаково хороша. Чондора двигалась легко, словно небольшая, ладная, новая лодочка, и на ее одежде никогда не было ни одной неряшливой складки. За все она бралась с каким-то особым задором и интересом; она любила поболтать на улице; ей нравилось, придя с кувшином на берег и слегка раздвинув покрывало, следить своими иссиня-черными, блестящими, быстрыми глазами за всем, что происходило на дороге.

Жена старшего брата, Радха, являла собой полную противоположность Чондоре: медлительная, ленивая, неряшливая, она никак не могла справиться ни с покрывалом на голове, ни с ребенком, ни с домашним хозяйством. Как будто и не занятая определенным делом, она все-таки умудрялась никогда не быть свободной. Чондора мало с ней разговаривала — лишь проронит спокойно несколько слов, а та пойдет кричать и браниться.

Бросалось в глаза и поразительное сходство характеров обеих женщин с их мужьями. Дукхирам был рослый, ширококостный мужчина, с приплюснутым носом. Его небольшие глаза недоуменно смотрели на мир, как будто не совсем хорошо разбирались в нем, однако вопрошать его тоже не решались. Трудно встретить второго такого робкого и, однако, внушающего страх, более сильного и одновременно беспомощного.

Чхидам же казался выточенным искусной рукой из блестящего черного камня. Он был сложен на редкость пропорционально, и части его тела в гармоническом слиянии достигли совершенства. Его густые черные волосы, смазанные маслом, всегда были тщательно убраны со лба и откинуты на плечи, одевался молодой человек чисто, даже несколько щеголевато. Никто лучше его не мог спрыгнуть с высокого обрыва в реку или оттолкнуть шестом лодку; никто не умел так ловко взбираться на вершину бамбука за молодыми побегами; словом, во всем, что бы он ни делал, чувствовались собранность и живой ум.

И хотя никто не мог бы обвинить Чхидама в равнодушии к деревенским красавицам — он всегда был не прочь покрасоваться перед ними, — однако свою молоденькую жену, Чондору, он любил горячо.

Порой возникали между супругами споры и размолвки, но никогда они не оскорбляли друг друга. К тому же

одно обстоятельство делало их союз еще более тесным: Чхидам полагал, что такой легкомысленной и красивой молодой женщине, как Чондора, нельзя полностью доверять; по мнению же Чондоры, ее муж только и делает, что смотрит по сторонам, поэтому, если не привязать его ревностью, ничто не помешает ему в один прекрасный день покинуть ее.

Незадолго до описанного случая между мужем и женой произошла серьезная ссора. Чондора стала замечать, что Чхидам, ссылаясь на работу, иногда где-то пропадает. Так, в последний раз, пробыв в отсутствии около двух дней, он вернулся домой совершенно без денег. Решив, что дело плохо, Чондора тоже начала себя вести свободнее. Она стала уходить на пристань или, вернувшись с улицы, принималась подробно рассказывать о младшем сыне Каши Моджумдара.

Словно кто подмешал яду в дни и ночи Чхидама. Даже за работой он не мог забыться ни на мгновение. Однажды, прийдя к Радхе, он принялся бранить жену. Женщина всплеснула руками и, призывая в свидетели покойного отца, заскрипела:

— Вот погоди, уйму я эту девчонку, пока беды не вышло! Уж я-то знаю, близок день, когда она совершит что-нибудь ужасное!

— Чего ты так боишься, диди? — медленно проговорила Чондора, выходя из соседней комнаты. И между обеими женщинами началась отчаянная перебранка.

— Если я еще раз услышу, что ты одна пошла на пристань, — закричал вдруг Чхидам, глядя на жену налившимися кровью глазами, — все кости переломаю!

— Ах, вот как! — воскликнула Чондора. — Так пусть же пропадают мои кости! — С этими словами она направилась к выходу.

Но Чхидам в один прыжок оказался возле нее. Схватив ее за волосы, он втолкнул жену обратно в комнату и запер снаружи дверь.

Вечером, вернувшись с работы, он нашел дверь открытой—комната была пуста. Тем временем Чондора, оставив позади себя три деревни, уже подходила к деревне своего дяди.

После долгих просьб Чхидаму с большим трудом удалось вернуть жену, но на этот раз ему пришлось признать свое поражение.

Чхидам понял, что удержать в руках эту маленькую женщину так же невозможно, как поймать пальцем ртуть на ладони. Насилий он больше не применял, но жил с тех пор в постоянной тревоге. Эта неспокойная любовь к своенравной молоденькой жене стала для него нестерпимой пыткой. Иногда он даже думал, что было бы легче, если бы Чондора умерла, — ведь к Яме не будешь ревновать, как к простому смертному.

Тут и пришла в дом беда.

Когда муж стал уговаривать Чондору взять вину на себя, она словно оцепенела, а ее глаза, как два раскаленных угля, безмолвно жгли сердце Чхидама. В смятении она, казалось, искала средства, чтобы вырваться из рук чудовища-мужа. Всем своим существом она навсегда отвернулась от него.

Чхидам уверял жену, что ей нечего бояться, он даже пытался учить ее, как отвечать полиции и судьям. Но из его длинной речи Чондора не слышала ни слова, она сидела неподвижно, словно окаменев.

Дукхирам всегда и во всем привык полагаться на брата, и, когда Чхидам предложил обвинить в убийстве Чондору, он просто спросил:

— Что же будет с твоей женой?

— Я спасу ее, — ответил Чхидам. И верзила Дукхирам успокоился.

III

— Ты должна сказать, — поучал жену Чхидам, — что Радха хотела ударить тебя ножом, ты же, пытаясь защититься, нечаянно задела ее заступом!

Это объяснение было придумано дядюшкой Рамлочоном. Он же подробно растолковал Чхидаму, какие доказательства и детали ему надлежит привести для подтверждения такого показания.

Тем временем прибывшие полицейские начали действовать. Мысль, что Радху убила именно Чондора, успела уже глубоко укорениться в головах жителей деревни. Все свидетели доказывали это.

Когда спросили Чондору, она ответила:

— Да, это я убила.

— Почему?

— Я ее терпеть не могла.
— Вы поспорили?
— Нет.
— Разве не она первая хотела тебя убить?
— Нет.
— Может быть, она к тебе плохо относилась?
— Нет.

Эти ответы поразили всех. Чхидам совсем потерял голову.

— Она говорит неправду! — кричал он. — Радха первая... — Полицейский с бранью принудил его замолчать.

Чондоре учинили допрос по всем правилам, но ничто не помогало: ответы были одни и те же. Нападение со стороны Радхи Чондора упорно отрицала. Эта женщина проявляла невиданное упрямство. Она неуклонно шла к виселице, — и не было силы, способной удержать ее. Что за злополучная гордость!

«Оставив тебя, я отдам свою юность виселице, пусть она будет моей последней опорой в этом рождении», — мысленно обращалась Чондора к мужу.

И вот осужденная Чондора, эта безобидная, подвижная и жизнерадостная маленькая женщина, прошла по знакомой с детства улице, мимо телег, через базарную площадь вдоль пристани, перед домом Моджумдара, прошла мимо школы и почты и, заклейменная позором в глазах односельчан, навсегда покинула деревню. За ней гурьбой бежали мальчишки, а молодые женщины — ее сверстницы — кто сквозь покрывало, кто из-за двери, а некоторые, спрятавшись за деревьями, смотрели на конвоируемую полицейскими Чондору и были вне себя от ужаса, стыда и негодования.

На допросе у судьи Чондора тоже признала себя виновной. По ее словам, в момент убийства жена старшего брата никаких грубостей по отношению к ней не допускала.

Но вот место свидетеля занял Чхидам. Громко, с умоляюще сложенными руками обратился он к судье:

— Клянусь, господин, — проговорил молодой человек, — моя жена ни в чем не виновата.

Когда судья, прикрикнув на него, заставил успокоиться и начал допрашивать, то слово за словом Чхидам поведал суду всю правду.

Судья не поверил ему, так как главный свидетель,

внушающий наибольшее доверие, Рамлочон, рассказал следующее:

— Я пришел к месту преступления вскоре после совершения убийства. Свидетель Чхидам во всем мне признался. «Придумай, как мне спасти жену», — просил он, обняв мои колени. Но я ему ничего не ответил. «Оставят ли Чондору в покое, если я заявлю, что старший брат убил жену за то, что она не дала ему поесть?» — спросил он меня опять. На это я сказал: «Берегись, безумец, ни слова лжи не смей произносить перед судом, на свете нет большего греха...»

Рамлочон, чтобы выручить Чондору, придумал целую историю, но когда увидел, что женщина и не пытается оправдываться, — испугался. «Как бы в конце концов меня не привлекли к ответственности за ложные показания! — подумал он. — Лучше я буду говорить, что знаю». Прийдя к такому решению, он рассказал суду все, что ему было известно, однако не преминул прибавить кое-какие подробности.

Судья назначил сессию по разбору дела. Тем временем труд и торговля, радости и горе — все в мире шло своим чередом. И так же, как бывало в прежние годы в месяце срабон [1], на созревающие нивы непрерывным потоком лились дожди.

Снова свидетели и обвиняемые доставлены полицией в суд.

Во дворе перед зданием суда множество людей, ожидающих разбора дел.

В связи с делом по разделу небольшого болотистого участка за пристройками из Калькутты прибыл адвокат, и было вызвано тридцать девять свидетелей со стороны истца. Сколько сотен людей является в суд, стремясь во что бы то ни стало распутать узлы своих недоразумений! И ведь каждый считает, что нет дела серьезнее, чем его!

Остановившимся взглядом смотрел Чхидам из окна на этот суетливый мирок, и ему казалось, что все происходящее — сон. В развесистых ветвях баньянового дерева пела кукушка — ведь для птиц нет ни судов, ни законов...

---

[1] Срабон — четвертый месяц индийского календаря, соответствующий июлю — августу.

— Ох, сахиб, — проговорила Чондора, — сколько раз можно спрашивать об одном и том же!

— Ты признаешь себя виновной? — обратился к ней судья. — Да знаешь ли ты, какое наказание тебя ждет?

— Нет, — ответила женщина.

— Тебя повесят.

— О сахиб, падаю к ногам твоим: пусть это свершится скорее! — воскликнула Чондора. — Делайте что хотите, я больше не могу выносить все это!

Когда в зал суда ввели Чхидама, Чондора отвернулась. Судья обратился к ней:

— Взгляни на свидетеля, скажи, кто он тебе?

— Это мой муж, — проговорила женщина, закрыв лицо руками.

— Любит ли он тебя?

— О! Горячо любит! — последовал ответ.

— А ты его не любишь?

— Очень люблю!

Когда стали допрашивать Чхидама, он заявил:

— Это я убил!

— Почему?

— Хотел есть, а Радха не дала.

Дукхирам, выйдя давать показания, лишился чувств. Прийдя в себя, он сказал:

— Я убил ее, сахиб.

— Но из-за чего?

— Я попросил рису, а она не дала.

После обстоятельного допроса и опроса свидетелей судья пришел к твердому убеждению, что оба брата берут вину на себя ради спасения женщины от позорной смерти на виселице.

Но сама Чондора всюду — и в полицейском участке и на суде — твердила одно и то же, и в ее ответах не было заметно ни малейшего колебания. Два адвоката по собственной инициативе взялись защищать ее, дабы спасти от смертной казни, но в конце концов и они вынуждены были отступиться.

Когда-то, на заре юности, маленькая смуглая круглолицая девочка, оставив кукол, покинула отчий дом и вступила под кров свекра. Кто бы мог предвидеть в ту первую ночь то, что случилось сегодня! Отец ее умирал со спокойной душой, уверенный, что как-никак он хорошо воспитал дочь.

Перед казнью один сердобольный врач спросил Чандору, желает ли она видеть кого-нибудь.

— Мне бы хотелось повидаться с мамой, — сказала Чондора.

— Может быть, ты хочешь встретиться с мужем, так я позову его, — предложил доктор.

— Лучше умереть! — последовал ответ.

1893



Мринмойи

I

Окончив колледж, Опурба возвращался из Калькутты домой.

Вот и небольшая речушка. После прекращения дождей она обычно почти пересыхает, но сейчас, в конце срабона, вода в ней сильно прибыла, и река плескалась у самого подножья деревенской ограды и зарослей бамбука.

Сегодня впервые после длинной вереницы пасмурных дней небо очистилось от туч и выглянуло солнце. Если бы в эту минуту мы могли заглянуть в душу сидящего в лодке Опурбокришны, то увидали бы, как и там, сверкая в лучах солнца, трепеща от ветерка, бурливой рекой мчатся молодые раздумья.

Лодка причалила к деревенской пристани. Отсюда, с берега реки, сквозь листву деревьев виднелась старенькая крыша его родного дома. Там не знали о его приезде, поэтому на пристани никого не было. Лодочник собрался было взять саквояж Опурбы, но юноша отказался от его услуг, и, сам взяв вещи, с радостной поспешностью выскочил из лодки. Но берег в этом месте был вязкий, и, едва ступив на него, Опурба вместе с саквояжем упал в грязь. И тут вдруг откуда-то раздался звонкий, задорный смех, встревоживший даже птиц в ветвях росших неподалеку деревьев. Смущенный Опурба торопливо привел себя в порядок и огляделся по сторонам. Рядом, у лодки торговца, была свалена куча кирпичей. Юноша увидел, что на ней сидит девушка: казалось, она вот-вот лопнет от смеха.

Опурба узнал в ней Мринмойи, дочь новой соседки. Раньше семья девушки жила далеко, на берегу большой реки, но после наводнения им пришлось уехать оттуда, и вот уже два или три года, как они поселились здесь, в деревне.

Много странного говорили об этой девушке. Мужчины с добродушной снисходительностью называли ее взбалмошной девчонкой, а женщины осуждали девочку за ее неуравновешенный характер. Она дружила со всеми деревенскими мальчишками; ее презрение к сверстницам не имело границ. Мринмойи была маленьким деспотом в этом детском царстве.

То ли потому, что Мринмойи была любимицей отца, то ли по какой другой причине, но она была очень упряма. Мать частенько жаловалась знакомым на мужа, который баловал дочь. Однако, помня, как отец любит девочку, как глубоко огорчают его слезы Мринмойи, она даже в отсутствие мужа старалась не доводить ее до слез.

Мринмойи была смуглолицей девушкой, с короткими вьющимися волосами, всегда рассыпанными по плечам. Лицом она напоминала мальчика: в ее огромных черных глазах не было и тени смущения, страха или кокетства; девушка была высокого роста и хорошо сложена, от нее веяло силой и здоровьем, но никому и в голову не приходило поинтересоваться ее возрастом. А если бы это случилось, люди не преминули бы осудить ее родителей за то, что они так долго не выдают дочь замуж.

Когда к деревенской пристани случалось пристать лодке незнакомого заминдара, крестьян охватывало смятение, а на лица женщин, собиравшихся на пристани, мгновенно опускались покрывала. Мринмойи, как была, с растрепанными волосами, спешила к берегу с чьим-нибудь голым малышом на руках. Она напоминала молодую лань, которая явилась из страны, где нет опасностей, и с бесстрашным любопытством рассматривает незнакомца, чтобы, вернувшись, подробно рассказать подругам об обычаях и наружности пришельца.

Опурба, приезжая на каникулы, несколько раз видел эту девушку. В свободное от занятий время, — и даже когда он бывал занят, — думы о ней не покидали его.

На свете есть множество лиц, которые ежедневно попадаются на глаза, но лишь некоторые из них без слов

западают в душу. И не потому, что они красивы, а благодаря какому-то другому, присущему только им свойству. Как мне кажется, это яркое выражение индивидуальности. В большинстве случаев характер человека с первого взгляда не угадаешь. Но лицо, в котором так и светится внутреннее «я» человека, замечаешь среди тысяч других, и оно мгновенно врезается в память. Бесконечная женственность мелькала в глазах этой девушки, дикой и резвой, точно лань. Поэтому, раз увидев это подвижное личико, уже трудно было его забыть.

Разумеется, излишне говорить читателю, что смех Мринмойи, сколь мелодичен он ни был, показался Опурбе довольно неприятным. Торопливо сунув в руки лодочника вещи, с пылающим лицом он быстрыми шагами направился к своему дому.

А природа, на фоне которой разыгралась эта сценка, была так прекрасна: берег реки, осененный деревьями, щебет птиц, восход солнца, и — всего двадцать лет! Правда, куча кирпичей явно нарушала гармонию, но та, которая сидела на них, придавала этому жесткому неудобному креслу какое-то своеобразное очарование... Превратить всю поэзию в насмешку при первой же попытке человека ступить в этот мир, — может ли быть большая жестокость!

II

В ушах Опурбы все еще звенел веселый смех, когда он, в испачканной одежде, прячась в тени деревьев с вещами и шарфом в руках, добрался, наконец, до своего дома.

Его вдовая мать безмерно обрадовалась неожиданному приезду сына. Тотчас же слуги побежали за молоком, хлебом, рыбой и другими продуктами, началось заметное оживление и в соседних домах.

За обедом мать завела речь о свадьбе. Опурба был готов к этому разговору: сговор должен был состояться уже давно, однако юноша, верный духу времени, заявил, что он не женится, пока не получит степени бакалавра искусств. Его мать слишком долго ждала этого дня, и теперь всевозможные отговорки были бесполезны.

— Сначала пусть найдется невеста, а там видно будет, — заметил Опурба.

— Об этом можешь не беспокоиться, невеста уже есть, — ответила ему мать.

Опурба и сам уже догадался, что дело обстоит именно так, поэтому сказал:

— Нельзя ведь жениться, даже не видев девушки.

Мать подумала о том, что ей никогда не приходилось слышать о подобных причудах, но не возражала сыну.

Ночью Опурба, погасив лампу, долго лежал без сна на своем одиноком ложе. Из глубин безмолвия дождливой ночи до его слуха донесся тот же звонкий, мелодичный смех. Ему захотелось во что бы то ни стало изменить впечатление от утреннего происшествия.

«Ведь девушка не знала, — говорил он себе, — что я — Опурбокришна, который много знает, долго жил в Калькутте; и если, случайно оступившись, я попал в грязь, то все-таки я не какой-нибудь деревенский парень, заслуживающий насмешливого презрения».

На следующий день Опурбе предстояло увидеться с невестой. Идти надо было совсем недалеко, —дом родителей девушки находился в том же квартале. Юноша оделся с особой тщательностью. Сняв дхоти и чадор, он облачился в расшитую шелком рубаху, надел синий тюрбан, новые туфли и с шелковым зонтиком в руках рано утром отправился в путь.

На пороге дома предполагаемого тестя его встретили с большой торжественностью. Наконец, настал момент, когда к жениху вывели невесту — набеленную и нарумяненную перепуганную девушку, с вплетенными в прическу украшениями, обернутую в легкие яркие одежды. Она забилась в уголок и сидела там молча, пригнув голову почти к самым коленям. Позади нее встала пожилая служанка—чтобы ободрять молодую госпожу. Тем временем брат невесты, подросток, весь ушел в созерцание тюрбана, цепочки часов и едва заметных усов господина, желавшего стать членом их семьи.

Некоторое время Опурба теребил свои усики и, наконец, серьезно спросил невесту:

— Что ты читаешь?

От стыдливого вороха одежд никакого ответа не последовало. Однако после того, как вопрос был повторен еще несколько раз, а также после многочисленных поощрительных подталкиваний в спину, девушка одним дыханием выпалила:

— Вторую часть «Чарупатха» [1], первую часть грамматики, географию, арифметику, историю Индии.

В это время на улице послышались торопливые шаги, и через мгновение в комнате появилась запыхавшаяся, с рассыпавшимися по плечам волосами Мринмойи. Не обратив ни малейшего внимания на Опурбокришну, она подошла к брату невесты и потянула его за рукав. Ракхал, всецело поглощенный созерцанием жениха, никак не желал подниматься. Стараясь, чтобы голос ее звучал как можно ласковее, служанка принялась шепотом бранить Мринмойи. Опурбокришна призвал на помощь всю свою важность и серьезность; его увенчанное тюрбаном чело осталось невозмутимым, а руки продолжали теребить цепочку карманных часов. Наконец, потеряв всякую надежду отвлечь своего приятеля, Мринмойи звонко шлепнула его по спине и, в мгновение ока сорвав с лица невесты покрывало, вихрем унеслась из комнаты. Служанка всполошилась, подняла крик, а мальчик принялся хохотать над своей сестрой, так внезапно оказавшейся с открытым лицом.

Ракхал не обиделся на Мринмойи за чувствительный удар по спине: обмен любезностями подобного рода был для них делом обычным. Ведь нередко по его вине прическа Мринмойи оказывалась испорченной, и волосы в беспорядке падали на плечи. Этот мальчик, однажды потихоньку подкравшись к ней сзади, состриг ножницами несколько прядей ее волос. В тот раз Мринмойи очень рассердилась: вырвав ножницы из его рук, она сама обрезала оставшиеся локоны, и крутые кольца ее волос, словно срезанный виноград, тяжелыми гроздьями упали на землю... Уж так повелось между ними.

После ухода Мринмойи безмолвные смотрины приостановились. Сжавшуюся в комочек невесту кое-как выпрямили, и в сопровождении служанок, она удалилась на женскую половину дома.

Опурба, с чрезвычайно важным видом покручивая свои едва заметные усики, встал и направился к выходу. Но, подойдя к дверям, он не обнаружил своих новых, расшитых шелком туфель. Несмотря на все усилия, найти их не удалось. Все в доме чувствовали себя очень нелов-

---

[1] «Чарупатх» — книга Окхой Кумар Дотто (1820—1866), в которой изложены основы естествознания.

ко и на предполагаемую виновницу сыпались брань и упреки. Наконец, после долгих поисков Опурбе не осталось ничего другого, как облачиться в старые, дырявые и разношенные сандалии хозяина дома. В таком виде — с тюрбаном на голове и в драных сандалиях — он и отправился домой, осторожно пробираясь по грязной деревенской улице. Проходя безлюдной тропинкой мимо пруда, он вдруг услышал громкий, насмешливый хохот, словно спрятавшаяся в ветвях дерева любопытная лесная фея не смогла удержаться от смеха, увидев столь странные туфли.

Опурба невольно остановился, в нерешительности оглядываясь по сторонам. В этот момент дерзкая проказница появилась из густых зарослей и, поставив перед Опурбой его новые туфли, решила было спастись бегством, но юноша кинулся за ней и, догнав, схватил за руки. Тщетно вырывалась Мринмойи, пытаясь освободиться. На ее озорное и смеющееся цветущее личико, обрамленное облаком волос, неожиданно упал ослепительно яркий луч солнца. Подобно тому как любопытный путник, склонясь над искрящимся потоком, внимательно рассматривает его дно, Опурба испытующе всматривался в запрокинутое лицо Мринмойи, в ее ясные глаза. Затем нехотя, словно не выполнив своего намерения, он разжал руки и выпустил пленницу. Если бы Опурба в гневе побил ее, это ничуть не удивило бы девушку, но она не могла постигнуть, в чем смысл этого странного наказания молчанием на пустынной тропинке. Мелодичный смех, будто звон запястий танцовщицы-природы, наполнил воздух, и погруженный в свои мысли Опурбокришна медленно побрел к дому.

III

Весь день Опурба под разными предлогами избегал мать и не являлся к ней на женскую половину дома. Он даже отужинал у соседей и лишь поздно вечером вернулся домой.

Довольно трудно понять, зачем Опурбе, столь искушенному в науках, рассудительному человеку, понадобилось так стремиться раскрыть перед невежественной девчонкой благородство своей натуры и тайную гордость. Что из того, если какая-то бойкая деревенская девушка

примет его за заурядного человека? И какое ему дело до того, что Мринмойи на короткое время избрала его объектом своих насмешек, а затем вовсе позабыла о его существовании, заинтересовавшись невежественным мальчишкой по имени Ракхал? Разве так уж необходимо доводить до ее сведения, что Опурба пишет пространные рецензии в ежемесячный журнал под названием «Светоч мира» и что в его чемодане рядом с духами, туфлями, разноцветной бумагой и «Руководством к игре на фисгармонии» затаилась, как грядущий рассвет в глубокой ночи, ожидая своего часа, густо исписанная тетрадка? Но сердце убедить трудно, и уважаемый бакалавр искусств Опурбокришна Рай ни за что не хотел признать своего поражения перед резвой деревенской девочкой.

Когда в сумерки Опурба явился на женскую половину дома, мать спросила его:

— Ну, как девушка, сынок? Понравилась тебе?

— Я видел девушек, ма, — смущенно проговорил Опурба. — И одна из них мне понравилась.

— Постой-ка, кого же еще ты там видел? — спросила мать с изумлением.

После долгих недомолвок она, наконец, догадалась, что ему понравилась Мринмойи, дочь соседки Шорот. Ну и вкус же у ее образованного сына!

Вначале Опурба держался очень неуверенно, но, когда он увидел, что мать решительно против его выбора, робость его исчезла без следа. Он упрямо заявил, что не женится ни на ком, кроме Мринмойи. Стоит ему представить своей невестой ту, другую, неподвижную, словно кукла, девушку, как у него просыпается непреодолимое отвращение к браку вообще. Два или три дня прошло в спорах и пререканиях, и, наконец, после неоднократных отказов от пищи и нескольких бессонных ночей молодой человек одержал победу.

Женщина утешала себя тем, что Мринмойи еще ребенок, и так как ее мать не в состоянии дать дочери хорошее образование, то после свадьбы она перейдет жить в дом мужа. А после того как девушка попадет к ней в руки, характер ее быстро изменится.

Постепенно ей даже удалось убедить себя в том, что Мринмойи красива. Но когда в воображении женщины возникали непослушные завитки волос невесты, ее сердце снова наполнялось отчаянием. Однако она надеялась, что

если их туго стянуть лентой и обильно смазать, то со временем и этот недостаток будет устранен.

Все соседи считали увлечение Опурбы несерьезным. Взбалмошная Мринмойи многим нравилась, но никто не счел бы ее подходящей женой для своего сына.

В надлежащее время известили Ишана Моджумдала, отца Мринмойи. Он служил в одной из пароходных компаний и занимался отправкой грузов и продажей билетов в маленькой каморке с железной крышей на отдаленной речной пристани.

Узнав о замужестве своей дочери, Ишан разрыдался. Горя или радости было больше в этих слезах,— никто бы не смог определить.

Ввиду свадьбы Мринмойи, Ишан подал хозяину прошение об отпуске. Но сахиб счел этот повод слишком незначительным и отказал ему. Тогда Ишан отправил домой письмо, прося отложить свадьбу до праздника Пуджи, когда он сможет приехать домой. Однако мать Опурбы заявила, что в этом месяце есть как раз благоприятный день и они никак не могут медлить со свадьбой.

После вторичного отказа Ишан перестал возражать и с болью в сердце продолжал взвешивать товары и продавать билеты.

Тем временем мать Мринмойи и все пожилые женщины деревни принялись читать девушке бесчисленные наставления о том, как она должна теперь себя вести, советуя позабыть об играх, быстрой походке, громком смехе, о болтовне с мальчишками, привычке вкусно поесть, они сумели представить ей замужество в виде страшного пугала. Смущенной и испуганной Мринмойи казалось, что ее молодость заключили в тюрьму и уже отдан приказ о казни. Упрямо склонив голову, словно норовистая лошадка, она отступила и твердо заявила:

— Замуж я не пойду.

IV

И все-таки ей пришлось выйти замуж. А затем началось воспитание. В один прекрасный день весь мир Мринмойи оказался заключенным в стенах онтохпура[1] матери Опурбы.

[1] Онтохпур — женская половина дома.

Свекровь приступила к перевоспитанию девушки. Сделав строгое лицо, она обратилась к ней:

— Послушай, дочка, ты уже не ребенок, в нашем доме не принято плохо себя вести.

Но Мринмойи по-своему поняла ее слова. Она решила, что все запрещено в доме мужа, но на другие места этот запрет не распространяется. К вечеру ее уже и след простыл. Начали искать: где она, куда исчезла? Наконец, предатель Ракхал извлек девушку из тайного убежища: она пряталась под хлебным деревом в развалившейся повозке Радхаканты Тхакура. Читатели и читательницы легко могут себе представить, как досталось Мринмойи от свекрови, матери и деревенских доброжелательниц.

К ночи небо покрылось тучами и начался проливной дождь.

Опурба осторожно придвинулся к Мринмойи и ласково шепнул ей на ухо:

— Ты любишь меня, Мринмойи?

— Нет! — с жаром произнесла девушка. — Никогда-никогда я не полюблю тебя!

Весь свой гнев за все те упреки, которые ей пришлось выслушать, ударом грома обрушила она на голову Опурбы.

— Но почему же? В чем я виноват перед тобой? — спросил уязвленный юноша.

— Зачем ты женился на мне! — крикнула Мринмойи.

На такое обвинение трудно было дать удовлетворительный ответ. Однако Опурба решил во что бы то ни стало покорить эту своенравную девушку.

На следующий день, заметив, что Мринмойи близка к бунту, свекровь заперла ее на ключ. Сначала девушка металась по комнате, словно пойманная птичка. Наконец, поняв, что бежать невозможно, она в бессильном гневе сорвала с постели покрывало, изодрала его в клочки и кинула на пол; потом сама бросилась ничком на пол и, повторяя: «отец, отец!», залилась слезами.

В это время кто-то тихо подошел к ней, сел рядом и хотел было бережно отвести со лба ее запыленные волосы. Но Мринмойи резко отвернулась, оттолкнула руки. Тогда Опурба наклонился и шепнул ей на ухо:

— Я потихоньку открыл дверь. Давай убежим в сад, за домом.

— Нет, — вся в слезах проговорила Мринмойи, тряхнув головой.

— Да посмотри хоть, кто пришел, — сказал Опурба и, взяв ее за подбородок, попытался приподнять ее голову. У дверей стоял Ракхал и в замешательстве смотрел на сидящую на полу Мринмойи. Не поднимая головы, девушка оттолкнула Опурбу.

— Мальчик пришел за тобой, разве ты не пойдешь с ним играть? — проговорил юноша.

— Нет, — резко ответила она.

Ракхал, чувствуя, что дальше оставаться неудобно, боком выбрался из комнаты и с облегчением вздохнул. Опурба же молча остался сидеть рядом с Мринмойи. Когда она, утомленная слезами, наконец, задремала, он на цыпочках вышел из комнаты и запер за собой дверь.

На следующий день Мринмойи получила письмо от отца. Сожалея, что не смог приехать на свадьбу своей драгоценной Мринмойи, он посылал молодой чете свои благословения.

— Я хочу поехать к отцу, — заявила Мринмойи свекрови.

Но та принялась отчитывать ее за столь странную просьбу.

— Вы только послушайте! — говорила она. — Отец неизвестно где, даже и адреса его нет, а она говорит: «Поеду к отцу!» Странный каприз!

Девушка молча ушла в свою комнату и заперлась там.

— Возьми меня к себе, отец, — умоляюще твердила Мринмойи. — Я совсем одна, я умру, если останусь здесь!

Так взывает к богу только впавший в отчаяние человек.

Глубокой ночью, когда муж заснул, Мринмойи осторожно приоткрыла дверь и вышла из дому. По небу скользили редкие облачка, но луна освещала дорогу достаточно ярко. Мринмойи совершенно не представляла, в каком направлении надо идти, чтобы добраться до отца. Но она была твердо уверена, что разыскать можно любое место на земле, если держаться дороги, которой

ходят скороходы-почтальоны. Поэтому девушка двинулась по тропинке, ведущей к почте. Шла она долго и, наконец, почувствовала усталость. Ночь была на исходе. Первые птицы встрепенулись в лесу и попробовали было робко запеть, но тут же примолкли, поняв, что еще слишком рано...

Мринмойи вышла к реке и оказалась на открытом месте, напоминавшем большую базарную площадь. Пока девушка раздумывала, куда идти дальше, послышались знакомые шаги. Это с сумкой для писем за плечами, тяжело дыша от быстрой ходьбы, спешил почтальон. Мринмойи торопливо подошла к нему и умоляющим голосом устало проговорила:

— Я иду к отцу к Кушигондж. Пожалуйста, возьми меня с собой.

— Я не знаю, где Кушигондж, — ответил почтальон. Затем он растолкал заснувшего гребца, и лодка отошла от берега. У него не было времени ни пожалеть, ни расспросить девушку.

Тем временем и пристань и площадь ожили. Мринмойи спустилась к реке и обратилась к одному из лодочников:

— Не свезете ли вы меня в Кушигондж? — Но, прежде чем тот успел ответить, какой-то человек с соседней лодки окликнул девушку:

— Эй, кто это? А, Мину, как ты сюда попала?

Задыхаясь от волнения, Мринмойи заговорила:

— Понимаешь, Бономали, я иду к отцу, в Кушигондж. Отвези меня туда в своей лодке.

Бономали был гребец из деревни. Отлично зная эту своевольную девушку, он сказал:

— Так ты собралась к отцу? Ну хорошо. Садись. Я тебя доставлю туда.

Мринмойи села в лодку. Гребец оттолкнулся от берега, и они отправились в путь, но неожиданно небо покрылось тучами и начался настоящий ливень. По-осеннему полноводная река волновалась, лодку начало качать, и Мринмойи охватила дремота. Подстелив край одежды, она улеглась на дно лодки. Вскоре упрямая девочка беззаботно уснула, убаюканная рекой, словно нежно любимое, кроткое дитя природы.

Когда девушка очнулась от сна, она увидела, что лежит на постели в доме мужа. Служанка, заметив, что

она открыла глаза, окликнула кого-то. На ее зов явилась мать Опурбы и начала сурово отчитывать Мринмойи. Глядя широко раскрытыми глазами на свекровь, девушка молчала. Когда же та бросила ядовитое замечание насчет образования ее отца, Мринмойи выбежала в соседнюю комнату и заперлась там.

Тогда Опурба подошел к матери:

— Почему бы не отпустить жену на несколько дней к ее отцу, ма?

Мать назвала его «недоразумением» и как следует выбранила за то, что он взял к себе в дом такого сорванца, когда в деревне столько других девушек.

V

Целый день бушевала непогода, и в доме Опурбы тоже было по-прежнему неспокойно. Глубокой ночью Опурба осторожно разбудил Мринмойи.

— Хочешь поехать к отцу? — спросил он.

— Хочу, — ответила девушка и, с живостью схватив Опурбу за руку, приподнялась на постели.

— Тогда давай потихоньку сбежим, — прошептал юноша, — я приготовил лодку.

С горячей признательностью взглянула Мринмойи на мужа. Затем поспешно встала и переоделась. Вскоре она была готова. Чтобы успокоить мать, Опурба оставил письмо, и молодые люди вышли из дому. Этой темной ночью на тихой, пустынной деревенской улице Мринмойи впервые доверчиво сама оперлась на руку мужа, и через нежное прикосновение пальцев радостное биение ее сердца передалось Опурбе.

Они отправились в путь на лодке этой же ночью. Несмотря на радостное возбуждение, Мринмойи тотчас же уснула. А следующий день встретил ее свободой и счастьем! Сколько деревень по обеим берегам реки! Сколько площадей, нив и рощ! Сколько лодок то и дело скользит мимо них! Каждая мелочь вызывала у Мринмойи сотни вопросов: что в этой лодке? откуда эти люди? как называется эта местность? Конечно, ответы на подобные вопросы Опурба не мог почерпнуть ни в одном колледже, и никакая калькуттская практика не могла подсказать ему верных решений. Друзья его устыдились

бы этих расспросов, но Опурба старался ответить на каждый, хотя большей частью его ответы не соответствовали истине. И он совершенно не испытывал угрызений совести, называя кунжут льняным семенем, городок Панчбер — Райногором а здание суда — конторой заминдара. Все эти ошибки ничуть не умаляли доверия к нему его великодушной слушательницы.

Вечером следующего дня лодка прибыла в Кушигондж. В будке под железной крышей на плетеном стуле сидел Ишанчондро и при свете керосиновой лампы, склонившись над маленьким столом, где лежала толстая конторская книга, сводил счета. В это время на пороге появились молодые супруги.

— Отец! — вскрикнула Мринмойи.

Никогда эта комната не слышала такого возгласа. Слезы блеснули в глазах Ишана и покатились по щекам. Он не знал, что ему делать, что говорить. Зять и дочь казались ему принцем и принцессой. Его мысли разбегались: он не знал, как воздвигнуть среди груды тюков достойный их трон. А потом еда — об этом тоже надо было подумать! Бедный чиновник своими руками очищает рис, сам варит его и затем ест, но что ему делать в такой праздничный день, как сегодня, чем угостить дорогих гостей?

— Сегодня мы будем готовить все вместе, отец, — заявила Мринмойи. Опурба с воодушевлением откликнулся на это предложение.

В доме недоставало места, не было прислуги, но подобно тому, как из узкой расселины родник бьет с удвоенной силой, так и на тусклом лике бедности радость сияет еще ярче.

Так прошло три дня. В два часа дня обычно приходил пароход, принося с собой людей и суету. К вечеру берег совершенно пустел и тогда... Тогда они чувствовали себя по-настоящему свободными! Втроем они доставали продукты, не раз портили их, но в конце концов что-то готовили. Потом отец и муж принимались за ужин, поданный любящими ручками Мринмойи, на которых весело звенели браслеты. Предусмотрительная Мринмойи первая смеялась над многочисленными недостатками своего хозяйства, но оно же было для нее источником шумной радости и предметом ребяческой гордости.

Так прошло три дня. Наконец, Опурба заявил, что дальше медлить с отъездом нельзя. Мринмойи жалобно попросила задержаться еще хоть на один день, но ее отец сказал, что не следует этого делать.

В день отъезда Ишан, прижав дочь к груди, положил руку на ее голову и торжественно произнес:

— Дочь моя, своим присутствием ты, как Лакшми [1], должна принести счастье в дом свекра. Поступай так, чтобы никто не смог упрекнуть в чем-нибудь мою Мину.

Мринмойи уехала вся в слезах. А Ишан в своей тесной, ставшей еще более унылой каморке день за днем, месяц за месяцем продолжал по-прежнему отвешивать товары.

VI

Когда провинившаяся чета вернулась домой, мать Опурбы встретила их мрачным молчанием: она умела карать так, что невозможно было избежать наказания. Это немое осуждение, эта молчаливая обида невыносимой тяжестью нависла над домом.

Наконец, не выдержав, Опурба сказал однажды:

— Ма, скоро открывается колледж, мне нужно ехать изучать право.

— Как же ты собираешься поступить с женой? — холодно спросила она.

— Жена останется здесь, — ответил Опурба.

— Нет уж, господин, так не пойдет. Берите ее с собой, — заявила женщина. Обычно мать говорила сыну «ты».

— Хорошо, — сказал оскорбленный Опурба.

Приготовления к отъезду в Калькутту были окончены. В ночь накануне отъезда Опурба, подойдя к постели, увидел, что Мринмойи плачет. У него сразу же заныло сердце.

— Тебе не хочется ехать со мной в Калькутту, Мринмойи? — огорченно спросил он.

— Да, — проговорила девушка.

— Ты меня не любишь?

---

[1] Лакшми — в индийской мифологии богиня счастья, красоты и богатства, добродетельная и преданная жена бога Вишну.

В большинстве случаев ответить на этот вопрос бывает очень легко, но при данных обстоятельствах ответить на него девочке трудно.

— Тебе жаль расставаться с Ракхалом? — проговорил Опурба.

— Да, — простодушно ответила Мринмойи.

Ревность к мальчишке, словно игла, глубоко и незаметно вонзилась в сердце начитанного молодого бакалавра.

— Я не смогу приехать домой долгое время, — вновь заговорил Опурба, — может быть, года два, а может, и больше.

— Когда вернешься, обязательно привези для Ракхала ножик с тремя лезвиями, — потребовала Мринмойи.

Чуть приподнявшись на постели, Опурба обратился к жене:

— Ты что же, в этом доме останешься?

— Я буду жить с мамой, — ответила Мринмойи.

— Хорошо, — со вздохом проговорил Опурба, — но имей в виду, я не вернусь до тех пор, пока ты не напишешь мне, чтобы я приехал. Теперь ты должна быть довольна.

Вероятно, Мринмойи сочла излишним отвечать мужу и потому задремала. Но Опурбе не спалось, и он долго сидел, облокотившись на подушку.

Когда глубокой ночью взошла луна, свет ее неожиданно упал на постель. Опурба долго смотрел на Мринмойи. Ему стало казаться, будто она — принцесса, к которой кто-то прикоснулся волшебной серебряной палочкой и заворожил. И теперь только обладатель золотой палочки сможет разбудить эту спящую душу и обменяться с красавицей свадебными гирляндами.

Серебряная палочка — это смех, а золотая — слезы.

На рассвете Опурба разбудил Мринмойи.

— Мне пора, — сказал он. — Пойдем, я провожу тебя к твоей матери.

Когда девушка встала, юноша, взяв ее руки в свои, заговорил:

— У меня есть просьба к тебе. Я часто выручал тебя и теперь, в минуту прощанья, прошу небольшой награды.

— Какой? — спросила Мринмойи.

— Поцелуй меня сама, чтобы я почувствовал, что ты любишь меня.

Услышав столь странную просьбу и видя, как Опурба серьезен, Мринмойи залилась смехом. Наконец, она овладела собой, сделала серьезное лицо и собралась было поцеловать мужа, но, приблизив к нему свое лицо, опять не выдержала и расхохоталась. В конце концов после двух безуспешных попыток она, все еще смеясь, закрылась покрывалом. Молодой человек в наказание дернул ее за ухо.

Трудную задачу задал себе Опурба. Он считал ниже своего достоинства принуждать и грабить. Он, как божество, ничего не предпринимал и хотел лишь добровольных приношений.

Мринмойи больше не смеялась.

На заре Опурба проводил девушку тихой улицей до ее дома, затем вернулся к матери.

— Я подумал и решил, что мне будет трудно заниматься, если я возьму жену с собой в Калькутту, — сказал он. — К тому же и знакомых у нее там нет. Ты же не хочешь оставлять Мринмойи у себя, поэтому я отвел ее к матери.

Мать и сын расстались, глубоко обиженные друг на друга.

VII

Мринмойи вернулась домой, но ничто там больше не радовало ее. Все в доме словно подменили. Время остановилось. Она не знала, чем себя занять, куда пойти, ей никого не хотелось видеть.

Девушке стало казаться, что во всем доме, во всей деревне никого нет. По непонятной для нее самой причине ей вдруг очень захотелось поехать в Калькутту, а ведь еще прошлой ночью такого желания у нее и в помине не было! Неизвестно почему, у нее внезапно совершенно изменились взгляды на ту жизнь, которой так недавно она стремилась избежать. Прошлое отлетело легко и незаметно, как падает с ветки дерева увядший осенний лист.

Говорят, существуют искусные мастера, которые куют такие острые мечи, что ими можно разрубить человека пополам и он даже не почувствует этого, и только когда

дотронешься до тела, оно распадется на две части. Таков и меч всевышнего: Mринмойи даже не заметила, когда он отсек ее детство от юности. Только теперь, испытав какую-то перемену в жизни, она с горестным изумлением увидела, что жизнь Мринмойи-девочки осталась позади. Спальня в родительском доме казалась ей чужой: той Мринмойи, что жила здесь раньше, вдруг не стало. В памяти ее сердца жил другой дом, другая комната, о другом ложе тосковала она...

Теперь никто не встречал Мринмойи вне дома. Не звенел ее смех. Ракхал боялся своей подруги, игры не шли ей на ум.

— Отпусти меня в дом мужа, ма, — попросила однажды Мринмойи.

Между тем мать Опурбы вспоминала расстроенное лицо сына во время прощания, и ее материнское сердце ныло. В особенности ей не давала покоя мысль, что она в гневе допустила, чтобы невестка жила у своей матери.

И вот однажды закутанная в покрывало Мринмойи явилась к ней и печально склонилась в почтительном приветствии. Свекровь со слезами на глазах поспешно подняла девушку и горячо обняла. И тотчас между ними состоялось полное примирение. Взглянув на невестку, мать Опурбы поразилась: прежняя Мринмойи исчезла. Для заурядного человека такая разительная перемена невозможна: ведь нужна огромная сила воли, чтобы справиться с собой.

Свекровь думала постепенно преодолеть недостатки в характере Мринмойи, но некий невидимый наставник использовал неизвестное быстро действующее средство и словно заново создал девушку.

Теперь Мринмойи лучше понимала свекровь, и та в свою очередь смогла ближе узнать невестку. Все хозяйство они вели вместе и стали неразлучны, как ветка с деревом.

Серьезной, спокойной женственностью дышал облик Мринмойи, она переполняла все ее существо, и молодая женщина начала ощущать нечто похожее на страдание. Какая-то горькая обида, от которой хотелось плакать, будто темная грозовая туча в начале Ашарха [1], легла ей

---

[1] Ашарх — третий месяц индийского календаря, соответствует июню — июлю.

на сердце. Эта обида словно сделала еще гуще тень ее длинных темных ресниц.

«Я себя не понимала, но почему ты меня не понял? — мысленно обращалась к мужу Мринмойи. — Почему ты не проучил меня? Почему не заставил меня слушаться? Зачем ты насильно не увез меня в Калькутту, когда я, негодная, не пожелала ехать? Зачем ты слушался меня, считался с моими прихотями, терпел мои капризы?»

Потом она вспомнила, как однажды, ранним утром, Опурба поймал ее на безлюдной тропинке у пруда и, ни слова не говоря, взглянул на нее. Мринмойи представляла себе этот пруд, дерево возле него, утреннее солнце и проникающий в сердце взгляд Опурбы — теперь ей стал понятен смысл этого взгляда. И Мринмойи мечтала о том, что могло бы произойти, если бы она поступила тогда иначе, если бы по-иному ответила всего лишь на один вопрос.

Раньше Опурба мучился сознанием того, что Мринмойи совсем не понимает его. Теперь, оставшись одна, Мринмойи тоже постоянно размышляла над тем, что подумал о ней Опурба, за кого он ее принял. Обидно, горько и стыдно становилось девушке, когда она думала, что он считает ее капризной, упрямой, ветреной, глупой девчонкой и не видит в ней женщины, способной утолить жажду любви со всем жаром молодого сердца. И свой долг — горячие, страстные поцелуи — она отдавала подушке Опурбы.

Так прошло много времени.

Опурба сказал, что не вернется домой, пока не получит от Мринмойи письма. Вспомнив об этом, она однажды заперлась у себя в комнате и уселась за письмо к мужу. Мринмойи вынула цветную бумагу с золотым обрезом, которую муж вручил ей, и задумалась. Затем старательно, но криво разлиновала бумагу и, обмакнув палец в чернила, без всякого обращения, буквами самой различной величины вывела: «Почему ты мне не пишешь. Как ты живешь, приезжай домой. А что еще написать, я не знаю». Все, о чем она собралась написать, уже было высказано, но в обществе принято, кроме того, что думаешь, говорить еще о чем-то. Мринмойи тоже понимала это. Поэтому после некоторого размышления она прибавила еще несколько слов: «Теперь ты напиши

мне, пожалуйста. Как ты живешь, напиши и возвращайся домой. На здорова, девочки и дети в деревне здоровы, наша черная корова вчера отелилась». На этом она кончила свое послание. Затем девушка засунула письмо в конверт и, проливая слезы на каждую букву, с любовью вывела: «Господину Опурбокришне Раю». Как ни велика была ее любовь, она не могла сделать строчки прямыми, а буквы красивыми. О том же, что на конверте нужно писать еще и адрес, кроме имени, Мринмойи не знала. Боясь, как бы письмо не попало на глаза свекрови или кому-нибудь другому, она отослала его на почту с доверенной служанкой.

Излишне говорить, что письмо это результатов не имело, так как Опурба не получал его.

VIII

Мать видела, что каникулы прошли, но Опурба домой не приехал. Она подумала, что он все еще сердится.

Мринмойи же решила, что он сердит на нее, и готова была провалиться сквозь землю, вспоминая о своем письме. Оно было такое жалкое, в нем не было ни одного умного слова, она даже не сумела выразить того, о чем думала. Мысль, что, прочтя это письмо, Опурба будет считать ее еще бóльшим ребенком и еще более невежественной, ранила, как стрела.

— Ты снесла на почту письмо? — снова и снова спрашивала Мринмойи у служанки.

— Ну, конечно, я своими руками бросила его в почтовый ящик, — уверяла ее девушка. — Наверное, господин уже получил его.

Однажды мать Опурбы позвала к себе Мринмойи и сказала:

— Дорогая, Опурба долго не был дома, и я хочу съездить к нему в Калькутту. Поедешь со мной?

Мринмойи в знак согласия кивнула головой. Она убежала к себе в комнату, заперла дверь. Затем она бросилась на кровать, заключила в объятия подушку и звонко рассмеялась, дав волю своей радости. Но мало-помалу она притихла и, совершенно расстроенная, преисполненная всевозможных опасений, залилась слезами.

Не известив Опурбу о своем приезде, раскаявшиеся женщины отправились в Калькутту молить его о снисхождении. Мать Опурбы остановилась в доме своего зятя.

Тем временем Опурба, не дождавшись весточки от Мринмойи, решился нарушить свое слово и однажды вечером сам принялся за письмо. Но он никак не мог подобрать соответствующих выражений. Молодой человек хотел придумать такое обращение, в котором и любовь была бы видна и обида бы чувствовалась. Однако Опурба не нашел ничего подходящего, отчего еще больше возросло его непочтение к родному языку. Как раз в это время ему принесли письмо от мужа сестры, в котором сообщалось, что приехала мать Опурбы и юношу просят прийти как можно скорее, с тем чтобы отобедать всем вместе. В конце письма сообщалось, что дома все в порядке. Несмотря на это, Опурба преисполнился мрачных опасений. Он отправился к сестре немедля.

Едва увидев мать, он спросил:

— Ничего не случилось, ма?

— Все хорошо, — ответила женщина. — Просто ты давно не был дома и на каникулы не приехал. Вот я и решила сама увезти тебя.

— Незачем было предпринимать такое утомительное путешествие, — заметил Опурба, — я готовлюсь к экзаменам по праву...

Во время обеда сестра обратилась к Опурбе:

— Послушай, дада, почему ты не привез с собой жену?

— Занятия правом... — начал было юноша с серьезным видом...

— Что за глупости ты говоришь! — рассмеялся муж сестры. — Просто ты боишься показать ее нам!..

— Тоже мне, нашелся страшный человек! — прервала его жена. — Стоит ребенку взглянуть на тебя, как он тут же пугается!

Разговор продолжался в том же шутливом тоне, но Опурба по-прежнему был мрачен. Шутки его раздражали. Он думал о том, что если бы Мринмойи хотела, она тоже могла бы поехать. Наверное, мать даже пыталась уговорить ее, но Мринмойи не согласилась. Находясь во власти всевозможных опасений, он тем не менее не решался ни о чем спрашивать мать. Жизнь челове-

ческая и все существующее казались ему бесконечным обманом.

Когда ужин подошел к концу, поднялся сильный ветер и хлынул проливной дождь.

— Оставайся сегодня у нас, дада, — предложила Опурбе сестра.

— Нет, нужно идти домой, — ответил юноша. — У меня дела.

— Какие могут быть дела ночью? — возразил муж сестры. — Ведь тебе не перед кем отчитываться, если ты и останешься у нас ночевать. О чем беспокоиться?

После долгих препирательств Опурба, наконец, с большой неохотой согласился остаться.

— Я вижу, ты устал, — не задерживайся, иди спать.

Это предложение вполне соответствовало желанию Опурбы. Ему казалось, что наедине с самим собой, в темной спальне он, может быть, хоть немного забудется... Принимать участие в разговоре не хотелось.

Переступив порог спальни, он очутился в темноте.

— Ветром задуло свет, — сказала сестра, — принести тебе лампу?

— Нет, не нужно, — ответил Опурба, — я сплю без света.

Сестра ушла, и Опурба осторожно двинулся к постели. Он уже собирался лечь, как вдруг услышал звон браслетов, и две нежные руки заключили его в крепкие объятия, чьи-то губы, напоминающие лепестки цветка, неожиданно припали к его лицу, и бесчисленные, смешанные со слезами горячие поцелуи помешали юноше выразить свое изумление.

Сначала Опурба был поражен, а потом понял, что просьбу, выполнению которой помешал смех, сегодня помогли исполнить слезы.

1893



Тетрадка

Как только Ума научилась писать, она совсем отбилась от рук. На стенах всех комнат она выводила углем неровные строчки: «Вода течет», «Лист дрожит».

Под подушкой невестки она нашла «Тайну Хоридаша» и на каждой странице книги карандашом написала: «Черная вода, красный цветок».

В новом календаре, которым обычно пользовались домашние, она перепачкала надписями все звезды.

В расходной книге отца, среди всяких счетов, Ума тоже сделала свои пометки: «Кто пишет и читает, тот ездит в карете».

До поры до времени никто не препятствовал этому творчеству, но однажды с Умой случилась большая неприятность.

Старший брат ее, Гобиндолал, на вид человек весьма невзрачный, писал в газетах. После разговора с ним, ни у кого из его родных и знакомых не возникло подозрения в том, что он человек мыслящий. И действительно, в этом грехе его нельзя было обвинить. Но зато он писал в газетах, и его мнение полностью совпадало с мнением большинства бенгальских читателей.

Однажды, узнав, что в работах европейских ученых по анатомии имеются серьезные ошибки, Гобиндолал, не прибегая к помощи логики, только в силу вдохновения, сочинил замечательную статью, в которой разгромил этих ученых.

И вот в полдень, когда никого из домашних поблизости не было, Ума над этой статьей чернилами надпи-

сала: «Гопал очень хороший мальчик, что ему дают, то он и ест».

Я не уверен, что под Гопалом она подразумевала читателей Гобиндолала, но ярости брата не было предела. Сначала он избил Уму, а потом отнял у нее все письменные принадлежности — самые заурядные, но приобретенные с огромным трудом: маленький огрызок карандаша и тупое перо, все вымазанное чернилами. Обиженная девочка не понимала как следует, за что ее так строго наказали, и горько плакала, сидя на полу в углу комнаты.

Насладившись местью, Гобиндолал возвратил Уме отобранные вещи. А кроме того, испытывая некоторое раскаяние и стараясь утешить девочку, он подарил ей превосходную разлинованную тетрадку.

Уме тогда было семь лет. С тех пор она бережно хранила свою тетрадку — ночью у себя под подушкой, а днем носила всегда с собой.

Она не рассталась со своей тетрадкой и тогда, когда ей заплели маленькие косы и в сопровождении служанки отправили в деревенскую школу для девочек. Одни из ее сверстниц позавидовали ее умению писать, другие удивились, а у третьих она возбудила зависть.

В первый же год учебы Ума старательно записала в тетрадке: «Все птицы кричат, ночь кончилась».

Сидя на полу в спальне и закрывая тетрадку руками, она писала и громко, нараспев, читала написанное. Так было собрано немало образцов поэзии и прозы.

На второй год в тетрадке стали появляться и сочинения на свободные темы, очень краткие, но важные, — хотя и без начала и без конца. Некоторые из них стоит процитировать.

Так после рассказа о тигре и цапле была написана одна фраза—ее нельзя найти в «Котхамале»[1] или где-нибудь еще в современной бенгальской литературе:

«Я очень люблю Джоши».

Не думайте, что я собираюсь рассказывать любовную историю. Джоши — не какой-нибудь одиннадцати- или двенадцатилетний мальчик. Это — старая служанка, ее полное имя — Джошода.

Однако на основании одной этой фразы нельзя правильно судить об отношении девочки к Джоши. Если

---

[1] «Котхамала» — одна из книг для начального чтения.

кто-нибудь захочет написать достоверную историю об этом, он найдет в тетрадке, через две страницы, заявление, совершенно противоположное вышеприведенным словам.

И не только в данном случае! В сочинениях Умы на каждом шагу встречаются противоречия. Так, в одном месте написано: «Я поссорилась с Хори на всю жизнь» (не с Хорихороном, а с Хоридаши, школьной подругой). Немного дальше можно найти слова, из которых становится совершенно ясно, что во всей вселенной нет более верной подруги, чем Хори.

Прошел еще год, девочке исполнилось девять лет. Однажды утром в доме запела флейта: пришло время для свадьбы Умы.

Жениха звали Перимохон, он был помощником Гобиндолала в его литературных трудах. Несмотря на молодость и на то, что он кое-чему учился, новые идеи не проникли в его голову. Поэтому деревенские жители очень хвалили Перимохона. Гобиндолал пытался было ему подражать, но значительных успехов на этом поприще так и не смог добиться.

Надев сари из Бенареса и закрыв покрывалом маленькое личико, Ума, рыдая, ушла в дом свекра.

— Дитя, слушайся свекровь, — напутствовала ее мать, — делай все по хозяйству, а главное — не читай и не пиши!

А Гобиндолал прибавил:

— Смотри не вздумай там пачкать стены, — это не такой дом. И никогда не пиши на бумагах Перимохона.

Сердце девочки сжалось от этих слов. Она поняла, что в том доме, куда она идет, никто не простит ей ошибок и что пройдет немало дней, пока она узнает, что там считают ошибкой, что виной, а что проступком.

Все утро в тот день пела флейта, но, сомневаюсь, мог ли хоть кто-нибудь на земле хорошенько понять, что творилось в тревожно бьющемся сердце маленькой девочки, одетой в сари из Бенареса, в украшениях и с покрывалом на лице.

Джоши ушла с Умой. Было решено, что она пробудет несколько дней вместе с девочкой в доме свекра.

Добрая Джоши после долгих размышлений взяла с собой и тетрадку. Эта тетрадка — часть отцовского дома,

радостное воспоминание о недолгом времени, проведенном в родной семье, коротенькая история тех дней, когда отец и мать баловали ее. В раннем замужестве Умы эта тетрадка была маленькой частицей свободы, столь свойственной ее детскому характеру.

В первое время пребывания в доме свекра Ума ничего не писала — на это не было времени. Через несколько дней Джоши возвратилась на старое место.

В тот день Ума закрыла дверь в спальню, достала тетрадку из жестяной коробки и, плача, записала: «Джоши ушла домой, я тоже уйду к маме».

Теперь у нее не было времени переписывать истории из «Чарупатха» и «Бодходойя» [1]. Да я думаю, что не было и желания. Поэтому между краткими записями девочки не стало больших промежутков. После вышеприведенной строчки шла другая: «Если дада возьмет меня домой, я больше никогда не буду портить его бумаги».

Отец Умы хотел, чтобы время от времени она гостила у него, но, говорят, Гобиндолал и Перимохон воспротивились этому.

Гобиндолал заявил, что Ума должна научиться уважать своего мужа, а если брать ее из дома свекра и напоминать об отцовской нежности, то это ей будет только мешать. Он написал по этому поводу такую прекрасную статью, полную иронии и наставлений, что никто из его читателей-единомышленников не усомнился в глубочайшей мудрости упомянутого произведения.

Узнав об этом от людей, Ума записала в своей тетрадке: «Дада, припадаю к твоим ногам, возьми меня в свой дом, я больше никогда не буду сердить тебя»

Однажды, закрыв дверь, Ума сидела у себя в комнате и записывала в тетрадку какие-то наивные, неразумные слова. Ее золовка, Тилокомонджори, которая была очень любопытна, подумала: «Надо посмотреть, зачем это боу-диди [2] закрывает дверь? Что она там делает?»

Девочка посмотрела в дверную щелку, увидала, что Ума сидит и пишет, и очень удивилась. Еще никогда Са-

---

[1] «Бодходойя» — книга для начального чтения.

[2] Боу — невестка; диди — старшая сестра.

расвати[1] не проникала так незаметно на женскую половину их дома.

Ее младшая сестра, Конокомонджори, тоже подошла к двери и стала подглядывать.

А за ней прибежала и самая младшая сестренка, которую звали Ононкомонджори.

Приподнявшись на цыпочки, она с большим трудом заглянула в щелку и увидела пресмешные вещи!

Ума сидела и писала, как вдруг за дверью послышался шепот трех знакомых голосов и хихиканье. Она сразу поняла в чем дело, торопливо сунула тетрадь в коробку и, замирая от стыда и страха, зарылась лицом в постель.

Узнав об этом происшествии, Перимохон серьезно задумался. Беда, если женщина принимается за ученье! Потом появятся повести, за ними — романы, а кто будет заниматься домашним хозяйством?

После глубоких размышлений он пришел к весьма поучительным выводам. Священный супружеский союз возникает из соединения силы женской и силы мужской. Но если знания ослабят женскую силу, то в женщине начнет преобладать сила мужская. Дальше: столкновение двух мужских начал дает такую разрушающую силу, которая уничтожит супружескую, а следовательно, женщина останется вдовой.

До сих пор никто еще не мог выдвинуть теорию более оригинальную!

Вечером Перимохон пришел к Уме и как следует отчитал ее, не поскупившись при этом на насмешки:

— Теперь тебе остается только заказать шамлу![2] А потом моя жена заткнет карандаш за ухо и отправится в контору!

Ума не могла хорошенько понять, о чем он говорит. Она никогда не читала статей Перимохона, поэтому чувство юмора у нее еще не было достаточно развито. Но она расстроилась до слез.

Долгое время после этого разговора она ничего не писала.

---

[1] Сарасвати — богиня наук и искусств в индийской мифологии.

[2] Шамла — головной убор, надеваемый в торжественных случаях.

Но однажды осенним утром какая-то нищенка запела под окном песню Агомони[1]. Прижавшись лицом к решетке окна, Ума молча слушала. Она была одна, светило осеннее солнце, и ей вспомнилось детство. А когда к тому же Ума услышала песню Агомони, она не могла больше выдержать.

Ума не умела петь, но, с тех пор как она научилась читать и писать, у нее появилась привычка записывать услышанные песни. Тогда ей не было так обидно, что она не может их петь.

Нищенка под окном пела:

Говорит прохожий: «Мать Умы,
Вон потерянная твоя звезда!»
Мать-королева от счастья
Едва не сошла с ума.
«Где ты, где, моя Ума? —
Говорит королева и плачет. —
Иди ко мне, Ума, иди!
Иди ко мне на колени!»
Протянула девочка руки,
Мать обнимая за шею,
И с обидой шепчет: «Когда же
Возьмешь ты меня домой?»

Сердце Умы переполнилось обидой, на глаза навернулись слезы. Она тихонько позвала певицу, закрыла дверь и, старательно выводя буквы, стала записывать песню в свою тетрадку.

Но Тилокомонджори, Конокомонджори и Ононкомонджори все видели через щелку. Они захлопали в ладоши и закричали:

— Боу-диди, а мы видим, что ты там делаешь!

Ума поспешно открыла дверь, вышла из комнаты и жалобным голосом начала их упрашивать:

— Не говорите никому об этом, я припадаю к вашим ногам! Я больше никогда не буду так делать, я больше никогда не буду писать!

Тут Ума заметила, что Тилокомонджори тянется к ее тетрадке. Прижав тетрадку к груди, девочка убежала.

Золовки хотели отнять тетрадку силой, но, сколько они ни старались, у них ничего не вышло. Пришлось им

---

[1] Песня Агомони — песня, написанная в честь возвращения Парвати (супруги Шивы) к своим родителям.

позвать на помощь своего умного брата. Явился Перимохон и с важным видом сел на кровать.

— Отдай тетрадку, — сказал муж грозным голосом. И, видя, что приказание его не выполняется, повысил голос еще на два тона: — Отдай, тебе говорят!

Девочка прижала тетрадку к груди и умоляюще смотрела на мужа. Когда же она увидела, что Перимохон поднялся, чтобы отнять тетрадку, она бросила ее и сама тоже упала на пол, закрыв лицо руками.

Перимохон поднял тетрадку и начал громко читать все, что в ней было написано. С каждый фразой Ума все сильнее прижималась к полу, а три девочки-слушательницы заливались смехом.

Больше Ума не видела своей тетрадки.

У Перимохона тоже была тетрадка, полная язвительных записей. Но, к сожалению, не было никого, кто мог бы отнять ее и уничтожить.



Свет и тени

I

Вчера весь день шел дождь. Сегодня дождь перестал, и солнце и разорванные облака словно попеременно водят длинной кистью по полям почти зрелого раннего риса. От прикосновения света широкое зеленое полотно вспыхивает яркой белизною, но уже в следующее мгновение все покрывается густой тенью.

На небесной сцене игру ведут только два актера — облако и солнце, каждый из них исполняет свою роль, но не счесть, во скольких местах и сколько пьес разыгрывается одновременно на сцене земли.

Там, где над небольшой пьеской из жизни мы подняли занавес, у края деревенской дороги стоит дом. Только одна его комната, выходящая на улицу, выстроена из кирпича, — с двух сторон от нее отходит ветхая кирпичная ограда. Эта ограда окружает другие комнаты с глиняными стенами. С улицы сквозь оконную решетку видно, что на кушетке сидит полуобнаженный юноша, он погружен в чтение книги, которую держит в правой руке, в левой—у него пальмовый лист: время от времени он обмахивается им, пытаясь уменьшить жару и отогнать москитов.

По дороге перед окнами прохаживается девочка в полосатом сари и ест сливы, которые она вынимает одну за другой из поднятого края сари. По выражению ее лица видно, что она хорошо знакома с юношей, сидящим на кушетке и читающим книгу; ей хочется любым способом привлечь его внимание и своим молчаливым пре-

небрежением дать ему почувствовать, что сегодня она всецело занята сливами и даже не замечает его.

Но, к несчастью, прилежный молодой человек близорук, и молчаливое пренебрежение девочки издали не оказывает на него никакого действия. Девочка, вероятно, это знает, поэтому через некоторое время, вместо бесполезного хождения взад и вперед и молчаливого презрения, она пускает в ход косточки от слив. Если имеешь дело со слепым, трудно сохранять чувство собственного достоинства!

Когда несколько косточек как будто случайно стукнулись о деревянную дверь, молодой человек поднял голову. Хитрая девочка догадалась об этом и с удвоенным вниманием принялась выбирать спелые сливы. Молодой человек прищурился и, присмотревшись, узнал девочку; он отложил книгу, подошел к окну и, улыбаясь, позвал:

— Гирибала!

Гирибала сосредоточенно перебирала сливы. Поглощенная этим занятием, она стала медленно отходить от дома.

Близорукому юноше нетрудно было понять, что это наказание за какое-то неумышленно совершенное им преступление. Он выбежал на улицу.

— Эй, Гирибала, что ж, сегодня мне слив не будет?

Не обращая на него внимания, Гирибала взяла сливу, внимательно ее обследовала и с невозмутимым видом принялась есть.

Эти сливы были из сада Гирибалы и являлись ежедневной данью юноше. Кто знает, может быть сегодня Гирибала забыла об этом, во всяком случае ее поведение ясно говорило, что эти она принесла только для себя. Но было непонятно, зачем в таком случае она пришла есть их к чужому окну. Молодой человек подошел к девочке и взял ее за руку. Сначала Гирибала, изогнувшись, попыталась высвободить руку, но вдруг у нее из глаз брызнули слезы, и, бросив сливы на землю, она вырвалась и убежала.

К вечеру игра солнца и облаков прекратилась, белые пушистые облака собрались на краю неба, и лучи заходящего солнца заблестели на листьях деревьев, на воде пруда, на каждой частице умытой дождями природы. И снова перед решетчатыми окнами ходит та же девочка, а в комнате сидит все тот же молодой человек.

Однако теперь у девочки в сари нет слив, а в руке у юноши нет книги. Впрочем, произошли и некоторые другие, более важные и глубокие изменения.

И на этот раз было трудно сказать, с какой целью разгуливает здесь девочка. Во всяком случае, по ее поведению не видно, чтобы она хотела завязать разговор с человеком, сидящим в комнате. Скорее, она пришла посмотреть, не пустили ли ростки сливы, брошенные ею утром.

Ростки не появились главным образом потому, что теперь плоды лежали на кушетке перед юношей, и когда девочка, время от времени наклоняясь, разыскивала какие-то невидимые, воображаемые предметы, юноша, смеясь про себя, с серьезным видом выбирал сливы одну за другой и усердно их уничтожал. Но вот несколько косточек как будто случайно упали около девочки и даже отскочили ей в ноги, и Гирибала поняла, что юноша мстит ей за ее пренебрежение. Но разве это хорошо! Разве не жестокость — создавать препятствия на ее таком трудном пути, в то время как она, подавив всю гордость своего маленького сердца, искала предлога, чтобы помириться. Пришла, чтобы уступить ему! Кровь прилила к щекам девочки, она стала искать повода к бегству, но в это время юноша вышел из дому и взял ее за руку.

Так же, как и утром, девочка попыталась вырвать свою руку, но теперь она уже не плакала. Наоборот, покраснев и спрятав голову за спину своего притеснителя, она вдруг громко рассмеялась, а потом, точно подчинившись силе, вошла в дом, словно пленница в темницу с железной решеткой.

Как на небе обычна игра солнца и облаков — так же обычна и мгновенная игра этих двух существ на земле. Но так же как игра солнца и облаков необычна, и вовсе не игра, а лишь напоминает игру, так и коротенькая история этих двух неизвестных людей в праздный осенний день не является незначительной среди сотен происшествий, случающихся в человеческом обществе, хотя и кажется такой. Тот древний, великий, невидимый бог, который с невозмутимым ликом сплетает с вечностью вечность, заронил в смех и слезы утра и вечера того дня семена счастья и горя всей жизни. Тем не менее это беспричинное высокомерие казалось совершенно непонятным не только зрителям, но и главному герою пьесы — вышеупомянутому юноше. Нелегко понять, почему эта

девочка то сердится, то проявляет бесконечную нежность, то увеличивает ежедневные приношения, то вообще прекращает их. Сегодня она, собрав все свое воображение, ум и способности, старается доставить удовольствие юноше, а завтра призывает на помощь всю свою маленькую силу и твердость, чтобы уязвить его. Если девочка не может сделать ему неприятность, настойчивость ее увеличивается вдвое, в случае же успеха эта твердость разбивается раскаянием на сотни кусочков, растворяется в слезах, превращается в поток бесконечной нежности.

Первая незначительная история этой незначительной игры солнца и облаков коротко излагается в следующей главе.

II

Все жители в деревне разделены на враждебные группы, ведут интриги друг против друга и сажают сахарный тростник, делают ложные доносы и выращивают джут. Философией и изучением литературы занимаются только Шошибушон и Гирибала.

Эта дружба ни у кого не вызывает удивления или любопытства, потому что Гирибале всего десять лет, а Шошибушон лишь недавно получил звание магистра искусств и бакалавра прав. Они соседи.

Отец Гирибалы, Хоркумар, когда-то арендовал землю в родной деревне, но потом впал в нужду, распродал все, что у него было, и поступил служить наибом к своему помещику, который сам никогда в деревне не жил. Деревня Хоркумара входила в округ, где он собирал арендную плату, так что уходить из своего дома ему не пришлось.

Получив звание магистра искусств, Шошибушон выдержал экзамены и по юридическим дисциплинам, но никаким делом не занялся. Он ни с кем особенно не сближался; если бывал на собраниях, то не говорил и двух слов. Из-за близорукости он не узнавал знакомых,— ему приходилось прищуриваться, а люди считают это признаком высокомерия.

Если человек живет одиноко, погруженный в собственные мысли, в таком людском море, как Калькутта, то это придает ему особую значительность, но в деревне подобное поведение расценивается совсем иначе.

Когда все усилия заставить Шошибушона работать ни к чему не привели, отец привез его в деревню и поручил ему следить за хозяйством. Шошибушону пришлось выслушать немало насмешек и попреков от деревенских жителей. И этому была своя причина: Шошибушон любил покой, тишину и потому не хотел жениться, а обремененные дочерьми родители видели в его нежелании нестерпимый эгоизм, который никак не могли ему простить.

Однако чем больше надоедали Шошибушону, тем большим домоседом он становился. Обычно он сидел на кушетке в одной из угловых комнат, а вокруг него были разбросаны английские книги, которые он читал без разбору, — какая попадется на глаза. В этом, собственно, и заключалась его работа. А как нужно следить за хозяйством, знает само хозяйство.

Как мы уже говорили, единственным человеком, с которым он поддерживал отношения, была Гирибала.

Братья Гирибалы учились в школе; вернувшись из школы домой, они часто спрашивали свою глупую сестренку о том, какой формы земля, или о том, что больше: земля или солнце, и, когда она давала неверные ответы, они с презрением исправляли ее ошибки. Очевидность противоречит тому, что солнце больше земли, но когда Гирибала осмеливалась высказать свои соображения на этот счет, ее братья заявляли еще пренебрежительнее:

— Подумаешь! У нас так в книге написано, а ты...

Услышав, что так написано в печатной книге, пораженная Гирибала умолкала, — больше ей не требовалось никаких доказательств.

Ей очень хотелось самой научиться читать, как братья. Иногда она садилась в своей комнате, брала книгу, раскрывала ее, начинала бормотать, делая вид, что читает, и быстро листала страницы.

Маленькие непонятные черные буквы стояли рядами, как стража у ворот в таинственный мир, подняв на плечи значки для «и», «ой», и «р» [1], и не отвечали ни на один вопрос Гирибалы. «Котхамала» не говорила изны-

---

[1] Буквы «и» и «ой» бенгальского алфавита имеют надстрочные знаки; буква «р» в ряде случаев пишется над другими буквами.

вающей от любопытства девочке ни слова из своих сказок о тигре и шакале, осле и лошади, а «Акеномончжори» [1] со своими историями смотрела на нее так, словно дала обет молчания.

Гирибала предложила было братьям поучить ее читать, но они и слышать не хотели об этом. Только Шошибушон помог ей.

В первое время Шошибушон был для Гирибалы таким же непонятным и таинственным, как «Котхамала» и «Акеномончжори».

В маленькой комнате с железными решетками в окнах, выходящих на улицу, на кушетке сидит юноша, окруженный книгами. Гирибала стоит снаружи; ухватившись за решетку, она с изумлением смотрит на этого необыкновенного, погруженного в чтение человека; судя по количеству книг, она приходит к выводу, что он намного ученее ее братьев. Более удивительной вещи для нее нет. Она нисколько не сомневается в том, что он с начала до конца прочел всю «Котхамалу» и другие самые важные на свете книги. Шошибушон переворачивает страницы, а она стоит неподвижно, тщетно стараясь определить границы его знаний.

В конце концов и близорукий Шошибушон обратил внимание на девочку. Однажды он раскрыл книгу в ярком переплете и сказал ей:

— Гирибала, иди, я покажу тебе картинки!

Гирибала тотчас убежала.

Но на следующий день она снова надела полосатое сари, пришла к окну и с тем же молчаливым вниманием стала наблюдать за читающим юношей. Шошибушон опять позвал ее, и опять она, тряхнув косами, убежала.

Так завязалось их знакомство, но необходимо специальное историческое исследование, чтобы рассказать, как это знакомство перешло затем в дружбу, когда девочка, наконец, оторвалась от решетки, вошла в комнату Шошибушона и заняла место на его кушетке среди груды книг.

Гирибала начала учиться у Шошибушона не только читать, но и писать. Все будут смеяться, если узнают, что, кроме обучения своей маленькой ученицы чтению, письму и грамматике, этот учитель переводил ей произ-

---

[1] «Акеномончжори» — книга для начального чтения.

ведения великих поэтов и спрашивал ее мнение о них. Понимала ли что-нибудь девочка, знает всевышний, но, без сомнения, ей это нравилось. Смешивая понятное с непонятным, ее детское воображение создавало прекрасные картины. Молча, широко раскрыв глаза, она внимательно слушала, время от времени задавала совершенно неподходящие вопросы или вдруг заводила разговор на посторонние темы. Шошибушон никогда не мешал этому, ему доставляло большое удовольствие выслушивать замечания маленького критика о великих произведениях. Во всей деревне эта девочка была единственным понимающим его человеком.

Когда Гирибала познакомилась с Шошибушоном, ей было восемь лет, теперь ей десять. За эти два года она выучила английскую и бенгальскую азбуки и прочла несколько начальных книжек. Что же касается Шошибушона, то за эти два года жизни в деревне он не мог пожаловаться на одиночество.

III

Отношения между отцом Гирибалы, Хоркумаром, и Шошибушоном не были хорошими. Сначала Хоркумар приходил к этому магистру и бакалавру советоваться по поводу различных тяжб и судебных процессов, но бакалавр не заинтересовался ими и откровенно признался управляющему в своем юридическом невежестве. Тот решил, что это только отговорка. Так прошло около двух лет.

И вот однажды появилась необходимость усмирить одного непокорного арендатора. Наиб стал приставать к Шошибушону с вопросами относительно жалобы, которую он собирался подать на арендатора за различные проступки, совершенные им в разных местах. Пусть Шошибушон и не дал ему никакого совета, но к тому же он еще спокойно и решительно сказал Хоркумару несколько таких слов, которые никак не могли показаться тому лестными!

Хоркумар не выиграл ни одной тяжбы, затеянной против арендатора. Он был твердо уверен, что Шошибушон помогал его противнику, поэтому наиб дал себе слово поскорей выжить юношу из деревни.

По полю Шошибушона стали бродить коровы, кто-то поджигал его бобы, с ним начали спорить о границах его участка, арендаторы отказывались выплачивать ему арендную плату и даже собирались подать на него ложный донос, дело дошло до того, что пошли слухи, будто Шошибушона изобьют, если он выйдет как-нибудь вечером на улицу, а ночью подожгут его дом.

В конце концов миролюбивый, спокойный Шошибушон решил перебраться в Калькутту.

Он уже совсем было собрался ехать, когда в деревню прибыл окружной судья. Его посыльные, слуги, полицейские, собаки, лошади, конюхи взбудоражили всю деревню.

Дети, как стая шакалов, следующая за тигром, с любопытством и страхом толпились возле дома, в котором остановился судья.

Господин наиб, запоминая, как обычно, расходы, связанные с оказанием гостеприимства, снабжал судью курами, яйцами, маслом, молоком. Господин наиб старательно поставлял окружному судье пищу в размерах намного больших, чем тому требовалось, но когда однажды утром пришел подметальщик судьи и потребовал для собаки сахиба[1] четыре сера масла, Хоркумар не выдержал. Если собака сахиба и может без угрызений совести переварить масла намного больше, чем местные собаки, все же такое количество нежного продукта вредно для ее здоровья, сказал он подметальщику и не дал масла.

Подметальщик заявил своему господину, что он пошел к наибу узнать, где можно достать для собаки мяса, но наиб на глазах у всех прогнал его прочь за то, что он по касте подметальщик. Он пренебрежительно отозвался даже о самом сахибе.

С одной стороны, кастовая гордость брахманов, естественно, невыносима для сахибов, кроме того, наиб осмелился оскорбить его подметальщика, этого судья уж никак не мог стерпеть и тотчас отдал приказ: «Позвать управляющего!»

Весь дрожа, повторяя про себя имя Дурги, Хоркумар предстал перед домом сахиба. Раздались шаги, и вышел судья.

---

[1] Сахиб — господин, обычно еврогеец, англичанин.

— Почему ты прогнал моего подметальщика?—громко спросил он с английским акцентом.

Хоркумар, сложив руки, торопливо сообщил сахибу, что он никогда не мог бы позволить себе такой наглости; правда, вначале, заботясь о благе четвероногого, он вежливо отказался дать четыре сера масла собаке, но потом послал людей собрать его.

Сахиб спросил, кого и куда он послал.

Хоркумар немедля назвал первые пришедшие ему в голову имена. Сахиб приказал своим людям выяснить, правда ли это, а наиба задержал у себя. К вечеру посланные вернулись и сообщили, что никто никуда не ходил. У судьи не оставалось никакого сомнения в том, что все слова наиба — ложь и что подметальщик сказал правду.

— А ну-ка возьми его за ухо да выведи из дому! — гневно крикнул окружной судья подметальщику.

Тот, не теряя времени, на глазах у столпившихся вокруг людей, выполнил приказ сахиба.

Весть о случившемся немедленно разнеслась по всей деревне. Придя домой, оскорбленный Хоркумар не мог даже есть и как мертвый повалился на постель.

Его должность создала ему много врагов. И это происшествие доставило им большую радость, но когда о нем узнал Шошибушон, уже собравшийся ехать в Калькутту, он пришел в негодование. Всю ночь юноша не мог заснуть.

На следующее утро он явился к Хоркумару. Тот схватил Шошибушона за руку и растерянно заплакал.

— Судью нужно привлечь к ответственности за оскорбление. Я буду твоим защитником.

Услыхав, что нужно подать в суд на самого сахиба судью, наиб испугался. Шошибушон не отступал.

Хоркумар попросил дать ему время на размышление. Но когда он узнал, что слух о его унижении распространился уже повсюду и что его враги не скрывают своей радости, он не мог больше выдержать и пришел за помощью к Шошибушону.

— Бабу, я слышал, ты почему-то решил ехать в Калькутту. Не делай этого. Когда в деревне есть такой человек, как ты, мы чувствуем себя гораздо смелее. Во всяком случае, ты должен помочь мне смыть это оскорбление.

IV

И вот тот самый Шошибушон, который вечно прятался от людей, сегодня сам явился в суд. Выслушав Шошибушона, судья позвал его в свою комнату и предложил:

— Шоши-бабу, не лучше ли потихоньку уладить это дело?

Прищурив глаза, Шошибушон внимательно посмотрел близорукими глазами на переплет лежащего на столе свода законов.

— Я не могу дать такой совет моему клиенту. Он был оскорблен публично. Как же это можно «уладить потихоньку»?

После недолгого разговора сахиб понял, что этого скупого на слова близорукого человека нелегко переубедить.

— Олл райт [1], бабу, посмотрим, что из этого выйдет!

Назначив день судебного разбирательства, судья вышел из комнаты.

Между тем окружной судья написал заминдару:

«Твой наиб оскорбил моих слуг. Этим самым он отнесся непочтительно ко мне. Надеюсь, ты примешь соответствующие меры».

Заминдар потребовал Хоркумара к себе, и тот рассказал ему все, что произошло. Заминдар страшно разгневался.

— Почему ты немедленно, без разговоров не дал подметальщику четыре сера масла? Ты что, разорился бы от этого?

Хоркумар не мог не согласиться, что это не нанесло бы его состоянию никакого ущерба. Признав свою вину, он добавил:

— Видно, звезды мне не благоприятствовали, поэтому я и совершил такую глупость.

— А кто тебе посоветовал подать жалобу на сахиба?

— Ваша милость! Я не хотел жаловаться. Это Шоши из нашей деревни. У него нет никакой судебной практики, и мальчишка сам, без моего согласия, затеял этот скандал.

Заминдар очень рассердился на Шошибушона: этот новоиспеченный, сидящий без дела адвокат готов на

---

[1] Хорошо *(англ.)*.

любую авантюру, чтобы добиться известности! Он приказал наибу немедленно прекратить процесс.

Взяв с собой в качестве подарка фрукты, Хоркумар явился к окружному судье. Он заявил ему, что подавать на сахиба жалобу совершенно не в его характере. Этот безусый молокосос, адвокат из их деревни, по имени Шошибушон, не сказав ему ни слова, позволил себе такую наглую выходку. Сахиб был возмущен поведением Шошибушона и вполне удовлетворен извинениями наиба. Он сказал, что учинил ему наказание под влиянием гнева и теперь сожалеет об этом. Сахиб недавно с отличием выдержал зкзамен по-бенгальскому языку и теперь разговаривал с простыми людьми высоким стилем.

Наиб ответил, что он совсем не обижен, — ведь бывает же, что родители тоже, рассердившись, наказывают детей, но потом они сажают их на колени и ласкают!

Оделив подарками окружного сахиба судью и его слуг, Хоркумар пошел в здание суда повидаться с местным судьей. Узнав от него о наглости Шошибушона, судья сказал:

— Я тоже был удивлен. Я всегда знал наиба-бабу как умного человека, и вдруг мне завяляют, что он не согласен уладить это дело и затевает судебный процесс. Я своим ушам не поверил! Теперь-то мне все понятно.

Под конец он спросил наиба, не является ли Шоши членом Конгресса[1]. Хоркумар, не моргнув глазом, ответил: «Да».

Для своеобразного склада ума сахиба было ясно, что все это — дело рук Конгресса. Всюду агенты Конгресса тайно ищут возможности как-нибудь спровоцировать скандал, напечатать об этом в «Амрита базар»[2] и начать перебранку с правительством. Он считал индийское правительство очень слабым, так как оно не дало в его руки власти, достаточной для того, чтобы одним ударом расправиться со всеми этими заговорщиками, и в душе осуждал его. А имя конгрессиста Шошибушона судья запомнил.

---

[1] Конгресс — партия Индийский национальный конгресс, основана в 1885 году. Ныне правящая партия Индии.

[2] «Амрита базар патрика» — бенгальская газета.

V

Когда в мире происходят большие события, то и маленькие события, протягивая голодные корешки, не упускают случая заявить о своих правах.

В то время когда Шошибушон начал хлопотать по делу Хоркумара, когда он стал наводить справки в толстых томах, мысленно репетировать свою речь и вызывать свидетелей на перекрестный допрос, когда он, дрожа от волнения и обливаясь потом, представлял себя на открытом судебном процессе перед лицом огромной толпы зрителей и заранее наслаждался своим полным триумфом в сражении, — его маленькая ученица каждый день приходила в определенное время к дверям его дома, держа в руке истрепанный учебник, исписанную чернилами тетрадку и захватив с собой то фрукты, то цветы из своего сада, то сладости из кладовки матери, то бетель.

В первые дни она видела, что Шошибушон сосредоточенно перелистывал страницы большой мрачной книги без картинок. Прежде, какие бы книги он ни читал, он всегда старался что-нибудь объяснить Гирибале. Неужели теперь во всей этой груде черных книг нет и двух слов для нее! Неужели все только потому, что эти книги такие большие, а она такая маленькая!

Сначала, чтобы привлечь внимание учителя, Гирибала пела, писала и во весь голос читала написанное, раскачиваясь при этом из стороны в сторону,— никакого результата. Она очень сердилась в душе на толстую черную книгу. Эта книга представлялась ей каким-то безобразным, злым, безжалостным существом. Каждая непонятная страница в ней казалась Гирибале лицом скверного человека, который смотрел на нее с немым презрением за то, что она маленькая девочка. Если бы какой-нибудь вор украл эту книгу, она утащила бы из кладовой матери все сладости, чтобы наградить его. Со сколькими несообразными, необыкновенными молитвами об уничтожении этой злой книги обращалась она к богам! Но боги не услышали ее, и я не вижу никакой необходимости сообщать содержание молитв читателям.

Тогда огорченная девочка решила дня три не ходить к учителю. Потом, с целью выяснить результаты такого мероприятия, она пошла,— конечно, по совершенно дру-

гому делу,— по дороге мимо дома Шошибушона и украдкой заглянула в окно: теперь у Шошибушона не было той черной книги, он стоял посреди комнаты и, размахивая руками, обращался к железным прутьям решетки с речью на иностранном языке. Вероятно, он пробовал на этом железе, удастся ли ему растопить сердце судьи. Знавший жизнь только по книгам, Шошибушон думал, что если в прежние времена Демосфен, Цицерон, Барк, Шеридан и другие ораторы совершали чудеса своими речами, стрелами своих слов поражали несправедливость, обличали насилие, ниспровергали гордыню, то и в наше время в этом нет ничего невозможного. Стоя в своем маленьком старом домишке в небольшой деревеньке, он представлял себе, как перед лицом всего мира пристыдит этого опьяненного властью высокомерного англичанина и заставит его раскаяться. Смеялись ли боги в небесах, слушая его, или слезы лились из их божественных глаз — никто не знает.

Поэтому он так и не заметил Гирибалу в тот день, слив у девочки тоже больше не было, — она разочаровалась в действии сливовых косточек. Теперь, если Шошибушон с невозмутимым видом спрашивал: «Гири, сегодня слив не будет?», ей казалось, что он смеется над ней, она коротко отвечала: «Уходи», и убегала. Сегодня у нее не было слив, и ей пришлось прибегнуть к хитрости. Внезапно она устремила взгляд вдаль и громко закричала:

— Шорно, подожди меня, я сейчас иду!

Читатель может подумать, что эта фраза относилась к какой-нибудь подруге, которая шла поодаль, но читательницы легко догадаются, что там никого не было, что тот, кому предназначались эти слова, находился рядом. Но, увы, эта хитрость в отношении слепого человека не удалась. Шошибушон не то чтобы не слышал слов девочки, он просто не понял их значения. Он думал, что девочка действительно хочет играть, а у него не было времени заниматься с ней, потому что в тот день он тоже искал острые стрелы для некоторых сердец. Но как стрелы, пущенные маленькой рукой девочки, не попали по назначению, так не достигли цели и стрелы ученого человека, — читатели уже знают об этом.

У косточек слив есть преимущество: когда их бросают одну за другой, то даже если четыре упадут мимо, пятая

все же наверное найдет цель. Но сколь воображаемой ни была бы Шорно, оставаться на месте уже нельзя, когда крикнула ей: «Я иду!» Ведь если продолжать стоять на месте, то у людей, естественно, возникнут подозрения относительно существования Шорно. Поэтому, когда прием не удался, Гирибале пришлось немедленно уйти. Но тем не менее по ее походке нельзя было заметить той радости, которая естественна при искреннем желании встретиться с подругой. Она как будто старалась, не оглядываясь назад, почувствовать, идет кто-нибудь за ней или нет. Когда же поняла, что сзади никого нет, она, все еще надеясь на что-то, обернулась и, ничего не увидев, в отчаянии и досаде разорвала на мелкие кусочки и выбросила на дорогу растрепанный учебник, а вместе с ним и последнюю надежду. Если бы она могла вернуть Шошибушону все знания, полученные от него, она швырнула бы их к нему под дверь так же, как сливовые косточки. Девочка твердо решила, что, прежде чем она снова увидится с Шошибушоном, она забудет все, чему он ее выучил. Он будет ее спрашивать, а она не сможет ответить ни на один вопрос. Ни на один, ни на один! Тогда он почувствует!

Глаза Гирибалы наполнились слезами. Мысль о том, как расстроится Шошибушон, когда узнает, что она все забыла, несколько успокоила ее измученное сердце, но, подумав о будущем несчастной Гирибалы, ставшей невеждой по вине Шошибушона, она преисполнилась жалости к самой себе.

По небу плыли облака — в сезон дождей такие облака можно видеть каждый день.

Спрятавшись за деревом у края дороги, Гирибала плакала от обиды. Сколько девочек ежедневно проливают такие беспричинные слезы! В них нет ничего примечательного.

VI

Для читателей не тайна, почему юридические изыскания и ораторские упражнения Шошибушна оказались напрасными: жалоба, поданная на имя судьи, неожиданно была взята обратно. Хоркумар был назначен почетным судьей своего района. Теперь, надев грязный чап-

кан[1] и замасленный тюрбан, он часто отправлялся в суд, не забывая, однако, подойти и поклониться сахибам.

Через несколько дней над черной толстой книгой Шошибушона начало сбываться проклятие Гирибалы — она была переселена в темный угол и, преданная забвению, покрылась слоем пыли. Но где же Гирибала, где та девочка, которая обрадовалась бы такому невниманию?

В тот день, когда Шошибушон закрыл свод законов, он, наконец, заметил, что Гирибала исчезла. Постепенно он припомнил всю историю этих нескольких дней. Он вспомнил, как однажды солнечным утром Гирибала принесла в сари еще влажные от дождя цветы бакуль, а он даже не взглянул на нее и продолжал читать. Она вначале растерялась, но потом вытащила из края сари иголку с ниткой и, склонив голову, стала делать гирлянду, нанизывая один цветок за другим, — делала она это очень медленно, но, наконец, все-таки кончила. Был уже вечер, Гирибале пора было идти домой, а Шошибушон все еще не отрывался от книги. Опечаленная девочка положила гирлянду на кушетку и вышла. Юноша догадался, что с каждым днем ее самолюбие страдало все больше, поэтому она перестала даже заходить к нему и лишь иногда проходила по дороге мимо его дома; наконец, она совсем перестала появляться, — с тех пор прошло уже несколько дней. Самолюбие девочки не могло выдержать столь длительного испытания. Шошибушон глубоко вздохнул и как потерянный прислонился к стене. Теперь, когда не было его маленькой ученицы, у него пропал всякий интерес к чтению. Он брал книгу, прочитывал две-три страницы и клал ее на место, начинал писать, но поминутно вздрагивал, смотрел на дорогу, словно ждал кого-то, и бросал начатое.

Шошибушон испугался, не заболела ли Гирибала. Осторожно наведя справки, он узнал, что это беспокойство напрасно: Гирибале теперь нельзя выходить из дому, скоро ее свадьба.

Утром, на следующий день после того как она разорвала учебник и бросила его на грязную деревенскую дорогу, Гири торопливо вышла из дому, завернув в край

---

[1] Чапкан — верхняя одежда, надеваемая в торжественных официальных случаях.

сари сладости. Не спавший из-за жары всю ночь Хоркумар с самого рассвета сидел, обнаженный до пояса, во дворе и курил.

— Ты куда? — спросил он Гири.

— К Шоши-даде.

— Нечего ходить к Шоши-даде, иди в дом.

И он начал ругать ее: взрослая девица, скоро пора переселяться к свекру, а стыда не знает! С тех пор ей запретили выходить на улицу. Теперь у нее уже больше не было возможности сломить свою гордость. Сгущенный манговый сок, бетель и очищенный лимон были возвращены на прежнее место. Начались дожди, опадают цветы бокуль, спелые гуавы висят на деревьях, птицы клюют зрелые сливы, усеявшие землю. Увы, растрепанного учебника больше нет!

VII

В тот день, когда пела флейта на свадьбе Гирибалы, не приглашенный на празднество Шошибушон плыл в лодке по направлению к Калькутте.

С тех пор как Хоркумар взял обратно свою жалобу, он возненавидел Шоши. Он был убежден, что тот его презирает. Ему казалось, что он видел тысячу подтверждений этого на лице Шошибушона, в выражении глаз, во всем его поведении. Он считал, что все жители деревни давно уже забыли о его позоре, только один Шошибушон помнит, и наиб не смел взглянуть в глаза юноше. При встречах с ним Хоркумару становилось неловко, но в то же время он начал злиться на Шошибушона. Он дал самому себе слово, что Шоши уедет из деревни.

Заставить такого человека выехать из своего дома нетрудно. И цель господина наиба вскоре была достигнута. Однажды утром Шоши погрузил в лодку книги и несколько железных сундуков. Ту единственную нить, которая связывала его с деревней, разрывала сегодняшняя свадьба. Он не представлял себе раньше, как крепко эта нежная нить обвилась вокруг его сердца. Когда лодка отчалила от берега и вершины знакомых деревьев стали скрываться вдали, а звуки праздничной музыки доносились все слабее, его сердце вдруг переполнилось слезами, что-то сдавило горло, жилки на висках учащенно

забились, и весь мир расплылся перед ним обманчивым миражем.

Дул сильный встречный ветер, поэтому лодка хотя и плыла по течению, продвигалась вперед очень медленно. В это время на реке произошло событие, прервавшее путешествие Шошибушона.

Недавно открылась новая пароходная линия, соединяющая железнодорожную станцию с соседним районом. Шумно вращая колесами и поднимая волны, вверх по реке шел пароход. На нем находились: молодой сахиб — управляющий новой линией, и несколько пассажиров. Среди пассажиров некоторые были из деревни Шошибушона.

Какой-то купеческий баркас пытался обогнать пароход и то нагонял его, то снова отставал. Лодочник все больше входил в азарт. Над первым парусом он поставил второй, над вторым еще третий, маленький. Под напором ветра длинная мачта гнулась вперед, разрезаемые лодкой высокие волны с плеском бились о ее борта, и баркас несся, как конь, закусивший удила. В одном месте река немного поворачивала, здесь баркас бросился наперерез пароходу и обогнал его. Облокотившись о перила, сахиб с интересом следил за этим состязанием. Когда скорость баркаса достигла предела и он на несколько локтей[1] обогнал пароход, сахиб вдруг поднял ружье и, прицелившись в надувшийся парус, выстрелил. Мгновенно парус разорвался, и баркас перевернулся. Пароход исчез за поворотом реки.

Трудно сказать, почему сахиб это сделал. Мы, бенгальцы, не можем понять, что доставляет радость англичанам. Может быть, он не мог перенести победы индийского баркаса в состязании, может быть было какое-то жестокое наслаждение в зрелище мгновенно разрываемого в клочья большого вздувшегося паруса; может быть, в этом было какое-то дьявольское удовольствие: сразу оборвать игру бойкого суденышка, сделав в нем несколько дырок,— не знаю. Но несомненно одно, англичанин был твердо уверен, что за эту шутку ему ничего не будет, и считал, что как хозяин баркаса, так и команда, собственно говоря, не люди.

Когда сахиб, подняв ружье, выстрелил и баркас

---

[1] Локоть — мера длины, равная 0,5 метра.

перевернулся, Шошибушон был рядом с местом происшествия и все видел. Он поспешно подплыл к перевернувшемуся баркасу и подобрал лодочника и гребцов. Не удалось спасти только одного человека, — он находился в момент крушения под навесом и растирал пряности.

Кровь закипела в жилах у Шошибушона. Правосудие движется чрезвычайно медленно — оно точно большая и сложная машина: взвешивая все «за» и «против», оно собирает доказательства и с полным равнодушием налагает наказания, в нем не бьется человеческое сердце. Но Шошибушону казалось, что разделять наказание и гнев так же неестественно, как отделять насыщение от голода и удовлетворение от желания. Есть много преступлений, которые требуют от зрителя немедленного вмешательства, в противном случае его ждет возмездие всеведущего бога, таящегося в его собственной душе. Тогда бывает мучительно стыдно утешать себя ссылкой на правосудие. Но и машина правосудия и пароход увозили управляющего все дальше от Шошибушона. Не знаю, что выиграло от этого события общество, но «индийскую меланхолию» Шошибушона оно, без сомнения, лишь укрепило.

Шоши вернулся со спасенными в деревню. Баркас вез груз джута. Шошибушон послал людей вытащить его и предложил лодочнику подать жалобу на управляющего.

Лодочник не соглашался.

— Баркас потонул, что ж мне теперь самого себя топить? — спрашивал он. — Во-первых, надо будет платить, потом, забросив работу, забыв о еде и сне, все время проводить в суде, да, кроме этого, один только бог знает, чем кончится дело против сахиба.

Но в конце концов, когда он узнал, что Шошибушон сам адвокат и все расходы будет нести он и что все факты за то, что суд постановит возместить понесенный им ущерб, он согласился. Однако односельчане Шошибушона, ехавшие на пароходе, ни за что не соглашались быть свидетелями на суде. Они говорили Шошибушону:

— Господин, мы ничего не видели, мы были на другой стороне парохода, из-за шума машины и плеска воды там не было слышно выстрела.

Проклиная в душе соотечественников, Шошибушон сам подал жалобу на управляющего.

В свидетелях не оказалось никакой надобности. Управляющий признался, что он действительно выстрелил. Он сказал, что увидел в небе стаю журавлей и прицелился в них. Пароход двигался на полной скорости и в момент выстрела был уже в том месте, где река заворачивает. Следовательно, управляющий не мог знать, ворону ли он убил, или журавля подстрелил, или баркас потопил. В воздухе и на земле столько добычи для охотника, что ни один умный человек не станет нарочно тратить выстрел,— хотя бы он стоил четверть пайсы,— на «дерти рэг», то есть грязную тряпку.

Сахиб был оправдан и, попыхивая сигарой, отправился в клуб играть в вист. Труп человека, растиравшего пряности, нашли выброшенным на берег в девяти милях от места происшествия. С разбитым сердцем вернулся Шошибушон в свою деревню.

В тот день, когда он возвратился, для Гирибалы была приготовлена лодка, чтобы отвезти ее в дом свекра. Хотя никто не приглашал Шошибушона, он все же побрел на берег. Около пристани стояла толпа, он не пошел туда, а прошел дальше. Когда лодка отчалила от пристани и проплыла перед ним, он на мгновение увидел невесту, которая сидела низко опустив лицо, скрытое под покрывалом. Долгое время Гирибала надеялась, что перед отъездом ей как-нибудь удастся встретиться с Шошибушоном, теперь же она не могла знать, что ее учитель стоит недалеко на берегу и смотрит на нее. Девушка ни разу не подняла голову, только беззвучно плакала, и слезы текли по ее щекам.

Лодка уплывала все дальше и дальше и, наконец, совсем скрылась из виду. Лучи утреннего солнца засверкали на воде; рядом, в ветвях мангового дерева, громко пел бесконечную песню папияр; перевозчик снова стал ездить от одного берега к другому, забирая груз и людей; женщины пришли к пристани за водой и громко обсуждали отъезд Гири в дом свекра. Шошибушон снял очки, вытер навернувшиеся на глаза слезы и побрел в свой домик с железными решетками на окнах, стоящий на краю дороги. Вдруг ему показалось, что он слышит голос Гирибалы: «Шоши-дада!» Где она, где? Нигде ее нет! Ни в доме, ни на дороге, ни в деревне, — только в его переполненном слезами сердце.

VIII

Шошибушон снова собрал свои вещи и отправился в Калькутту. Дел у него в Калькутте никаких не было, ехать ему туда, собственно, было незачем, поэтому он решил отправиться не по железной дороге, а по реке.

Сезон дождей был в самом разгаре. Бенгалия, как сетью, покрылась тысячами извилистых потоков. Кровеносные сосуды свежей зеленой Бенгалии переполнились, повсюду пышно разрослись в изобилии буйной юности лианы, трава, кустарники, рис, джут, сахарный тростник.

В узких извилистых протоках, по которым скользила лодка Шошибушона, вода сровнялась с берегами. Луга, а местами и хлебные поля, были затоплены. Вода вплотную подступала к деревенским изгородям, зарослям бамбука и манговым садам, словно боги позаботились обвести каналами корни деревьев по всей Бенгалии.

В начале путешествия вымытые дождями деревья весело блестели в лучах солнца, но вскоре собрались тучи и пошел дождь. Куда ни взглянешь,— все печально и грязно. Как коровы во время половодья толпятся в узких, грязных, окруженных водой загонах и, жалобно глядя, терпеливо мокнут под струями дождей, так и Бенгалия молчаливо и грустно мокла в непроходимых, залитых топкой грязью сырых джунглях. Крестьяне выходят на улицу, накинув на голову току[1]; женщины, ежась от дождя и холодного ветра, спешат по хозяйственным делам из дома в дом или, осторожно ступая, промокнув насквозь, идут на реку за водой, а оставшиеся в домах мужчины сидят возле дверей и курят; они выходят лишь в крайних случаях, обернув платок вокруг бедер, взяв в руки туфли и раскрыв зонт над головой,— давать зонт женщине не принадлежит к числу славных обычаев этой то сжигаемой солнцем, то заливаемой дождями страны.

Дождь не ослабевал. Шошибушону надоело сидеть в лодке, забившись под навес; он решил пересесть в поезд. Он причалил к берегу там, где одна река впадает

[1] Тока — головное покрывало, сделанное из пальмовых листьев.

в другую, привязал лодку и пошел поискать чего-нибудь съестного.

Когда хромой попадает в яму, в этом виновата не только яма,— ногу хромого всегда тянет к ней. В тот день Шошибушон доказал это.

В месте слияния двух рек рыбаки поставили большую сеть, привязав ее к прибрежному бамбуку. Только в одном месте остался проход для лодок. Рыбаки с давних пор ловили рыбу таким способом и платили за это соответствующий налог. На беду, старшему полицейскому чиновнику вдруг понадобилось плыть именно этим путем. Заметив его лодку, рыбаки стали издали криком предупреждать его о расставленной сети и указывать проход. Но лодочник сахиба не привык считаться с препятствиями, созданными людьми, он направил лодку прямо на сеть, она опустилась и пропустила лодку, но весло застряло. Чтобы вытащить его, потребовалось бы немного времени и усилий.

Сахиб вышел из себя и приказал остановиться. Увидев выражение его лица, рыбаки разбежались кто куда. Сахиб приказал своим гребцам уничтожить сеть, и они тут же разрезали на мелкие кусочки сеть, которая стоила семьсот — восемьсот рупий.

Сорвав свой гнев, сахиб потребовал привести к себе рыбаков. Полицейский, не найдя никого из убежавших, задержал первых попавшихся ему на глаза четырех человек. Сложив руки, они умоляли сахиба отпустить их, уверяя, что ничего не знают. Полицейский начальник отдал приказ взять пленников с собой. В это время Шошибушон в очках, не успев даже застегнуть пуговицы на рубашке и шлепая туфлями, запыхавшись, подбежал к лодке сахиба и дрожащим голосом проговорил:

— Вы не имели права резать сеть и мучить этих четырех человек!

Большой начальник грубо ответил ему на языке хинди. В тот же момент Шошибушон прыгнул с берега в лодку, бросился на сахиба и принялся колотить его, как мальчишка, как сумасшедший.

Что произошло потом, он не помнит. Очнулся он в полицейском участке, и вряд ли нужно говорить, что то обращение, которому он там подвергся, не принесло ему ни морального удовлетворения, ни физического облегчения.

Отец Шошибушона нанял адвоката и прежде всего добился освобождения сына на поруки. После этого начались хлопоты, связанные с судебным процессом.

Все рыбаки, которым принадлежала уничтоженная сеть, жили в том же округе, что и Шошибушон, и были подвластны тому же заминдару. Когда с кем-нибудь из них случалось несчастье, они приходили к Шоши, как к юристу, за советами. Те, кого задержал сахиб, тоже были знакомы Шошибушону.

Шоши созвал их и сообщил, что выставит их в качестве свидетелей. Они страшно перепугались: у них семьи, дети, где им искать спасения, если они поссорятся с полицией? Ведь у каждого только одна голова на плечах! Убыток они понесли,— это верно, тут уж ничего не поделаешь, а теперь им еще себе же на горе выступать свидетелями!

— Господин, ты вовлек нас в большую беду,— говорили они.

Но после долгих разговоров они все же согласились рассказать всю правду.

Когда Хоркумар отправился как-то по делам в суд и зашел поклониться сахибам, англичанин-полицейский, смеясь, сказал ему:

— Наиб-бабу, я слышал, твои арендаторы собираются давать ложные показания против полиции?

Наиб испугался:

— Как, да разве это возможно! До чего же обнаглели эти сыновья грязной касты!

Вскоре из газет стало известно, что на суде адвокат не сумел защитить Шошибушона.

Рыбаки один за другим заявили, что сахиб сеть не резал, а только подозвал их к лодке и записал имена.

И это еще не все. Несколько односельчан Шошибушона показали, что они в то время совершали свадебную поездку и находились недалеко от места происшествия. Они видели собственными глазами, как Шошибушон вдруг ни с того ни с сего набросился на полицейского.

Шошибушон признал, что, после того как ему нанесли оскорбление, он вошел в лодку и ударил англичанина Но главной причиной этого было то, что сахиб разрезал сеть и арестовал невинных рыбаков.

При таких условиях нельзя было считать несправедливостью обвинительный приговор, вынесенный Шошибушону. Приговор был суров, так как Шошибушон обвинялся в нескольких преступлениях: побои, незаконное вторжение в лодку, сопротивление законным действиям полиции и т. д.— имелись полные доказательства всего этого.

Шошибушон должен был оставить любимые книги в своем маленьком домике и пять лет провести в тюрьме. Его отец хотел подать апелляцию, но Шошибушон решительно воспротивился. Он сказал:

— Хорошо, что я должен идти в тюрьму. Железные цепи не лгут, а «свобода» за стенами тюрьмы обманула меня, бросила меня в беду. Если же говорить об обществе, так в тюрьме гораздо меньше лжецов и неблагодарных, чем на воле, хотя бы потому, что там меньше места.

X

Вскоре после того, как Шошибушон был заключен в тюрьму, умер его отец. Больше у него никого не осталось. Правда, был еще брат, но он уже давно работал в Центральных Провинциях: там он построил себе дом, обзавелся семьей и возвращаться на родину не собирался. Все имущество, которое осталось после отца Шошибушона, захватил, при помощи различных уловок и ухищрений, наиб Хоркумар.

Судьбе было угодно, чтобы в тюрьме Шошибушону пришлось перенести больше страданий, чем другим заключенным. И все-таки долгие пять лет прошли.

Снова наступил период дождей. Исхудавший, с опустошенным сердцем Шошибушон вышел из тюрьмы. Он получил свободу. Кроме нее, за стенами тюрьмы у него ничего и никого не было. Бездомному, одинокому, выброшенному из общества Шошибушону этот большой мир казался бесприютной пустыней.

Он стоял и размышлял, как ему связать разорванную нить жизни, с чего начать. Внезапно перед ним остановился большой экипаж, запряженный парой лошадей. Вышедший из него слуга спросил:

— Ваше имя Шошибушон-бабу?

— Да.

Слуга распахнул дверцу экипажа и вытянулся, ожидая, пока он сядет.

— Куда вы меня повезете? — спросил изумленный Шошибушон.

— Вас приглашает мой хозяин.

Любопытство прохожих становилось невыносимо, поэтому, не вступая со слугой в дальнейшие разговоры, Шошибушон сел в карету. «Конечно, здесь какое-то недоразумение,— думал он,— но ведь надо же куда-нибудь идти. Может быть, эта ошибка и будет началом моей новой жизни».

В тот день в небе шла игра облаков и солнца; тянувшиеся вдоль дороги затопленные дождями темнозеленые рисовые поля пестрели сменой света и теней. Около базара стояла накренившаяся старая коляска, а неподалеку от нее у съестной лавки группа нищенствующих монахов-вишнуитов [1] пела под аккомпанемент гупиджонтра [2] и барабана:

Вернись, вернись — о владыка, вернись!
В мое голодное, жаждущее, измученное сердце,
о владыка, вернись!

Экипаж двигался, и песня доносилась уже издалека:

О жестокий, вернись! Мой ласковый, нежный,
вернись!
О прекрасный, как освежающая грозовая туча,
вернись!

Слова песни слышались все слабее и неразборчивее,— их уже нельзя было понять. Но ритм ее взволновал Шошибушона, и он продолжал напевать про себя, придумывая стих за стихом, точно не в силах оборвать песню.

Мое вечное счастье, вернись! Мое вечное горе, вернись!
Мое счастье и горе, мученье, богатство, приди ко мне!
Мой вечно желанный, вернись,
Мой всегда любимый, вернись!
О неверный, о вечный, в объятия вернись!
Мне на грудь вернись, в мои очи вернись,
В мой сон, мои грезы, в мой дом, мою радость, во всю мою
жизнь вернись!
В мой смех вернись,
В мои слезы вернись!

---

[1] Вишнуиты — последователи одной из религиозных сект Индии.

[2] Гупиджонтра — музыкальный инструмент.

В мою любовь, в мой обман,
В мою гордость вернись!
В мою память вернись, в уваженье вернись,
В мою веру и дело, заботу, стыд, жизнь, смерть вернись!

Карета въехала в обнесенный оградой сад и остановилась перед двухэтажным домом. Шошибушон пересталь петь.

Не спрашивая ни о чем, он последовал за слугой.

В комнате, куда он вошел, вдоль стен стояли стеклянные шкафы с рядами книг в разноцветных переплетах. При виде их он почувствовал себя вторично выпущенным из тюрьмы. Эти красивые книги с золотым тиснением казались ему знакомыми воротами, украшенными драгоценными камнями, за которыми скрывался мир счастья.

На столе что-то лежало. Наклонившись, близорукий Шошибушон увидел сломанную грифельную доску и на ней — несколько старых тетрадок, истрепанный «Дхарапат», «Котхамалу» и «Махабхарату» Каширама Даса[1].

На деревянной рамке грифельной доски большими буквами чернилами было написано почерком Шошибушона: «Гирибала Деби». Это же имя было написано его почерком на тетрадях и книгах.

Шошибушон понял, куда он попал. Сердце его забилось. Он посмотрел в открытое окно и что же увидел? Тот маленький с решетками на окнах дом, ту выбитую деревенскую дорогу и ту маленькую девочку в полосатом сари... И свою тогда спокойную, безмятежную жизнь.

В той счастливой жизни не было ничего необыкновенного или исключительного: в незаметной работе, в маленьком счастье протекал день за днем, и среди незначительных событий его жизни на фоне его собственных занятий особенно выделялось обучение маленькой ученицы. Одинокая жизнь в домике на краю дороги, этот покой, это маленькое счастье, это маленькое личико маленькой девочки — все снова засияло перед ним, как недоступная, небесная мечта, вне времени и места. Картины и воспоминания тех дней, сливаясь со светом сегодняшнего грустного утра и нежным мотивом вишнуистской песни, звучали в его душе прекрасным сияющим напевом. Пе-

---

[1] Каширам Дас — бенгальский поэт, пересказавший на бенгальском языке великую древнеиндийскую эпическую поэму «Махабхарату».

чальное, гордое личико обиженной девочки, стоящей посреди грязной узкой дороги, пролегающей в джунглях, встало перед его глазами, как прекрасный образ, созданный самим богом. Снова послышались жалобные звуки песни, и ему показалось, что на лице деревенской девочки отразилось безысходное горе всего мира. Закрыв лицо руками и опершись локтями на стол, на эту доску, тетрадки и книги, он забылся в воспоминаниях о тех днях.

Послышались легкие шаги. Молодой человек поднял голову. Перед ним, держа на серебряном подносе фрукты и сладости, в молчаливом ожидании стояла Гирибала. Он поднял голову, и Гирибала, одетая в белое вдовье сари без всяких украшений, опустилась перед ним на колени, низко склонив голову.

Когда вдова поднялась и с любовью посмотрела на измученного, исхудавшего Шошибушона, слезы наполнили ее глаза и потекли по щекам.

Шошибушон хотел задать ей обычный вопрос о здоровье, но не мог выговорить ни слова. Слезы стояли у него в горле,— невыплаканные слезы и невысказанные слова застыли в сердце...

Толпа нищих паломников остановилась перед домом и запела, повторяя снова и снова:

Вернись, о вернись!

1894



Искупление

I

Между небом и землей есть некое, никому не подвластное царство, где обитает царь Тришанку[1] и где высятся бесчисленные воздушные замки. Имя этой обширной страны, окруженной воздушными крепостными стенами: «Если бы да кабы».

Благословенны те, кто совершил великие дела и достиг бессмертия! Благословенны и те, кто употребляет свои скромные способности на то, чтобы в числе других обыкновенных людей незаметно исполнять свои повседневные обязанности. Но горе тем, кто по недосмотру судьбы застрял посредине. Они могли бы стать чем-либо, если бы да кабы... Однако именно поэтому из них никогда не получается ни того, ни другого.

По капризу судьбы наш Онатхбондху очутился именно в этом срединном царстве. Никто не сомневался в том, что, если бы этот молодой человек только захотел, он добился бы успеха на любом поприще. Но он никогда и никак не проявлял такого желания и ничего не достиг. Тем не менее общая вера в его незаурядность оставалась непоколебимой. Все говорили, что он лучше всех выдер-

---

[1] Тришанку — мифический царь-мудрец, захотевший, по преданию, еще при жизни попасть на небо, но сброшенный оттуда разгневанными богами Однако он не упал на землю, а повис между небом и землей, обратившись в одно из созвездий южного полушария.

жит экзамены. Но экзаменов он сдавать не стал. Все были убеждены в том, что он легко сможет занять самый высокий пост на любой службе,— стоит ему только поступить! Но ни на какую службу он не поступил. Он презирал обыкновенных людей за то, что они слишком обыкновенны, но при этом он нисколько не уважал и людей выдающихся, так как считал, что мог бы достичь еще большего,— стоит ему только пожелать! Слава и почет, удача и счастье Онатхбондху хранились где-то вне времени и пространства. В царстве же действительности небо даровало ему лишь богатого тестя и преданную жену. Звали ее Биндьябашини.

Имя жены не нравилось Онатхбондху. И вообще он считал, что по своим внешним и внутренним данным она ему не ровня. Зато Биндьябашини безгранично гордилась тем, что судьба послала ей такого необыкновенного мужа. Она свято верила, что в мире нет никого лучше ее супруга; в этом же был уверен и он сам, благо окружающие придерживались того же мнения.

Биндьябашини всегда боялась, как бы кто-нибудь не унизил достоинств ее супруга. Если бы она могла вознести мужа на высочайшую вершину своей непоколебимой преданности и держать его там вдали от косых взглядов невежественных обитателей земной равнины, она бы со спокойной душой посвятила такому беззаветному служению всю свою жизнь. Но в этом меркантильном мире невозможно удержать на вершине предмет поклонения одним только поклонением. В этом мире довольно часто попадались люди, которые не считали Онатхбондху образцом, и Биндьябашини немало страдала от этого.

Онатхбондху, будучи студентом, жил у тестя. Когда наступила пора экзаменов, он на них не явился, а на следующий год и вовсе оставил колледж. Биндьябашини было крайне неловко перед людьми, и как-то вечером она мягко сказала мужу:

— Было бы лучше, если бы ты сдал экзамены.

В ответ Онатхбондху пренебрежительно усмехнулся:

— А что, у меня выросла бы вторая пара рук, как у Вишну[1], если бы я сдал? Экзамены сдают и такие, как наш Кедар!

---

[1] Вишну — бог-хранитель в индийском мифологии

Это успокоило Биндьябашини. Действительно, разве слава Онатхбондху увеличится от экзаменов, если их сдают всякие ослы!

Но когда соседка Комола восторженно сообщила своей подруге детства Биндье, что ее брат Ромеш успешно выдержал экзамены и теперь будет получать стипендию, Биндьябашини почему-то решила, что подруга не просто радуется, а тайком насмехается над ее мужем. Поэтому она не разделила восторгов Комолы, а напротив, медоточивым голосом, с легким вызовом объяснила ей, что курсовой экзамен нельзя считать экзаменом. А в английских колледжах вообще не сдают экзамены ниже чем на бакалавра!

Излишне говорить, что все эти сведения и аргументы Биндья почерпнула от мужа.

Комола сначала была несколько озадачена, получив от горячо любимой подруги подобный отпор именно тогда, когда она хотела поделиться с нею радостной вестью. Но она была женщиной и мгновенно уловила намек Биндьи. Обидевшись за брата, Комола не подала виду, но с кончика ее языка закапал тончайший яд.

— Мы, милая, за границу не ездили,— ворковала она, — за иностранных мужей не выходили, — откуда ж нам это знать? Мы женщины глупые. На зато мы точно знаем, что бенгальские молодые люди должны сдавать курсовые экзамены. А это далеко не всем удается!

Комола проговорила все это самым невинным и дружеским тоном, а затем удалилась. Последнее слово осталось за ней, и Биндье пришлось признать свое поражение. Она ушла к себе в комнату и там в одиночестве горько расплакалась.

Почти одновременно произошло еще одно событие. В Калькутту приехал богатый дальний родственник Раджкумара-бабу, отца Биндьи, и ненадолго остановился у них в доме.

Все заранее торжественно готовились к приезду гостя. Раджкумар-бабу попросил зятя перейти на несколько дней из большой гостиной, которую тот занимал во внешней половине дома, в комнату брата Раджкумара. Отец Биндьи хотел оказать приезжим особый почет.

Но эта простая просьба уязвила самолюбие Онатхбондху.

В отместку он отправился к жене и бранил Раджкумара-бабу до тех пор, пока не довел Биндьябашини до слез. Затем он стал выражать свою обиду еще более сильными средствами: не являлся к столу и т. п. Биндьябашини сгорала от стыда. Она обладала врожденным чувством собственного достоинства, и это чувство подсказывало ей, что нет ничего унизительнее таких публичных выходок по столь незначительному поводу. Она молила мужа, плакала, останавливала, и лишь с большим трудом удалось ей успокоить его.

Биндья была неглупа и нисколько не винила своих родителей. Она понимала, что дело-то пустяковое и совершенно естественное. Но теперь ей стало казаться, что пребывание в доме тестя лишает Онатхбондху почтения со стороны родственников.

С этих пор она неустанно твердила мужу:

— Переедем к твоим родным! Здесь я больше не останусь.

Онатхбондху отличался большим самомнением, но чувства собственного достоинства у него не было. Точно так же у него не было ни малейшего желания возвращаться в свой дом и жить в бедности. Но на этот раз жена проявила твердость.

— Если ты останешься, — сказала Биндьябашини, — я поеду одна.

Сдерживая раздражение, Онатхбондху вынужден был начать приготовления к отъезду в далекую деревушку, где находился его глинобитный, крытый соломой родительский дом.

Раджкумар-бабу и его жена всячески упрашивали дочь пожить у них еще немного. Но Биндьябашини молчала, опустив голову и не поднимая глаз. Ее молчание красноречивей всех слов говорило, что это невозможно.

Такая внезапная твердость дочери встревожила родителей: уж не обидели ли ее чем-нибудь невзначай?

— Дочка,— спросил ее огорченный Раджкумар-бабу,— может, мы тебя огорчили нечаянно, сделали тебе больно?

Биндьябашини ласково взглянула на отца.

— Что вы! — сказала она.— Я была здесь так счастлива, все меня только баловали.

И Биндьябашини заплакала. Тем не менее ее решение уехать осталось неизменным.

Родители повздыхали, подумали и решили: «Сколько мы ни заботились о дочери, сколько ни баловали ее, а стоило ее выдать замуж, и она уже стала чужой!»

Наконец, Биндьябашини, с глазами, полными слез, попрощалась со всеми и села в паланкин. Позади остался милый сердцу родительский дом, родные, подруги детства, домочадцы.

II

Разница между богатым калькуттским домом и деревенской хижиной весьма ощутима. Но Биндьябашини ни одним словом, ни одним движением ни разу не высказала недовольства. С первого дня она весело принялась помогать свекрови по хозяйству.

Отец знал, что дочь едет в бедный дом, и, взяв на себя расходы, послал с ней служанку. Но Биндьябашини, добравшись до деревни, тотчас отправила ее обратно. Ей была невыносима мысль о том, что прислуга из богатого дома, увидев бедность ее свекрови, будет все время воротить нос.

Свекровь пыталась избавить Биндью от тяжелой работы по дому, но невестка проворно и неутомимо принимала участие во всех хлопотах по хозяйству, словно это доставляло ей большое удовольствие. Скоро она завоевала сердце свекрови, а все женщины в деревне прониклись к ней уважением.

Однако старания Биндьи привели совсем не к тому, чего она добивалась. Законы жизни не похожи на изложенные хорошим бенгальским литературным языком прописные истины из первой главы учебника этики. Дьявол — безжалостный насмешник — появляется в решительный момент и смешивает все правила, искажая их до неузнаваемости.

Потому-то праведные дела далеко не всегда приносят хорошие плоды: бывает, что они неожиданно создают одну лишь неразбериху.

У Онатхбондху было двое младших и один старший брат. Старший брат работал за пределами деревни и на свое жалованье в пятьдесят рупий содержал семью и платил за обучение младших братьев.

Вряд ли стоит говорить о том, что в наше время на пятьдесят рупий семья не может жить хорошо. Но для

жены старшего брата Онатха, Шемашонкори, было достаточно одного сознания, что ее муж кормит всю семью. Он круглый год работает, и жена его имеет право круглый год отдыхать. И она никогда ничего не делала, а если и бралась за что-нибудь, то с таким видом, словно все кругом были обязаны именно ей. Как же — ведь это ее муж приносит в дом деньги!

Когда в семье появилась Биндьябашини и стала целыми днями хлопотать по хозяйству, как Лакшми, Шемашонкори была уязвлена. Причину понять трудно. Возможно, она решила, что невестка из знатной семьи занимается самой неприятной работой по дому только напоказ и хочет этим унизить ее, Шемашонкори, в глазах людей. Как бы там ни было, жена пятидесятирупиевского мужа невзлюбила невестку из богатого дома. Даже кротость Бинды, по мнению Шемашонкори, свидетельствовала о ее крайней гордости.

А тут еще Онатхбондху, едва появившись в деревне, собрал десятка два юнцов, основал какое-то общество, объявил сам себя председателем и принялся отправлять телеграммы во все газеты. Мало того, чтобы поразить жителей деревни, он сделался специальным корреспондентом сразу нескольких английских газет. Но в дом он не приносил ни гроша и лишь без толку тратил деньги.

Биндьябашини все время упрашивала мужа поступить на какую-нибудь службу. Но он не обращал на ее уговоры никакого внимания. Он говорил, что подходящее для него место, конечно, нашлось бы, но английское правительство на все высокие должности из предубеждения назначает только знатных англичан, а бенгальцу — будь он хоть семи пядей во лбу — не на что надеяться.

При таком положении Шемашонкори могла без конца явно и тайно поносить деверя и его жену. Тщеславная женщина, бравируя собственной бедностью, заявляла:

— Мы — бедные люди, где уж нам прокормить дочь знатных родителей и их зятя! У тестя-то было лучше: жили — горя не знали. А здесь — одни неприятности да гороховая похлебка!

Побаиваясь старшей невестки, свекровь и не отваживалась вступиться за слабейшую сторону. И Биндье приходилось терпеть и гороховую похлебку и ядовитые насмешки Шемашонкори.

Тем временем приехал в отпуск старший брат Онатха

и сразу сделался жертвой пламенного красноречия своей жены. Каждую ночь она не давала ему спокойно уснуть и в конце концов добилась своего. Однажды он позвал Онатха и спокойно, по-дружески сказал ему:

— Надо бы тебе поискать какую-нибудь службу. Одному мне трудновато кормить всю семью.

Онатхбондху зашипел в ответ, как змея, на которую наступили ногой:

— Как? Мне еще приходится терпеть попреки из-за нескольких горсточек риса? Да и тот дают всего два раза в день! Нет уж, хватит с меня!

И он решил тотчас уехать к тестю.

Однако Биндьябашини отказалась наотрез. Она сказала, что младший брат может есть рис старшего брата и что младшая невестка может сносить попреки старшей, как-никак это мужнина родня. Но жить за счет тестя — позорно!

Биндьябашини могла смиренно жить у свекрови, но в доме отца ей хотелось ходить с высоко поднятой головой. не роняя своего достоинства.

В это время в деревенской начальной школе освободилась должность третьего учителя. Дада и Биндьябашини вдвоем принялись уговаривать Онатхбондху не отказываться от этого места. Но результат получился совсем не тот, какого они ожидали. Когда Онатх услышал, что его собственный брат и законная жена считают такую ничтожную работу для него вполне подходящей, им овладело дикое упрямство. Если так, то ему вообще наплевать на любую работу в мире!

На этот раз его пришлось успокаивать дольше, чем обычно. В конце концов все сошлись на том, что разговаривать с ним бесполезно и самое лучшее для семьи — оставить его в покое: пусть живет как знает!

Отпуск кончился, и дада вернулся на службу. Шемашонкори чуть не лопалась от злости и готовила новые каверзы. И как раз тогда Онатхбондху пришел к жене и заявил:

— В наше время, если не съездишь за границу, никакой приличной работы не получишь. Так что я решил поехать в Англию. Придумай что-нибудь. Надо раздобыть у твоего отца денег.

Желание Онатха уехать поразило Биндью, как удар грома. К тому же она не могла и представить, как она

будет просить у отца денег! От одной только мысли об этом ей становилось стыдно!

Самолюбие тоже не позволяло Онатхбондху самому просить денег у тестя, но он был уверен, что дочь наверняка сможет вытянуть их у отца с помощью какой-нибудь уловки. Поэтому он без конца приставал к жене, заставляя ее страдать и лить слезы.

Так шло время в заботах и в душевных переживаниях. Приближались осенние праздники. Раджкумар-бабу торжественно пригласил к себе зятя и дочь и прислал за ними великолепный экипаж.

Теперь все в доме ухаживали за зятем куда больше, чем тогда за богатым родственником Биндьябашини могла, наконец, снять покрывало и смотреть домашним прямо в глаза. Непрерывные заботы родных и предпраздничная суета наполнили ее радостным волнением.

И вот настал шестой день месяца ашшина — канун праздника пуджа. Близкие и дальние родственники занимали все комнаты, но на этот раз, в знак особого почета, мать поместила зятя не в его прежней комнате, а в своей собственной спальне.

Биндья не слышала, когда Онатхбондху лег: она к тому времени уже крепко спала. А едва забрезжил рассвет,— в доме зазвучали флейты. Однако музыка не разбудила уставшую после вчерашнего дня Биндьябашини. Две подруги Биндьи, Комола и Бхубона, тщетно ждали, когда же она проснется, и в конце концов принялись громко хохотать за ее дверью. Биндья открыла глаза и увидела, что муж уже ушел Вот соня — она даже и не заметила! Застыдившись, она проворно соскочила с постели .. Но что это? Сундук матери раскрыт... Шкатулка с деньгами исчезла...

Биндья вспомнила, что вечером у матери пропала связка ключей, из-за чего поднялась сумахота во всем доме. Значит, этот же вор украл и деньги! Внезапно ей стало страшно — а вдруг вор что-нибудь сделал с Онатхом! Сердце Биндьи сжалось. И тут она увидела возле ножки кровати письмо, а на письме — пропавшие ключи. Надпись на конверте была сделана почерком ее мужа. Биндья поспешно схватила письмо и развернула.

С помощью одного друга, писал Онатхбондху, он набрал денег для билета на пароход, но не знал, на какие средства он будет жить в Англии. Он не мог ничего

придумать, а потому вчера ночью взял деньги тестя, спустился по деревянной лестнице с балкона во внутренний дворик, перелез через стену и скрылся. Его пароход уходит сегодня рано утром...

Кровь стыла в жилах Биндьябашини, пока она читала это письмо. Дочитав, она опустилась на пол, схватившись за ножку кровати. В ушах у нее стоял звон, словно цикады звенели в безмолвной, беспросветной ночи. А со двора, из соседнего дома, из далеких зданий — отовсюду доносились веселые громкие звуки флейты: ликующая Бенгалия встречала пуджу! И любопытный, игривый лучик осеннего солнца танцевал в опустевшей спальне.

Тем временем Бхубона и Комола, видя, что дверь, несмотря на поздний час, все еще закрыта, начали громко подшучивать над Биндьябашини и стучать. Никакого ответа не последовало. Тогда, обеспокоившись, они стали звать подругу:

— Бинди! Бинди!

Биндьябашини ответила сдавленным голосом:

— Не ждите меня! Я потом приду...

Подруги решили, что Биндья заболела, и позвали мать.

— Что случилось, дочка, почему ты не открываешь дверь? — спросила мать.

— Позови отца! — ответила Биндья, сдерживая слезы. — Позови отца и сама приходи вместе с ним...

Не зная, что и думать, мать немедленно привела Раджкумара. Биндья впустила их в комнату и тут же снова заперла дверь.

Она упала к ногам отца, задыхаясь от слез и чувствуя, что сердце ее разрывается на части.

— Отец, прости меня! — воскликнула Биндья. — Я украла деньги из твоего сундука!

Мать от изумления села на кровать.

— Я сделала это, чтобы отправить мужа в Англию,— продолжала Биндьябашини.

— Но почему ты просто не попросила денег? — спросил отец.

— Потому что вы не дали бы ему уехать.

Раджкумар-бабу был разгневан, мать плакала, дочь рыдала, а в это время во всех уголках Калькутты звучала разноголосая веселая музыка праздника пуджа.

В этот день стали прахом под ногами знакомых и незнакомых честь супруги и дочери, достоинство Биндьябашини. Заранее все обдумав, Онатхбондху украл, как мошенник, ключи, а ночью украл деньги и сбежал за границу. И Биндья ему помогала! За это ее клеймили позором все родственники Раджкумара-бабу, заполнившие дом. Подробности им сообщили Бхубона, Комола и прочие родичи или соседи и служанки, которые все подслушали, стоя у запертой двери. Вполне естественно! Когда взволнованные хозяева дома побежали в комнату зятя, это не могло не возбудить всеобщего любопытства.

Теперь Биндьябашини не показывалась на людях. Она лежала в запертой комнате и не хотела ни есть, ни пить. Но никто ее не жалел. Все были поражены коварством заговорщицы и толковали о том, как ловко скрывала она подлинный свой характер.

Так прошел праздник пуджа в грустном доме Раджкумара-бабу.

III

Подавленная горем и стыдом, Биндьябашини вернулась к свекрови. Общая беда сроднила вдову, опечаленную отъездом сына, и жену, разлученную с мужем. Они сблизились еще больше и теперь, погруженные в свое горе, безропотно исполняли самую тяжелую и самую грязную работу по хозяйству. Но насколько близка стала Биндье свекровь, настолько же далеки ей стали калькуттские родственники.

«У свекрови нет ничего, и у меня тоже,— думала Биндья. — Мы одним горем связаны. А родители так богаты, что им нашей беды не понять!»

Дело было, конечно, не только в том, что Биндья жила очень бедно по сравнению со своими родителями. С тех пор как она взяла на себя вину за кражу, они не могли относиться к ней по-прежнему. Такое испытание выдержит не всякая любовь!

Что же касается Онатхбондху, то сначала он писал жене из-за границы довольно регулярно. Но постепенно письма стали приходить все реже, и в них начало все явственнее проскальзывать пренебрежение к Биндье. Его способностями, его внешностью и умом восхищались многие английские девушки, которые по образованию и

уму, по достоинствам и внешности намного превосходили его необразованную, вечно занятую хозяйством жену. Не удивительно, что Онатхбондху вскоре еще более утвердился в мысли, что смуглая, закутанная в скромное сари супруга — ему не пара.

Но когда украденные деньги стали подходить к концу, он без колебаний послал телеграмму своей недостойной бенгальской жене. Оставив себе только пару стеклянных браслетов, Биндья продавала свои украшения и высылала ему деньги. Самые дорогие ее украшения остались в отцовском доме, потому что деревню нельзя было считать подходящим местом для хранения ценностей. Под предлогом того, что ее приглашают то те, то другие родственники мужа, Биндьябашини забирала эти украшения из родительского дома одно за другим. В конце концов она распродала все, вплоть до серебряных запястий, бенаресского сари и шали, и написала мужу подробное письмо, в котором многие строки расползлись от слез, капавших на бумагу. В этом письме она смиренно молила его вернуться домой.

Получив к тому времени диплом адвоката, чисто выбритый, коротко остриженный, одетый в пиджак и брючки в обтяжку, Онатхбондху действительно вернулся, но остановился в отеле. В родительском доме он жить не мог: во-первых, это неподходящее место для постоянного жительства, а во-вторых, человеку, потерявшему касту, в деревне вообще нечего делать. Что же до семьи тестя, то она состояла из слишком правоверных индусов, и они не могли принять к себе человека, утратившего касту.

Вскоре, однако, недостаток средств вынудил Онатхбондху перебраться из отеля в более скромное жилье. Но жену он и сюда не допускал. После возвращения из-за границы он виделся с матерью и женой всего раза два-три днем и больше встречаться с ними не желал.

Двум огорченным женщинам оставалось одно утешение: Онатхбондху вернулся в родные края и живет теперь недалеко от своих близких. Вместе с тем слава Онатха, которого они считали выдающимся адвокатом, была предметом их безграничной гордости. Биндьябашини опять стала считать себя недостойной женой знаменитого мужа, еще больше увеличивая этим самомнение Онатха.

Душа Биндьи страдала, но гордость была удовлетворена. Она терпеть не могла иностранных манер, однако, глядя на своего мужа, часто думала: «Сейчас почти все стали носить европейское платье. Только оно никому не идет. А мой Онатбондху — вылитый чужеземный сахиб! Даже не скажешь, что он бенгалец!»

Когда деньги Онатхбондху стали подходить к концу, когда он убедился, что в этой проклятой Индии совсем не ценят истинного таланта и что его коллеги из зависти мешают его успехам, когда мясо в его меню уступило место вегетарианским блюдам, а жареная курица была вытеснена вареным рисом; когда блеск его костюмов и горделивое сияние чисто выбритого лица заметно потускнели, а туго натянутые струны на лютне его жизни вместо самых высоких тонов начали издавать лишь жалобные звуки,— тогда в семье Раджкумара-бабу произошло непоправимое несчастье и разом изменило весь ход жизни Онатхбондху, окончательно зашедшего в тупик. Погиб единственный сын Раджкумара-бабу — Хоркумар. Он возвращался на лодке от дяди, который жил на берегу Ганга; лодка столкнулась с пароходом, и Хоркумар, его жена и сын утонули.

У Раджкумара-бабу теперь осталась только дочь Биндьябашини.

Когда Раджкумар пришел немного в себя после этого страшного потрясения, он навестил Онатхбондху и обратился к нему с просьбой:

— Бабу, тебе нужно совершить покаяние и вернуться в касту. Кроме вас, у меня никого не осталось.

Онатхбондху с восторгом принял это предложение. Он прежде всего подумал, что теперь-то он отомстит тем туземным адвокатам, которые завидуют ему и не питают должного почтения к его исключительным интеллектуальным способностям.

Раджкумар-бабу посоветовался с пандитами. Они ответили, что если Онатхбондху не употреблял в пищу мясо коровы, то есть возможность вновь принять его в касту.

Хотя мясо запретного четвероногого отнюдь не было исключено из числа любимых блюд Онатхбондху, он без колебаний заявил, что ни разу не совершил этого святотатства. Близким же друзьям он объяснил:

— Если обществу угодно выслушать ложь, почему бы мне не подчиниться? Я не вижу в такой лжи ничего

плохого. Наше общество требует, чтобы язык человека, который ел коровье мясо, был очищен двумя отвратительными вещами — коровьим навозом и лживыми словами. Зачем же мне нарушать эти правила?

И вскоре был назначен день, благоприятный для церемонии возвращения в касту. К тому времени Онатхбондху не только сменил европейский костюм на дхоти и чадор, но вскоре стал чернить европейцев и во всем обелять индусов, ловко подбирая различные доводы и афоризмы. Всем это весьма пришлось по душе. И любящее, нежное сердце Биндьябашини вновь расцвело от гордости и счастья. Она говорила себе: «Те, кто побывает за границей, возвращаются настоящими европейцами — в них и не узнаешь бенгальцев. А вот моего мужа это ни капельки не затронуло! Наоборот, он теперь еще больше привержен к индуизму, чем прежде».

В назначенный день брахманы и пандиты наполнили дом Раджкумара-бабу. Он не жалел денег: были приготовлены угощение, подарки, в общем все, как полагается.

Не было конца торжественным приготовлениям и на женской половине. Во всех двориках и покоях кипела жизнь; все были заняты — одни готовили пищу, другие ухаживали за приглашенными. Возбужденное личико Биндьябашини сияло от радости среди всего этого шума и суеты, как белое облачко, освещенное лучами осеннего солнца. Сегодня в центре всех земных дел — ее муж! Сегодня вся Бенгалия превратилась в сцену, занавес поднялся, и перед изумленными зрителями показался главный, единственный герой — Онатхбондху! Он приехал из Англии и сегодня возвращается в общину индусов, приумножая тем самым славу всего индуизма. Блеск этой славы тысячами лучей озаряет всю страну и отражается на любящем личике Биндьябашини. Далеко позади остались все крупные и мелкие невзгоды ее горькой жизни! Сегодня, на глазах у всех родственников в переполненном гостями родительском доме, она с поднятой головой приближается к подножью славы. Сегодня величие мужа сделало и его недостойную жену предметом всеобщего уважения.

Итак, церемония свершилась. Онатхбондху приняли в касту. Приглашенные брахманы и гости сели с ним за один стол и с аппетитом принялись за угощение.

После трапезы родственницы вызвали зятя на женскую половину дома, чтобы посмотреть на него. Онатхбондху поднялся, непринужденно жуя бетель, и с самодовольной улыбкой на устах, ленивой, медлительной походкой направился к ним, волоча чадор по полу.

Брахманам начали готовить подарки — дакшины, а они, усевшись в гостиной, принялись крикливо доказывать свою ученость. Раджкумар-бабу пришел посидеть с пандитами и немножко отдохнуть. Он прислушивался к их спору о своде религиозных законов индуистов, когда к нему подошел привратник и подал визитную карточку.

— Пришла какая-то мэм-сахиб[1],— сказал он на хинди.

Раджкумар-бабу удивился.

Долго и внимательно смотрел он на карточку, но никак не мог уловить смысла. В это время только что приехавшая англичанка сама вошла в гостиную. Краснощекая, рыжеволосая, голубоглазая, белая, как молоко, и изящная, как газель,— она остановилась посреди комнаты, всматриваясь в окружающих и не находя столь знакомого и дорогого ей лица.

При виде мэм-сахиб пандиты разом смолкли, прекратив спор. В гостиной воцарилась зловещая тишина. И тут все той же ленивой, медлительной походкой, волоча чадор по полу, на сцену вновь вышел Онатхбондху.

Англичанка мгновенно подбежала к нему, крепко обняла и запечатлела на его красных от бетеля губах звонкий супружеский поцелуй.

В тот день пандиты больше не спорили.

1894

---

[1] Мэм-сахиб — госпожа-англичанка.



Судья

I

Человек, у которого после долгих скитаний Кхирода нашла убежище, бросил ее, как негодную тряпку.

Мысль о том, что ей снова придется ради куска хлеба и крова над головой искать нового покровителя, вызывала у Кхироды глубокое отвращение. Она была уже не молода.

С уходом молодости в жизни наступает прекрасная пора, подобная солнечной осени, — спокойная и глубокая. В эту пору созревает нива жизни и поспевают плоды. Весеннее сумасбродство юности становится тогда неуместным. Мы словно завершаем создание своего земного дома. В эту пору все пережитое — хорошее и плохое, радостное и горестное — изменяет наше сознание. Мы отказываемся от заблуждений волшебного мира грез и устраиваем жизнь так, как это позволяют наши ограниченные возможности. Манящий взгляд новой возлюбленной уже не влечет нас, и мы начинаем больше ценить старые привязанности. Свежесть юности тогда уже блекнет, а нестареющая душа человека после долгой совместной жизни все яснее проступает в выражении лица и глаз. Голос, улыбка, взгляд — все начинает соответствовать внутренней природе человека. Мы расстаемся с надеждами на то, чего так и не достигли, перестаем горевать о тех, кто нас покинул, прощаем тем, кто нас обманул. И тогда мы отдаем наше сердце тому, кто приблизился к нам, кто полюбил нас, кто остался верным после всех жизненных бурь и горьких разлук. И мы

чувствуем удовлетворение и покой, когда остаемся в милом кругу давно испытанных, верных друзей. И горе тем, кто вынужден в эти мягкие сумерки жизни тщетно гнаться за новыми привязанностями и приобретениями, у кого не приготовлено ложе для отдыха, для кого не зажжен свет, когда вечером он возвращается домой.

Когда Кхирода, проснувшись утром, обнаружила, что ее любовник сбежал, прихватив заодно все ее украшения и деньги, и что ей теперь нечем уплатить за квартиру, не на что даже купить молока для трехлетнего сына; когда она подумала, что ей уже тридцать восем лет, у нее нет на свете ни одной близкой души и она не может даже умереть в своей семье; когда она представила себе, что сегодня ей снова придется, вытерев слезы, накрасить ресницы, губы и щеки и, скрывая всеми уловками свой возраст, весело улыбаться и с бесконечным терпением плести сети иллюзий для уловления сердец, — тогда она заперла дверь и, рухнув на землю, забилась головой о пол.

Весь день она ничего не ела и лежала как мертвая. Наступил вечер. В комнате стало темно. Случайно забрел к ней один из ее прежних любовников и постучал в дверь.

— Кхиро! — позвал он. — Открой мне, Кхиро!

Женщина распахнула дверь и, рыча, как тигрица, выскочила на улицу с метлой в руках. Любвеобильный юнец поспешил ретироваться.

Но шум разбудил мальчика, который, проплакав весь день от голода, заснул было на своей кроватке.

— Мама! — закричал он пронзительно. — Ма, ма!

Тогда Кхирода схватила горько плакавшего ребенка, крепко прижала его к груди, выбежала на улицу и бросилась в колодец.

На шум сбежались соседи с фонарями. Кхироду и ребенка вытащили быстро. Мать была без сознания, но мальчик уже умер.

В больнице врачи вылечили Кхироду. А когда он встала на ноги, судья привлек ее к ответственности за убийство ребенка.

II

Судья Мохитмохон Датт был видным правительственным чиновником. Он вел судебное разбирательство по всей строгости закона, и Кхироду приговорили к повешению.

Напрасно адвокаты говорили о горестном положении несчастной и пытались ее спасти, — они ничего не добились. Судья не нашел никаких оснований для снисхождения.

На это у судьи были свои причины. Он называл индусских женщин богинями, но в душе им не доверял. Он полагал, что все они склонны к нарушению семейных уз.

Стоит только ослабить за ними надзор — и в обществе не останется ни одной порядочной женщины.

Такое убеждение сложилось у судьи не случайно. Чтобы понять, почему он так думал, нам придется вернуться к некоторым событиям его юности.

Мохитмохон Датт, студент второго курса колледжа, был в то время совсем иным Теперь спереди у него блестит лысина, а его затылок украшает тики[1]. Острая бритва каждое утро уничтожает всякие следы растительности на лице. А тогда... Золотые очки, бородка, усы и европейская прическа делали его похожим на бога Картика в издании XIX века. Он тщательно следил за своей внешностью, не питал отвращения ни к вину, ни к мясу и обладал еще кое-какими слабостями.

Неподалеку от его дома жило семейство, в котором томилась вдова по имени Хемшоши, совсем молоденькая, лет четырнадцати — пятнадцати.

Синеющие берега, пока не попадешь на них, кажутся с моря сказочными и прекрасными. Вдовство держало Хемшоши вдали от реального мира, и потому он казался ей полным сказочных тайн и веселья дворцом, расположенным на далеком берегу. Она не знала, что механизм этого мира жесток и сложен, что счастье в нем перемешано с горем, сомнениями и опасностями, отравлено горечью и отчаяньем. Жизнь представлялась ей легкой, как прозрачный журчащий поток, а дороги мира — широкими и прямыми. Ей казалось, что счастье обитало только там, за ее окнами, а здесь, в ее нежном и пылком сердце, теснятся одни лишь неудовлетворенные желания. Свежий ветерок юности веял тогда в просторах ее души и наполнял всю вселенную переливами радуги весенней красоты. Сердце ее вольно билось под высокой

---

[1] Тики — пучок волос на затылке у брахманов.

лазурью небес, и мир раскрывался в благоухании ее души, как нежные лепестки красного лотоса.

Ее семья состояла из отца, матери и двух младших братьев. Братья, позавтракав, уходили с утра в школу, потом возвращались, обедали и снова уходили повторять уроки в вечерние классы. Отец на свое скромное жалованье не мог взять для них репетитора.

В свободное время Хем любила сидеть в одиночестве в своей комнатке. Она жадно разглядывала прохожих, сновавших по тротуару, прислушивалась к звонким голосам уличных торговцев, и ей казалось, что все люди счастливы. Она думала, что нищие — это просто вольные птицы, а уличные торговцы — лишь актеры, мелькающие на радостной сцене жизни, которым не нужно в поте лица зарабатывать себе на пропитание.

По нескольку раз в день она видела, как под окном проходил, высокомерно выпятив грудь, одетый с иголочки Мохит. Он ей казался похожим на великого Индру[1], самым счастливым и самым лучшим из всех мужчин. Ей грезилось, что этот гордый, прекрасно одетый юноша обладает всем, что только можно пожелать. Мысленно она обожествляла Мохита, украшая его всевозможными добродетелями, и забавлялась этим, как маленькая девочка, играющая с куклой.

Как-то вечером она увидела, что окна в доме Мохита ярко освещены. Оттуда доносился звон браслетов танцовщиц и голоса певиц. Всю ночь она не спала, смотрела жадными глазами на движущиеся тени в доме напротив, и сердце ее ныло и трепетало в груди, как птица в клетке.

Она не осуждала свое божество. Как бабочки летят на огонь, принимая его за свет звезд, так и Хем принимала ярко освещенные окна квартиры Мохита, откуда доносились зовущие к наслаждениям музыка и пение, за райскую обитель. Бодрствуя в ночной темноте, она создавала из света, теней, собственных желаний и грез какое-то волшебное царство. На трон она возвела своего кумира и взирала на него с изумлением и восторгом. Она сжигала на углях своих желаний жизнь и молодость, настоящее и грядущее, счастье и горе, словно на жертвенном огне. Поклоняясь своему божеству в тихом

---

[1] Индра — повелитель богов в индийской мифологии; бог бури и грома.

храме своей души, она не знала, что в особняке напротив среди вихря развлечений и веселья царит безмерная усталость, пресыщенность, грязь нечистых желаний и губительный порок.

Юная вдова не могла разглядеть издалека, что в такие бессонные, залитые огнями ночи ведется смертельная игра и звучит жестокий, неискренний смех.

Хем могла бы всю жизнь провести в одиночестве у окна, мечтая об этом иллюзорном царстве и своем божестве. Но, к несчастью, божество смилостивилось и небо стало снижаться. Соприкоснувшись с землей, небо исчезло; но с ним погибла и та, которая так долго создавала его в своих мечтах.

Я не вижу необходимости подробно рассказывать о том, как жадный взор Мохита приметил эту мечтательную девочку у окна, как он слал ей письма с фальшивой подписью Бинодчондро, как получил, наконец, робкое и взволнованное ответное послание, полное взбудораженных чувств и орфографических ошибок, и какая вслед за этим поднялась буря внутренней борьбы: восхищения и застенчивости, надежд и опасений, сомнений и страха. Весь мир закружился вокруг Хемшоши, опьяненной губительным счастьем. Мир кружился вокруг нее все быстрее и быстрее, пока не превратился в какую-то бесплотную тень и пока, наконец, оторвавшись от крутящегося колеса жизни, молодая женщина не оказалась внезапно отброшенной далеко в сторону.

Однажды глубокой ночью, оставив отца, мать и братьев, Хемшоши вместе с Мохитом, назвавшим себя Бинодчондро, села в экипаж. Когда идол предстал перед нею во плоти, со всеми своими атрибутами, она чуть не провалилась сквозь землю от стыда и угрызений совести. Не успел экипаж тронуться, как Хем со слезами обняла ноги Мохита и стала упрашивать:

— Умоляю тебя, оставь меня дома, умоляю!

Тогда встревоженный Мохит зажал ей рот, и экипаж помчался.

Словно перед глазами утопающего, проносились перед Хемшоши во мраке закрытого экипажа картины ее жизни: вот отец по утрам дожидается ее к завтраку; вот вернулся из школы ее младший брат, она кормит его, а он доволен и смеется; вот утром она с матерью готовит бетель, а когда наступает вечер, мать ее причесывает.

Она так ярко представляла себе все уголки своего дома, все свои маленькие повседневные дела! Ее тихая уединенная жизнь в скромной семье теперь казалась ей раем... Приготовлять бетель, причесываться, обмахивать отца веером во время еды, выдергивать у него седые волосы, когда он дремлет после обеда по свободным дням, — даже это, даже шалости братьев — все казалось ей таким мирным, таким полным и теперь — увы! — таким далеким счастьем.

Как могла она не понять, что иного счастья, обладая всем этим, и искать было нечего!

Она подумала о том, что теперь во всех домах девушки уже спят. Почему она раньше даже не подозревала, какое это блаженство спать спокойно на своей постели, в своей комнате!

Завтра с утра все женщины без помех займутся своим обычным делом. А где кончится эта бессонная ночь для Шоши, убежавшей из дома?

Когда наступит безрадостное утро и веселые, мирные лучи солнца заиграют бликами на стенах домика на углу в переулке, все будет внезапно открыто. Какой позор! Сколько проклятий обрушится тогда на нее, сколько будет пролито слез!

Сердце Хем разрывалось от боли. Рыдая, она стала умолять Мохита:

— Сейчас еще ночь! Мама и братья еще не проснулись! Отвези меня обратно!

Но божество ничего не хотело слышать! Оно усадило ее в вагон второго класса, наполненный дребезжащим скрипом колес, и увезло туда, где должен был находиться рай.

А еще через некоторое время божество и рай, снова усевшись в вагон второго класса, уехали по другой дороге. И Хем осталась одна, по горло в грязи.

III

Я напомнил лишь об одном эпизоде из прежней жизни Мохитмохона. Чтобы не повторяться, я не стану рассказывать о других.

Сейчас нет никакой нужды перетряхивать все эти старые истории. Ведь вряд ли на свете есть человек,

который помнит прежнего Бинодчондро. А теперешнее поведение Мохита безупречно: он ежедневно совершает религиозные обряды и постоянно изучает шастры, он учит йоге своих детей и строго следит за женщинами, запертыми во внутренних покоях, куда нет доступа даже солнцу, луне и ветру. Когда-то Мохит провинился перед несколькими женщинами, и поэтому теперь он сурово наказывает женщин за малейшие проступки по отношению к обществу.

Через несколько дней после вынесения смертного приговора Кхироде судья, большой любитель покушать, отправился за овощами на тюремный огород. Кроме того, ему хотелось узнать, испытывает ли узница угрызения совести, вспоминая грехи, совершенные ею за свою преступную жизнь.

Мохит вошел в женское отделение тюрьмы и еще издали услышал шум и крики. Войдя в камеру, он увидел, что Кхирода переругивается с надзирательницей. Судья усмехнулся:

«Ну и характер у этих женщин. Даже перед лицом смерти они не упустят возможности поскандалить. Они и в царстве Ямы, наверно, будут браниться с его служителями».

Мохит подумал, что следовало бы вызвать у осужденной раскаяние соответствующими наставлениями и увещеваниями. Но, когда он появился с этой благородной целью перед Кхиродой, она сложила умоляюще руки и жалобно сказала:

— О господин, прошу тебя, скажи ей, пусть вернет мне кольцо!

Надзирательница объяснила, что кольцо было спрятано в волосах Кхироды, — она случайно его заметила и отобрала.

Мохит еще раз мысленно усмехнулся.

«Ей завтра идти на виселицу, а она все еще думает о каких-то кольцах. Видно, для женщин нет ничего дороже побрякушек!»

— А ну, покажи, что там за кольцо, — приказал он надзирательнице.

На одной стороне кольца была миниатюра из слоновой кости — портрет юноши с бородкой и усами. На другой стороне на золоте было выгравировано «Бинодчондро».

Судья вздрогнул, словно коснулся рукой раскаленного угля.

Оторвав взгляд от кольца, он внимательно посмотрел на Кхироду. Мохит вспомнил нежное, влюбленное и стыдливое личико, залитое слезами, которое он видел двадцать четыре года назад. Да, несомненно, лицо было то же самое!

Судья Мохитмохон Датт еще раз взглянул на кольцо, и когда потом он медленно поднял голову, падшая женщина, озаренная отблеском маленького кольца, засияла перед ним, как золотое изваяние богини.

1894



Ночью

— Доктор, доктор!

— Опять не дали выспаться, — проворчал я и с трудом открыл глаза. Передо мной стоял наш заминдар — Доккиначорон-бабу.

Я вскочил с постели, пододвинул стул со сломанной спинкой, усадил на него гостя и тревожно посмотрел ему в лицо. Была половина третьего ночи.

Побледневший, с расширенными от ужаса глазами, Доккиначорон проговорил:

— Сегодня ночью опять был припадок. Ваше лекарство никуда не годится.

— А может быть, вы выпили слишком много вина, — смущенно заметил я.

— Разве дело в вине? Вы совершаете большую ошибку, пытаясь поставить диагноз, не зная всей моей истории.

В нише тускло горела керосиновая лампа. Я прибавил огня — стало немного светлее, хотя лампа начала сильно коптить.

Я накинул на себя покрывало, сел на ящик, прикрытый газетой, и приготовился слушать.

Доккиначорон-бабу начал свой рассказ.

— Моя первая жена была прекрасной хозяйкой. Я же в те времена очень мало думал о домашних делах — был молод, увлекался поэзией, в душе у меня звучали строки из поэмы Калидасы:

Хозяйка дома, спутница, подруга,
Милая сердцу ученица, любительница
изящных искусств...

Однако поэзия была явно не для моей жены. В ответ на мои нежные излияния она лишь неудержимо смеялась, и, конечно, все мое лирическое настроение пропадало.

Как слон Индры испугался бурного течения Ганга, так и поэтические вирши и нежные слова замирали у меня на устах от ее смеха. Она обладала удивительной способностью смеяться.

Прошло несколько лет. Я очень серьезно заболел, меня трясла злокачественная лихорадка. Смерть приближалась, надежд на выздоровление было очень мало. Доктора махнули на меня рукой.

Кто-то из родных привел брахмана, он дал мне какой-то толченый корень, размешанный с маслом. Корень ли помог, или такова уж моя судьба — не знаю, но я остался жив.

Пока я болел, жена не знала ни минуты покоя. Слабая женщина, обладавшая скромными человеческими силами, день и ночь яростно боролась со стоявшим на пороге посланцем Ямы. Все силы любви, нежности, заботы она употребляла на то, чтобы, как грудного ребенка, спасти недостойную мою жизнь.

Она не спала, не ела, кроме меня, для нее ничего не существовало.

Как потерпевший неудачу Тигр, Яма выпустил меня из когтей, но, уходя, он успел нанести страшный удар жене. Она была беременна, когда я заболел, и вскоре родила мертвого ребенка. С тех пор у нее началась какая-то странная болезнь.

Когда я ухаживал за ней, она раздражалась.

— Зачем ты это делаешь? — восклицала она. — Что скажут люди?

Ночью, когда у нее бывал сильный жар, я обмахивал ее веером, притворяясь, что делаю это для себя, — она вырывала веер. Всякий раз, когда я, ухаживая за ней, опаздывал хотя бы на десять минут к обеду, начинались упреки, уговоры, просьбы. Любая моя попытка помочь ей вызывала протест.

— Мужчине нельзя быть чрезмерно заботливым, — говорила она.

Вы, я думаю, бывали в нашем боронагорском имении. Дом там, если вы помните, расположен в саду, за которым течет Ганг.

Под окнами спальни, выходящими на юг, жена устроила живую изгородь и разбила маленький цветник. Это был самый скромный и непритязательный участок сада. Там краски не соперничали с ароматами и пышная листва не скрывала цветов. Не было там и цветочных горшков с маленькими побегами и флажками с латинскими надписями. В цветнике преобладали разные сорта жасмина, розы, олеандры, туберозы. Под огромным деревом бокул была сделана скамейка из белого мрамора, которую жена, пока была здорова, заставляла по два раза в день мыть и чистить. Летом, в свободное от домашних дел время, она любила отдыхать на этой скамейке. Оттуда можно было видеть Ганг и в то же время оставаться невидимой для служащих фактории, ездивших на катерах по реке.

Жене надоело все время лежать в постели, и однажды, лунным вечером она предложила:

— Скучно сидеть все время взаперти. Пойдем в мой садик.

Я осторожно довел ее до дерева и помог прилечь на мраморную скамью. Мне очень хотелось положить ее голову к себе на колени. Но она сочла бы это неуместным, поэтому я подложил ей под голову подушку.

С дерева упало несколько распустившихся цветов. Из-за ветвей показалась луна, осветив похудевшее лицо больной. Кругом царило безмолвие.

А я сидел в этом полном ароматов цветов темном уголке сада, смотрел на жену и плакал...

Я сел поближе, взял обеими руками ее худую горячую руку. Она не сопротивлялась.

Сперва я сидел молча. Но сердце мое переполняла нежность, и, не выдержав, я воскликнул:

— Я никогда не забуду твоей любви!

Конечно, надо было промолчать — жена рассмеялась. Ее смех выражал смущение, счастье и сомнение, но больше всего — иронию. Она как бы возражала без слов: «Милый, этого не бывает, я не верю, что ты никогда меня не забудешь».

Я всегда боялся этого дорогого, но ядовитого смеха и не отваживался затевать с женой сентиментальный разговор. Все ласковые слова, которыми была полна моя душа, пока жены не было рядом, становились ненужными в ее присутствии.

Я до сих пор не могу понять, почему фразы, которые заставляют плакать, когда читаешь их в книге, у нее вызывали лишь взрыв смеха.

Возражать можно на слова, но как ответишь на смех? Пришлось промолчать.

Лунный свет стал ярче. Где-то кричал кокиль [1]. «Разве в такую ночь может кукушка остаться глухой к этим крикам?» — думал я.

Несмотря на упорное лечение, жене не становилось легче. Доктор посоветовал испытать, как скажется на здоровье больной перемена климата, и мы уехали в Аллахабад.

Докхиначорон прервал свой рассказ, как-то странно посмотрел на меня и задумался, обхватив голову руками. Замигала керосиновая лампа, явственно послышался писк комара.

Докхиначорон продолжал:

— В Аллахабаде мою жену начал лечить доктор Харан. Но время шло, а ничего не менялось. Наконец, доктор сказал, да и мы с женой давно это поняли, что ее болезнь неизлечима. Она обречена страдать всю свою жизнь.

Однажды жена мне сказала:

— Очевидно, я никогда не поправлюсь и вряд ли скоро умру. Неизвестно, сколько лет придется тебе жить с живым трупом. Женись еще раз.

Она сказала это самым обыкновенным тоном, без какой бы то ни было напыщенности или приподнятости, без малейшего оттенка самопожертвования. Просто она давала хороший, разумный совет.

Настала моя очередь рассмеяться. Но разве я умел делать это так, как она. Я строго и серьезно, словно главный герой романа, заявил:

— Пока в этом теле бьется сердце...

— Хватит, хватит! — протестующе воскликнула жена. — Больше не нужно слов, я не в состоянии их выслушивать.

Но я не хотел признать себя побежденным и продолжал:

— Я никого больше не полюблю в этой жизни.

---

[1] Кокиль — самец кукушки.

Жена громко расхохоталась. Мне пришлось прекратить свои излияния.

Не знаю, признавался я себе тогда в этом или нет — теперь мне ясно: я внутренне устал от необходимости ухаживать за безнадежно больной. Мне никогда в голову не приходила мысль, что я перестану это делать, но было горько сознавать, что так, видимо, придется прожить всю жизнь.

Увы, в юности будущее представлялось мне преисполненным волшебства любви, красоты, веры в счастье. Теперь же передо мной простиралась выжженная, безрадостная, бесконечная пустыня...

Жена, конечно, замечала мое утомление. Теперь я хорошо знаю — тогда я не понимал, что был для нее прост и понятен, как школьник первого класса, еще не приступивший к изучению написания сложных сочетаний букв.

Поэтому она нежно и вместе с тем иронически смеялась, когда я, подобно герою романа, декламировал перед ней свои поэтические измышления. Я умираю от стыда при мысли, что она, словно всеведущий бог, знала обо мне больше, чем я сам.

Доктор Харан был одной с нами касты. Он часто приглашал меня к себе, а вскоре познакомил со своей дочерью. Ей шел пятнадцатый год, но она не была замужем. И доктор жаловался, что никак не найдет подходящего жениха. Правда, от посторонних я слышал, что у девушки что-то не совсем в порядке с происхождением. Но больше никаких недостатков у нее не было, красота же ее равнялась образованности.

Иногда я беседовал с девушкой на различные темы и возвращался домой поздно, пропустив время приема женой лекарств. Она знала, что я бываю в гостях у доктора, но никогда не спрашивала, почему я у него засиживаюсь.

В пустыне возник мираж. Когда уже не было сил терпеть жажду, я вдруг увидел родник, полный чистой журчащей воды. Даже, напрягая всю силу воли, я не смог бы от него оторваться и повернуть обратно.

Комната больной стала еще безотрадней. Я больше не исполнял регулярно своих обязанностей и не следил за приемом лекарств женой.

— Лучше умереть, чем жить без надежды на выздо-

ровление, — не раз говорил Харан-бабу. — Такие больные только сами мучаются и мучают близких

Отвлеченно это было правильно Но разве можно было так говорить о моей жене? Доктора удивительно черствы к своим пациентам, им трудно понять переживания простых смертных.

Как-то раз я был в соседней комнате и случайно услышал разговор жены с Хараном-бабу.

— Моя жизнь превратилась в сплошное страдание,— говорила больная. — Мне нужно такое лекарство, доктор, чтобы я могла умереть и больше не мучиться.

— Разве можно так говорить, — укоризненно возразил доктор.

Острая боль пронизала мое сердце. Как только доктор ушел, я сел на край кровати больной и стал нежно гладить ее лоб.

— Пойди погуляй, в комнате очень душно, а то вечером у тебя опять не будет аппетита, — сказала жена.

Гулять — значило навестить доктора. Я и сам часто говорил, что прогулка перед едой очень полезна.

Теперь я знаю, что она легко разгадала мою хитрость. Глупец, я думал, что она ничего не понимает.

Доккхиначорон умолк. Потом попросил воды. Напившись, он продолжал рассказ:

— Монорама, дочь доктора, захотела навестить мою жену. Мне это почему-то не понравилось. Но возражать было нечего, и однажды вечером она пришла к нам.

Жена чувствовала себя в этот день хуже, чем обычно. Когда ей было совсем плохо, она лежала пластом, и только побелевшее лицо да сжатые кулаки говорили о том, как она страдает.

В комнате больной было тихо. Я сидел у ее изголовья. Бедная женщина не имела сил даже попросить меня пойти погулять. А может быть, она втайне желала, чтобы в трудную минуту я был с ней. Слышалось только тяжелое дыхание больной, старавшейся облегчить свои муки.

Неожиданно на пороге показалась Монорама. Свет от лампы падал на ее лицо, и она, ничего не видя в темной комнате, стояла в нерешительности у порога.

Жена испуганно схватила меня за руку:

— Кто это?! — воскликнула она.

Внезапное появление незнакомого человека напугало больную, она несколько раз невнятно повторила свой вопрос:

— Кто, кто же это?

Я растерялся и пробормотал:

— Не знаю.

Мне показалось, что кто-то стегнул меня хлыстом.

— А, да это дочь нашего доктора, — сказал я только через некоторое время.

Жена взглянула на меня. Я не смел смотреть ей в глаза.

— Войдите, — позвала женщина слабым голосом гостью и прибавила, обращаясь ко мне: — Внеси лампу.

Монорама села около больной. Между ними завязалась беседа. Вскоре пришел доктор. Из своей аптечки он принес два флакона с лекарствами.

Вытащив пузырьки, доктор пояснил:

— Лекарством из голубого флакона вы натирайтесь, а другое принимайте внутрь. Смотрите, не перепутайте, в голубом — сильный яд.

Об этом же он предупредил и меня и поставил флакон на стол у постели жены.

Вскоре доктор простился и позвал дочь.

— Отец, почему бы мне не остаться с больной? — спросила девушка. — Ведь за ней некому присмотреть.

— Нет, нет, пожалуйста не беспокойтесь, — заволновалась моя супруга. — В доме есть старая служанка, она ухаживает за мной, как мать.

— Вы совсем, как Лакшми, всю жизнь заботитесь о других и не можете допустить, чтобы кто-то чужой побеспокоился о вас, — засмеялся доктор и собрался уходить.

— Доктор, муж весь день провел в душной комнате, возьмите его с собой, пусть хоть немного подышит свежим воздухом, — попросила больная.

Харан-бабу поддержал ее:

— Правда, пойдемте с нами, погуляем у реки.

Я сделал протестующий жест, но быстро согласился. Доктор еще раз предупредил жену, чтобы она была осторожна с лекарствами.

По обыкновению, я поужинал у доктора и вернулся домой поздно. Жена металась от боли.

— Тебе стало хуже? — тревожно спросил я.

Она уже не могла говорить и молча смотрела на меня. Начался приступ удушья.

Не теряя времени, я послал за доктором. Он долго не мог понять, в чем дело.

Боли усилились...

— Было ли сделано втирание? — спросил он в раздумье и взял со стола голубой флакон. Он был пуст.

Тогда он обратился к жене:

— Вы по ошибке выпили это лекарство?

Жена утвердительно наклонила голову.

Доктор сейчас же поехал за инструментами — он хотел сделать промывание.

Как подкошенный упал я к ногам больной. Она попыталась успокоить меня, как ребенка, прижала к груди мою голову. Ее руки словно говорили: «Не огорчайся, милый, все будет хорошо, ты будешь счастлив. И я буду счастлива, зная это».

Когда доктор вернулся, жена больше не мучилась. Пришел конец и ее жизни и ее страданиям.

Доккхиначорон выпил еще воды.

— О, как душно, — проговорил он, быстро вышел на веранду и принялся ходить из угла в угол.

Очевидно, ему не хотелось больше говорить. Но я, как гипнотизер, вытягивал из него слова, и он снова начал рассказывать.

— С благословения доктора я женился на Монораме. Мы уехали на мою родину.

Монорама не смеялась, она серьезно слушала мои признания в любви. И я не могу понять, когда и почему она стала не верить мне.

Тем временем я пристрастился к вину.

Однажды, ранней осенью, я и Монорама гуляли в саду, в нашем боронагорском имении. Сгустился мрак. Умолкли птицы в своих гнездах. На темневших по обе стороны дорожки деревьях шелестели листья. Монорама устала и прилегла на знакомую вам мраморную скамейку, положив руки под голову. Я сел рядом.

Под деревом было совсем темно, виднелся только кусочек неба, густо усеянный звездами. Где-то далеко, у подножья деревьев, в спустившейся с неба тишине явственно слышался стрекот цикад, казалось, что кто-то плетет тонкую паутину звуков.

В тот вечер я выпил немного вина и был в слегка приподнятом настроении.

Когда глаза привыкли к темноте, я начал различать смутные очертания усталой женщины, лежавшей на скамье, и расчувствовался. Мне показалось, что это — бесплотная тень и что ее нельзя удержать в руках.

Вдруг как будто пламя охватило ветви деревьев — на небе медленно взошел узкий желтый серп луны и осветил белую скамью и усталую женщину, отдыхавшую на ней.

Я не выдержал — придвинулся поближе и, схватив жену за руку, воскликнул:

— Монорама, ты мне не веришь, но я тебя люблю. Я тебя никогда не забуду!

Какое-то неприятное чувство родилось в душе, лишь только произнес я эти слова, — я вспомнил, что когда-то другой уже их говорил!

В этот миг над деревьями, освещенными желтоватым серпом луны, с восточного берега Ганга на далекий западный берег пронесся взрыв хохота: «Ха-ха-ха!»

Был ли это смех, проникавший до глубины сердца, или леденивший кровь вопль отчаяния — не знаю, но я тут же потерял сознание и свалился со скамьи.

Очнувшись, я увидел себя дома, на постели.

— Что с тобой случилось? — спросила жена.

— А разве ты не слышала страшного смеха? — дрожа, произнес я.

— Никто не смеялся. Просто мимо нас пролетела большая стая птиц. Ты слышал шум их крыльев. Как ты можешь пугаться таких пустяков?

Днем я понимал, что это были птицы. Действительно, в это время года с севера к берегам Ганга слетаются стаи диких гусей. Но по ночам страх вновь одолевал меня. Мне казалось, что надо мной, закрывая темноту неба, собралась огромная стая гусей, которая по самому незначительному поводу готова огласить мир пронзительными криками. Теперь с наступлением вечера я уже не осмеливался разговаривать с Монорамой.

Я оставил дом в Боронагоре, и мы с женой отправились в путешествие по реке. Свежий ветер разогнал страхи.

Несколько дней я был очень счастлив. Красота при-

роды даже как будто заставила приоткрыть давно закрытые двери сердца Монорамы.

Мы проплыли по Гангу и, наконец, достигли Падмы. Грозная Падма была погружена в спячку и напоминала худую, сонную змею. На северном берегу до самого горизонта простиралась безлюдная, лишенная растительности пустыня; слышалось шуршание песков. Деревушки на южном берегу, окруженные манговыми рощами, дрожа, стояли около страшной реки.

Во сне Падма переворачивалась с бока на бок — и тогда в воду с шумом падал отвалившийся кусок берега.

Мне захотелось побродить в этих местах, и я причалил лодку к берегу.

Как-то, гуляя, мы с Монорамой зашли очень далеко. Солнце уже садилось, и свет его золотистых лучей смешивался с холодным сиянием полной луны. Вскоре на небе осталась одна луна, свет ее залил белую пустыню. Мне представилось, что мы идем по какому-то бескрайному, безлюдному лунному царству.

Монорама закуталась в красную шаль, покрывшую ее лицо и фигуру. Когда наступила полная тишина и кругом ничего не было видно, кроме бескрайных белых песков, она высвободила руку и сжала мои пальцы. Прижавшись ко мне, она словно вверила мне себя, свою жизнь и молодость.

Мое сердце переполняла нежность. «В стенах дома никогда по-настоящему не ощутишь любовь», — думал я.

Открытое, свободное, бескрайное небо стало нашей единственной крышей. Казалось, что у нас нет дома, что пали все преграды, что никуда не нужно возвращаться, и мы, взявшись за руки, будем идти и идти по залитой лунным светом пустыне.

Мы забрели довольно далеко и среди песков увидели водоем — его после разлива оставили воды Падмы. По этой окруженной песками, неподвижной, погруженной в глубокий сон воде пролегла неяркая полоса лунного света.

Мы остановились. Монорама смотрела на меня и о чем-то думала. Шаль упала с ее лица. Я нагнулся и поцеловал ее.

Вдруг в безлюдной и бесконечной пустыне кто-то явственно промолвил:

«Кто это! Кто это? Кто же это?»

Мы оба вздрогнули, однако сразу же поняли, что это не человек и не привидение — это кричала водяная птица, бродившая по берегу. Была поздняя ночь, и, услышав около своего уединенного гнезда шум шагов, птица испугалась.

Но и нас тоже охватил страх, мы поспешили к лодке и легли спать. Усталая Монорама сразу же уснула.

Тогда кто-то стал у моего изголовья и, указывая длинным худым пальцем в сторону Монорамы, зашептал мне на ухо:

«Кто это? Кто это? Кто же это?»

Я вскочил и зажег спичкой лампу. Призрак исчез, но в тот же миг, сотрясая полог и раскачивая лодку, в ночной тьме раздался крик. Крик, от которого стынет кровь в жилах и тело покрывается испариной. Этот страшный вопль пересек Падму, пронесся над городами и селами на том берегу. Казалось, что он пролетел над всей страной, промчался над континентами, делаясь все тоньше и тоньше, он стремился куда-то в неведомую даль и, достигнув края этого мира, стал тонким, как кончик иглы...

Я никогда раньше не слышал подобных звуков и даже не представлял себе, что они могут существовать.

В этот момент в моей голове, видимо, умещалось все бескрайное небо, и звук, сколько он ни удалялся, не мог пересечь границ моего мозга...

Дальше терпеть я был не в силах. Я погасил свет — мне казалось, что так будет легче. Но стоило наступить темноте, как сдавленный голос снова начинал твердить:

«Кто это, кто это, кто же это?!»

В лодке, в ночной тишине, ожили мои карманные часы.

Часовая стрелка, указывая на Монораму, приговаривала с циферблата:

«Кто это, кто это, кто же это?!»

Доккхиначорон страшно побледнел, у него перехватило дыхание.

— Выпейте воды, — посоветовал я и коснулся заминдара рукой.

Керосиновая лампа начала сильно мигать и погасла. Оказалось, что на улице уже светло. Где-то кричала

ворона. Запела малиновка. Мимо дома с грохотом проехала телега.

Выражение лица у Докхиначорона совершенно переменилось, не осталось и следа страха. Ему стало неудобно, что под влиянием ночного кошмара он столько наговорил; у него даже родилась какая-то неприязнь ко мне. Не попрощавшись, он резко встал и вышел из комнаты. В тот же день, за полночь, в мою дверь снова постучали:

— Доктор, доктор!

1894



Умиротворение ревности

I

В трехэтажном доме Романатха Шила, на самом верхнем этаже была комната Гирибалы, жены Гопинатха Шила. Перед дверью спальни в цветочных горшках росли жасмин и розы. Площадка на крыше была окружена высокой оградой. В ограде местами были проделаны отверстия, чтобы смотреть на улицу.

На стенах спальни висели гравюры, изображающие одетых и нагих европейских женщин. Когда в большом зеркале, висевшем напротив входной двери, появлялось изображение шестнадцатилетней хозяйки дома, оно вполне выдерживало сравнение с портретами красавиц.

Красота Гирибалы была подобна внезапному лучу света, чуду, неожиданному пробуждению от сна. Она покоряла мгновенно. Когда я увидел Гирибалу, я почувствовал, что не был подготовлен к этому. Она совсем не была похожа на всех тех, кого я так долго видел вокруг себя.

Гирибала сама была взволнована ощущением своей красоты. Молодость и свежая красота переполняли все ее существо, как пена — бокал с вином. Все в ней говорило об этом: ее одежда, украшения, походка, движения рук, изгиб шеи, строптивое постукивание быстрых ножек, браслеты с колокольчиками на руках и ногах, переливистый смех, быстрая речь, пламенные взгляды.

Гирибала была опьянена вином своей юности. Часто можно было видеть, как она, завернув свое прекрасное тело в красивую ткань, возбужденно расхаживает по

крыше. Казалось, что все ее члены танцуют под звуки какой-то неслышной, беззвучной песни. Ей как будто доставляло особое удовольствие принимать различные позы. Казалось, рассылая волны своей красоты, молодая женщина ощущала необычайное возбуждение в своей разгоряченной крови. Она неожиданно срывала с дерева лист и, подняв кверху руку, пускала его по ветру. При этом ее браслеты звенели, край сари развевался, и ее прекрасная рука взлетала, как невиданная птица, выпущенная из клетки и устремившаяся в царство облаков бесконечного неба. Иногда Гирибала вдруг брала из цветочного горшка комок земли и бросала его. Приподнявшись на цыпочки, она через отверстие в ограде кидала быстрый взгляд на большой мир, а потом отворачивалась и отходила, укрываясь краем сари, и связка ее ключей звенела «динь-динь». Часто, подойдя к зеркалу, она распускала волосы и ни с того ни с сего начинала их причесывать. Она перевязывала волосы ленточкой, закусывала эту ленточку жемчужно-белыми зубами, затем, подняв кверху руки, крепко закручивала волосы на затылке. Когда прическа была окончена, дел больше не оставалось. Тогда молодая женщина раскидывалась на мягкой постели, напоминая картину, нарисованную лунным светом. Гирибала не имела детей, и у нее не было никаких забот в этом богатом доме. Оставаясь каждый день в одиночестве, наедине с собой, она в конце концов надоела самой себе.

У нее был муж. Но он не заботился о ней и даже не заметил, что его жена давно вышла из возраста девочки [1].

Когда они еще были детьми, он часто убегал из школы, обманув спящих наставников, и в безлюдный полдень приходил к своей девочке-жене объясняться в любви. Хотя они жили в одном доме, они писали друг другу письма на изящной почтовой бумаге. Он испытывал гордость, показывая эти письма близким школьным друзьям. Ссор между ними никогда не было.

Но вскоре у Гопинатха умер отец, и он сам стал хозяином в доме. Доски, сделанные из молодого дерева, быстро истачивает червяк. Когда Гопинатх в юном возрасте стал самостоятельным, вокруг него появилось много разных людей и постепенно он почти перестал посещать женскую половину дома.

---

[1] В Индии браки заключаются очень рано.

Люди стремятся к главенству, их опьяняет власть над людьми. У Наполеона было велико стремление к распространению своего влияния на бесчисленное количество людей и на мировую историю. Было оно и у маленького хозяина маленькой гостиной. Сплотить вокруг себя с помощью уз дружбы бедных людей, подчинить их своей власти, выслушивать их похвалы, — вот та заветная цель, ради которой люди готовы согласиться на разорение, долговую кабалу, потерю чести.

Гопинатх был в совершенном упоении, оказавшись во главе своих друзей. Он с каждым днем все более и более гордился своей возрастающей популярностью в их кругу. Его знакомые говорили: «Гопинатх пользуется непревзойденным авторитетом у своих друзей». Этот несчастный человек от гордости и похвал совершенно забыл о всех других приятных и неприятных обязанностях и закружился в водовороте.

А тем временем Гирибала заняла место на опустевшем троне в спальне, приняв вид царственного завоевателя, лишенного подданных, на женской половине дома. Она знала, что творец дал ей в руки скипетр и что одним взглядом она может покорить большой мир, который был виден через отверстия в ограде крыши. И все же она была лишена возможности захватить в плен хотя бы одного мужчину из всего мира.

У Гирибалы была ловкая служанка. Ее звали Шудха, или Шудха-мукхи. Она пела, плясала, экспромтом читала стишки, расписывала, расхваливала красоту своей хозяйки, высказывала сожаление по поводу того, что из-за человека, который не умеет ценить красоту, пропадает такая женщина. Гирибала минуты не могла обойтись без Шудхи. Она смущенно выслушивала подробное описание красоты своего лица, достоинств фигуры, похвалы прекрасному цвету кожи. Иногда она перебивала Шудху и в сильном возбуждении долго бранила ее, называя льстивой обманщицей. Тогда служанка сотни раз клялась, приводила доказательства своей искренности, и Гирибале было не так уж трудно поверить ей.

Шудха часто пела своей хозяйке песню «Я поклялся в верности лотосоподобным стопам» [1]. В этой песне Гири-

---

[1] Песня, которую, по индийской мифологии, бог Кришна поет своей возлюбленной, пастушке Радке.

бале слышалась хвала ее собственным безупречным стопам, окрашенным красной краской, и в ее воображении всплывал образ обездоленного раба прекрасной. Но увы! Она расхаживала по крыше, браслеты на ее ногах пели ей хвалу, но ни один потерявший над собой власть поклонник не приходил и не клялся ей в любви.

Ту, которой поклялся в верности Гопинатх, звали Лобонго. Она была актрисой. Она удивительно умела падать в обморок на сцене. Когда, захлебываясь, с притворными слезами в голосе, едва выговаривая, она гнусаво стонала: «О господин моей души! О владыка моей души!» — ряды зрителей, одетых в дхоти, жилеты и чулки, вздыхали: «Изумительно! Прекрасно!»

Прежде Гирибала часто слышала от мужа о поразительном таланте этой актрисы. В то время он еще не совсем охладел к Гирибале, и она не догадывалась о том, что муж разлюбил ее. Однако в душе ее зародилась ревность. Она не могла стерпеть, что какая-то другая женщина обладает достоинствами, которых нет у нее. Гирибала не раз выражала желание сходить в театр, но ей не позволялось делать то, что можно было мужу.

В конце концов она дала деньги Шудхе и отправила ее в театр. Шудха вернулась и, сморщив нос и лоб, прежде всего очистилась от посещения царства артисток, произнеся имя Рамы[1]. Затем она рассказала об их уродливом виде и манерных ужимках, которые зарождают любовь в сердце мужчины. Выслушав ее, Гирибала совсем успокоилась.

Но, когда муж совсем перестал обращать на нее внимание, у нее опять появились сомнения. Когда Гирибала выражала недоверие к словам служанки, Шудха падала к ногам молодой женщины и без конца повторяла, что актрисы уродливы, как обгорелые поленья, завернутые в ткань, и лица их безобразны. Гири не могла ничего противопоставить притягательной силе театра, и гордость ее выдерживала один удар за другим.

Наконец, однажды вечером она тайком пошла в театр вместе с Шудхой. Как сильно всегда стремление к запрещенному! Сердце молодой женщины замирало, и от этого полный света, людей и музыки зал с разукрашенной

---

[1] Рама — герой индийского народного эпоса «Рамаяна»; считается, что повторение его имени очищает от грехов

сценой показался ей в два раза чудеснее. Из своей безлюдной, безрадостной женской половины дома, огражденной глухой стеной, она попала сюда, в этот праздничный, прекрасный мир. Все казалось ей сном.

В тот день давали оперу «Умиротворение ревности». Музыка на мгновение умолкла, и взволнованные зрители затихли. Расположенные впереди лампы вспыхнули ярче, занавес поднялся. Группа красиво одетых женщин танцевала и пела, изображая дев Браджа[1]. Зал время от времени оглашался криками одобрения и аплодисментами. В юном теле Гирибалы забушевали волны крови. При звуках музыки, сиянии света и драгоценностей она забыла обо всем на свете, слушая хор похвал. Ей показалось, что она попала туда, где царствует лишенная оков полная красоты свобода.

Несколько раз к ней подходила Шудха и испуганно шептала на ухо:

— Госпожа, время идти домой. Если господин узнает, нам будет плохо.

Гирибала не слушала ее. Сейчас она ничего не боялась.

Представление было в самом разгаре. Радха была обижена. И в этом море ревности Кришна никак не мог достичь дна. Сколько смирения, покорности, просьб, слез — ничего не помогало! Сердце Гирибалы преисполнилось гордости. Она как будто сама стала Радхой и наслаждалась своей непоколебимой твердостью при виде унижений Кришны. Никто никогда так не ухаживал за ней. Гири была покинутой, заброшенной, пренебрегаемой женой, но она с безграничной самонадеянностью решила, что так же жестоко может заставить плакать. Молодая женщина до сих пор только догадывалась, какой неотразимой силой обладает красота. Сегодня Гирибала ясно увидела это на разукрашенной сцене при блеске света, под звуки песен. Ее голова закружилась от упоения.

Но вот занавес упал, свет газовых ламп потускнел, зрители стали расходиться. Гирибала сидела как зачарованная. Она забыла о том, что надо встать и идти домой. Ей казалось, что представление не кончилось, что

---

[1] Бpадж — по преданию, страна, где провел детство бог Кришна.

опять поднимется занавес, что в мире нет больше ничего, кроме унижений Кришны у ног Радхи.

— Госпожа, что ты делаешь? Встань. Сейчас совсем погаснет свет,— раздался голос Шудхи.

Глубокой ночью Гирибала вернулась в свою спальню. В углу мерцала лампа. В комнате — ни души, ни звука. Над пустой кроватью ветер чуть колебал старый полог от москитов. Повседневный мир Гирибалы предстал перед ней убогим, неинтересным и незначительным. Где же найти это прекрасное, поющее царство, в котором она не будет безвестной, заброшенной, униженной женщиной, где, излучая славу, она сможет блистать, будет в центре внимания? С этих пор она стала ходить в театр каждую неделю. Постепенно первое опьянение прошло. Она разглядела на актерах грим, увидела, что они некрасивы, почувствовала фальшь представления, но ее увлечение не проходило. Когда поднимался занавес, сердце ее трепетало, как у воина при звуках битвы. Есть ли где еще такой призрачный трон для прекрасной всепобеждающей царицы, кроме этого, красивого, нарядного и независимого мира, украшенного золотом, разрисованного картинами, окруженного сверкающей природой огней, мира, чарующего волшебством поэзии и песен, переполненного бесчисленными зрителями, заполняющего интригующими тайнами кулис.

Когда в первый раз Гирибала увидела мужа в театре и увидела его страстные вздохи при появлении какой-го танцовщицы, душа Гирибалы исполнилась презрения к нему. Она с горечью подумала о том, что ее бесполезная красота и ненужная молодость приобретут смысл лишь тогда, когда муж, очарованный ее красотой, упадет к ее ногам, словно мотылек с обгоревшими крыльями, а она гордо удалится, излучая презрение.

Но когда настанет этот блистательный день? Теперь Гопинатха даже увидеть трудно. Гонимый ветром своего безрассудства, он закружился, словно чаинка в стакане воды, и отправился создавать какой-то кружок, но куда — неизвестно.

Однажды в месяце чойтро[1], в ночь весеннего полнолуния, Гирибала сидела на крыше. Южный ветерок раз-

[1] Чойтро — двенадцатый месяц индийского календаря, соответствует марту — апрелю.

дувал ее оранжевое сари. Хоть муж и не являлся домой, Гири с затаенной надеждой каждый день одевала новые украшения. Жемчужные и алмазные драгоценности дрожали и переливались на ней, распространяя вокруг нее блеск и мелодичный звон. На руки она одела браслеты, на шею — ожерелье из рубинов и алмазов. Голубое колечко сверкало на мизинце левой руки. Шудха сидела у ее ног, поглаживая время от времени ее прекрасные нежные ступни, окрашенные красной краской, и говорила, непритворно вздыхая:

— Ах, госпожа, если бы я была мужчиной, я умерла бы, прижимая к груди эти ножки.

— Я думаю, пришлось бы умереть, не прижимая к груди мои ноги, — с гордым смехом отвечала Гирибала. — Разве я бы позволила это? Ну, хватит! Спой лучше песню.

На пустынной крыше, залитой лунным светом, зазвучали слова:

Я поклялся в верности лотосоногой
Пусть все подружки придут в Бриндабан[1].

Было десять часов вечера. В доме все уже отправились спать. Вдруг, распространяя запах духов, стремительно ворвался Гопинатх. Шудха прикусила язык, натянула на голову покрывало и убежала со всех ног.

Гирибала решила, что настал ее день. Она отвернулась и не смотрела на Гопинатха. Как и Радха, она стояла, не двигаясь, надменная до крайности. Но занавес не поднялся, павлинье перо на голове Кришны не склонилось к ее ногам, и никто не запел:

Зачем ты прячешь лунный лик, омрачая ночь полнолуния.

Вместо этого Гопинатх произнес прозаическим, равнодушным голосом:

— Дай-ка ключи.

Таковы были его слова после стольких дней разлуки, весной, при лунном сиянии! Все, что пишут в стихах, драмах, романах, — ложь от начала до конца. На сцене валяются в ногах, распевая любовные песни, сердца зрителей размягчаются при виде этого, а один из тех же зрителей, явившись в лунную ночь на крышу, заяв-

---

[1] Бриндабан — лес, в котором, по преданию, Кришна водил хороводы с пастушками.

ляет своей юной красавице жене: «Ну-ка, давай ключи!» Тут не было ни музыки, ни любви, ни лести, ни нежности, лишь полное равнодушие!

В это время прошелестел ветерок с юга, словно тяжкий вздох всех униженных, пронзенных в самое сердце поэзией. По крыше разлился аромат роз, стоявших в вазонах. Рассыпавшиеся локоны Гирибалы разметались по лицу, упали на глаза. Ее оранжевое благоухающее сари нетерпеливо затрепетало на ветру. Гирибала забыла о гордости. Она взяла мужа за руку и сказала:

— Я дам ключи, только ты зайди в комнату.

Теперь она будет плакать и заставит плакать его. Она твердо решила, что выполнит свой взлелеянный в одиночестве замысел и победит, пустив в ход неотразимое оружие.

— Я не могу долго задерживаться,— ответил Гопинатх. — Давай ключи.

— Я отдам ключи и все, что они означают. Но сегодня вечером ты никуда не уйдешь.

— Ничего не выйдет. Мне совершенно необходимо уйти.

— Тогда я не отдам ключи.

— Не отдашь, вот как? Посмотрим, как это ты не отдашь.

С этими словами Гопинатх взглянул на край ее сари и увидел, что ключей там нет. Он вошел в комнату, открыл ящики туалетного стола, но ключей не обнаружил и там. Тогда молодой человек взломал ящичек с принадлежностями для причесывания. Но там была лишь краска для бровей и ресниц, коробочка с киноварью да ленточка для волос. Он перерыл постель, поднял матрац, разгромил шифоньерку,— ключей нигде не было.

Гирибала, как каменное изваяние, застыла у двери. После напрасных усилий Гопинатх в ярости подступил к ней и прошипел:

— Давай ключи, а то худо будет!

Гирибала даже не ответила. Тогда муж сорвал с нее браслеты и ожерелье, кольцо с пальца и стал бить ее палкой.

В доме никто не проснулся, никто из соседей ничего не узнал, лунная ночь была так же безмолвна, как и прежде. Но если бы эта ночь услышала крики, разда-

вавшиеся в комнате, она раскололась бы на тысячу кусков, испустив громкий стон. В полной тишине совершалось это страшное избиение.

Но и эта ночь прошла. Гирибала не могла рассказать даже Шудхе о таком позоре, таком оскорблении. Она хотела совершить самоубийство, собственными руками погубить свою молодость и бесподобную красоту, чтобы отомстить за унижение. Но тотчас же подумала о том, что никто и не заметит ее мести. На этой земле никому нет дела до чужих бед. В жизни нет счастья, а в смерти нет успокоения.

Гирибала объявила, что уходит в дом отца. Отец ее жил далеко от Калькутты, но она, не обращая внимания на общие протесты, уехала, никого не взяв с собой. Гопинатха в это время не было. Он с компанией отправился на несколько дней в лодке неизвестно куда.

II

Гопинатх ходил почти на каждое представление музыкальной драмы «Монорома», в которой Лобонго исполняла заглавную роль. Сидя со своей компанией в первом ряду, Гопинатх громко кричал «браво!» и бросал на сцену букеты. Мало-помалу его постоянные крики стали раздражать зрителей. Но дирекция театра не решалась запретить ему это.

Но как-то пьяный Гопинатх проник за кулисы и устроил там скандал. По какому-то незначительному поводу он счел себя оскорбленным и сильно избил одну из танцовщиц. Весь театр был взбудоражен ее воплями и руганью Гопинатха.

В тот день директор театра не выдержал, и полиция вывела молодого человека.

Гопинатх твердо решил отомстить. За месяц до праздника пуджа с большим шумом было объявлено о возобновлении спектакля «Монорома» в новой постановке. Вся Калькутта покрылась объявлениями. На город словно надели намавали[1] с напечатанным большими буквами именем знаменитого автора драмы.

---

[1] Намавали — верхняя одежда, расписанная именами божества.

Гопинатх как раз в это время забрал Лобонго, которая должна была играть главную роль в этом спектакле, и отправился путешествовать на лодке. Куда он исчез — никак не могли узнать. Директор театра был в отчаянье. Долго ждали Лобонго, но в конце концов были вынуждены пригласить на роль Моноромы новую актрису. Из-за этого время премьеры отодвинулось.

Все желающие не могли попасть в театр. Сотни людей уходили ни с чем. Газеты, захлебываясь, расхваливали новую исполнительницу.

Эти похвалы достигли ушей Гопинатха. Он не мог выдержать и с любопытством и завистью приехал посмотреть спектакль.

Содержание пьесы было следующее. В первом действии нищенски одетая Монорома находится в доме свекра на положении служанки. Закутанная в покрывало, согнувшись и съежившись, она выполняет свою работу. Она ничего не говорит, и лица ее не видно.

В последнем действии муж Моноромы отсылает ее в дом отца и собирается жениться на единственной дочери одного миллионера. Когда после свадьбы в брачной комнате муж видит свою жену, он обнаруживает, что это его Монорома. Но теперь она не в одежде служанки, она одета, как принцесса. Украшенная драгоценностями, безупречно красивая, она излучает сияние. В детстве Монорома была похищена из богатого родительского дома и выросла в бедности. Лишь недавно, через много лет, отец нашел ее, забрал домой и с новым великолепием снова выдал замуж за ее прежнего мужа. После этого в брачной комнате настала очередь мужа вымаливать прощение у жены.

Но в этот момент среди зрителей поднялся шум. До тех пор пока Монорома была в грязной одежде служанки, закутанная в покрывало, Гопинатх сидел тихо. Но когда она появилась одетая в красные брачные одежды, сверкая драгоценностями, с откинутым с лица покрывалом, излучая сияние красоты, когда она с невиданной гордостью подняла голову и метнула быстрый пренебрежительный взгляд, подобный вспышке молнии, на зрителей и особенно на Гопинатха, сидевшего в первом ряду, когда театр задрожал от громовых аплодисментов потрясенных зрителей, тогда Гопинатх с криком: «Гирибала!

это Гирибала!», побежал к сцене и попытался вскочить на нее, но музыканты удержали его.

Зрители были страшно разгневаны его выходкой. По-английски и по-бенгальски раздались крики: «Уберите его! Выведите его вон!»

— Я убью ее! Убью! — кричал Гопинатх срывающимся голосом.

Явились полицейские, схватили и вывели Гопинатха.

А зрители со всей Калькутты, затаив дыхание, продолжали наблюдать прекрасную игру Гирибалы. Гопинатха среди них уже не было.

1895



Бабу из Нойонджора

I

Некогда род заминдаров из Нойонджора славился своей знатностью. В те времена прослыть благородным было нелегко. Чтобы стать бабу, надлежало совершить трудный обряд аскетизма, на что требовалось немало усилий, пожалуй ничуть не меньше, чем в наши дни для сбора рекомендаций, устройства пиров и танцев ради достижения титула райбахадура.

Утонченные бабу из Нойонджора не выносили жесткие цветные шарфы из местной ткани и надевали обычно даккский муслин. Они способны были выбросить сотни тысяч рупий на свадьбу любимой кошечки и, говорят, однажды по случаю какого-то праздника зажгли бесчисленное множество светильников, дабы превратить день в ночь. А для того чтобы создать иллюзию солнечных лучей, устроили дождь из нитей чистого серебра.

Понятно, что столь расточительная и роскошная жизнь не могла долго продолжаться. Подобно светильнику с чрезмерным количеством фитилей, богатство и слава заминдаров из Нойонджора, ярко вспыхнув, тотчас же угасли навсегда.

Наш Койлаш Рай Чоудхури был последним отпрыском славного рода Нойонджора. Когда он родился, масло в светильнике благополучия их рода уже выгорело до дна, а после смерти отца, вместе с необычайно роскошными похоронами, угасли и горячие искры в последний раз вспыхнувшего света. Все имущество было распродано за

долги, и то немногое, что осталось, уже не могло поддержать былую славу предков.

Поэтому, покинув Нойонджор, Койлаш-бабу поселился с сыном в Калькутте. Однако вскоре, оставив после себя единственную дочь, сын, навсегда простившись с исчезнувшей славой, отправился путешествовать по загробному миру.

С Койлашем мы жили по соседству. Но история нашего рода была совершенно отличная. Мой отец собственными усилиями сколотил себе состояние. Он никогда не носил одежды ниже колен и знал цену деньгам. Жажда получить титул бабу не коснулась его, и за это я — его единственный сын — благодарен ему. Я научился понимать, что, имея деньги, можно без всяких титулов достичь уважения и почестей. Я прекрасно понимал, что за нежная штука эта слава. Для меня во сто крат дороже были бумаги компании в железном сундуке отца, нежели блестящий титул бабу при пустой сокровищнице.

Вот почему я терпеть не мог Койлаша-бабу, который любил предъявлять высокие чеки на публичное доверие от имени лопнувшего банка и его прежней репутации. Мне казалось, что Койлаш-бабу презирает нас за то, что отец заработал деньги своими руками. Это раздражало меня, и я постоянно размышлял над тем, кто же из нас все-таки более достоин презрения. Не тот ли, кто всю жизнь, претерпевая суровые лишения, преодолевая трудности на каждом шагу, устоял перед заманчивыми соблазнами и, презрев суетную славу человеческого рода, беспрестанным трудом, благодаря своей мудрости один, собственными руками воздвиг высоченную пирамиду состояния из маленькой крупинки серебра? Неужели он недостоин уважения лишь потому, что не носит одежды ниже колен!

Пока я был юн, я часто гневался и ругался. С годами я понял, что все это ни к чему — у меня огромное состояние, и я ни в чем не нуждаюсь. Пусть тот, у кого ничего нет за душой, млеет от самодовольства. Пусть это будет его единственным и последним утешением. Я же не понесу от этого убытка ни на четверть пайсы.

И я не замечал, что никто, кроме меня, не испытывает антипатии к Койлашу-бабу.

Этот благородный беспомощный человек был чрезвы-

чайно противоречив. Он всегда принимал самое ближайшее участие в делах соседей, разделяя их радости и печали. Ко всем, с мала до велика, он обращался с ласковой улыбкой. Что бы у кого ни случилось, он всем интересовался, и его доброта не ведала отдыха. Встречая когонибудь из знакомых, он заводил длинный разговор: «Все ли у вас хорошо? Здоров ли Шоши? Как чувствует себя наш благородный бабу? Я слышал, что сын Модху заболел лихорадкой — так, как он теперь? Давно я не виделся с Хоричором-бабу — какие радости и горести испытал он за это время? Есть ли вести о вашем Ракхале? Как здоровье женщин вашего дома? И так далее и так далее.

У него всегда был опрятный вид, хотя гардероб его был невелик. Нужно было видеть, с каким старанием он сам проветривал короткое пальто, чадор, рубашки, а также постельное белье — старое одеяло, наволочки и небольшой коврик. Все это он развешивал на веревке, вытряхивал и чистил щеткой.

Где бы ни появлялся старик, он всегда казался хорошо одетым.

Мебель в доме он сумел расставить так, что казалось, будто большая часть просто не вошла в дом. Частенько у него не было слуги, и он, закрывшись у себя, с большим усердием чистил и отутюживал дхоти, чадор и рубашку.

Все огромное состояние его рода было растрачено, но старику удалось сберечь от пасти нищеты ценное серебряное кропило для разбрызгивания душистой воды, флакон для разового масла, золотое блюдо, серебряную трубку, дорожную шаль, пару старомодных рубашек да тюрбан. И когда случалось что-нибудь из ряда вон выходящее, Койлаш-бабу извлекал эти вещи из сундука и, демонстрируя их, поддерживал высокую честь рода бабу Нойонджора.

Хотя Койлаш-бабу был скромным человеком, он считал своим долгом по отношению к предкам всячески восхвалять их. И надо сказать, что большинству соседей доставляло удовольствие поддерживать его в этом. Соседи называли его тхакурда-мохашой [1], и немало людей

---

[1] Тхакурда-мохашой — почтительное обращение к старикам.

навещало его. Зная бедственное положение старика, никто не хотел вводить его в расходы на табак. Поэтому гости, собираясь к Койлашу, заранее покупали несколько серов табаку.

Обычно они говорили:

— Тхакурда-мохашой, попробуйте, хорош ли табак? Сосед недавно получил из Гайи.

Тхакурда-мохашой затягивался несколько раз и восклицал:

— Хорош, брат, хорош табачок!

Затем он заводил разговор о том, что сам обычно курит табак по цене шестьдесят — шестьдесят пять рупий за бхори[1], и предлагал отведать его.

Но гости уже знали, что если кто-нибудь даже и захочет попробовать табаку, то, несомненно, ключ от шкафа не отыщется. После долгих поисков окажется, что старый слуга, негодник Гонеш, неизвестно куда его запрятал. Сам Гонеш безропотно сносил все упреки. Тогда гости успокаивали хозяина:

— Не беспокойтесь, тхакурда-мохашой, не беспокойтесь! Тот табак был бы слишком крепок, а этот — как раз хорош.

Койлаш-бабу обычно не протестовал и лишь слабо улыбался. Когда наступало время прощаться, старик вдруг восклицал:

— Ах да, кстати, когда вы отобедаете у меня, друзья?

На что гости отвечали:

— Как-нибудь в другой раз сговоримся о дне.

— Ну хорошо, вот пойдут дожди, освежит немного, станет прохладнее, а то в этакую жару чрезмерный обед был бы утомительным.

Но начинались дожди, а никто не напоминал старику о его приглашении. Больше того, всякий раз, когда заходила об этом речь, друзья говорили:

— Ну что вы, в такую погоду неудобно... Пусть пройдут дожди...

Друзья сочувствовали Койлашу-бабу в том, что ему пришлось поселиться в тесном домике и терпеть от этого массу неудобств. Они уверяли его, что прекрасно понимают, насколько трудно и даже почти невозможно найти в Калькутте приличный дом. И, несмотря на то что мно-

---

[1] Бхори — мера веса, незначительная по величине.

гие из них в течение ряда лет делали вид, что подыскивают старику подходящее жилище, никто из соседей не мог подобрать что-нибудь более или менее подходящее.

— Пусть все остается по-прежнему, друзья, — сказал в конце концов Койлаш-бабу, — я счастлив, что живу по соседству с вами. В Нойонджоре у меня остался огромный дом, да разве там есть люди, подобные вам?

Думаю, сам тхакурда понимал, что все просто-напросто входят в его положение, и, когда он начинал рассказывать о былом великолепии рода бабу Нойонджора, а соседи принимались поддерживать его, старик в глубине души, вероятно, сознавал, что это не что иное, как взаимный обман, совершаемый из добрых побуждений:

И все же я чувствовал к нему страшную антипатию. В молодости всегда хочется подавить, пусть даже безобидное, тщеславие другого, и, помимо этого, я не выносил человеческой глупости. Впрочем, Койлаш-бабу был вовсе не глуп. Его помощь и практические советы бывали полезны многим. Но в тех случаях, когда дело касалось славы его рода, он не знал чувства меры. К тому же соседи, любившие Койлаша-бабу, не хотели огорчать его.

Никто ни одним словом не возражал ему, и фантазия старика потеряла всякие границы. Когда же кто-нибудь в его присутствии начинал восхвалять род Нойонджора, прибегая к самым смешным преувеличениям, Койлаш-бабу с легкостью принимал выдумку за чистую монету, он даже и мысли не допускал, что кто-нибудь может усомниться в правдивости слов рассказчика.

Иногда у меня появлялось непреодолимое желание взять да и выпалить из пушки по крепости, где тщеславие укрылось в обнимку со старостью. Ведь когда охотник видит птицу, удобно расположившуюся на ветке, им точно так же овладевает горячее стремление выстрелить в нее. Когда подросток замечает, что глыба вот-вот оторвется от скалы, он хватается за палку, чтобы подтолкнуть эту глыбу. При этом, как охотнику, так и подростку, сброшенная глыба доставляет массу сладостных ощущений и чувство полной удовлетворенности. Ложь Койлаша-бабу была столь безыскусна, основа ее — столь зыбка, что она, эта ложь, напоминала пляски смерти под

дулом правды, и у меня появлялось желание уничтожить ее — лишь большая лень да большая человечность не давали людям поднять на нее руку.

II

Анализ моих прошлых чувств и мыслей, насколько позволяет сделать это память, приводит меня к убеждению, что причина былой враждебности к Койлашубабу кроется гораздо глубже. И это стоит несколько пояснить.

Богатство моего отца не помешало мне получить степень магистра искусств, а юность не привела меня в дурные компании, погрязшие в пороке. Даже смерть опекунов не повлекла за собой никаких изменений в моем характере. К тому же внешность моя была настолько приятна, что, если б я назвал себя красивым, меня могли бы обвинить в нескромности, но не во лжи. Поэтому я был твердо уверен, что ценюсь высоко на ярмарке невест в Бенгалии. Воображение мое родило идеал девушки — высоко образованной, нежной и красивой, родители которой были бы чрезвычайно богаты.

Со всех сторон на меня сыпались предложения. Мне сулили до десяти тысяч рупий приданного, но я, бесстрастно взвешивая достоинства девиц на чувствительных весах моих требований, не находил равной себе.

В конце концов я согласился с поэтом Бхавабхути:[1]

Готов достойную себе я очень долго ждать —
Ведь нет у времени границ, и мира не объять.

Но все же было весьма сомнительным появление достойной меня девушки на столь крохотной территории Бенгалии.

Родители, на руках которых были незамужние дочери, начали распевать мне дифирамбы; назависимо от того, нравились мне их дочери или нет, они не скупились на похвалу и открывали во мне все новые и новые достоинства. Из шастр известно, что божество, независимо от того, благосклонно оно к почитающему его или нет,

---

[1] Бхавабхути — известный индийский поэт VIII века до нашей эры, писавший на санскрите.

требует себе поклонения и, если не получает такового, страшно гневается. Такое же чувство в душе испытывал и я.

Я уже говорил, что у Койлаша-бабу была внучка Я видел ее много раз и никогда не заблуждался относительно ее красоты. Следовательно, нелепая мысль жениться на ней не могла прийти мне в голову. Но я был твердо убежден, что старик, сочтя меня за хорошую партию, начнет курить мне фимиам и в один прекрасный день возложит девушку, как подношение на мой алтарь. Однако он этого не сделал. Однажды я даже услышал, как он говорил одному из моих друзей:

— Бабу Нойонджора никогда ни у кого ничего не просили. Скорее я обреку внучку на вечную девственность, чем нарушу традиции рода.

Гнев охватил меня. Долго он кипел в моей груди, но, будучи юношей благонравным, я молчал. Как молния сопровождается громом, так и раздражение мое порой сменялось юмором. Но случая подшутить над стариком никак не представлялось.

Правда, однажды в голову мне пришла мысль, с которой я уже не мог расстаться. Я уже упоминал о том, что друзья, дабы угодить старику, поддерживали его ложь. И вот как-то один из соседей сказал Койлашу-бабу, что, когда он повстречался с вице-губернатором, тот начал расспрашивать его о господине из рода Нойонджора. Затем сахиб заявил:

— В Бенгалии известны лишь два славных рода: раджи Бурдхвана[1] и бабу Нойонджора.

Старик очень обрадовался, и с тех пор, встречаясь с этим чиновником, он неизменно забрасывал его вопросами:

— Как чувствуют себя вице-губернатор и его супруга? Здоровы ли дети? — При этом он выражал нетерпение повстречаться с сахибом. Но сосед прекрасно понимал, что немало сменится вице-губернаторов и губернаторов, прежде чем бабу из Нойонджора сможет посетить дом вице-губернатора.

В один прекрасный день рано утром я пришел к Койлашу-бабу и отозвал его в сторону.

---

[1] Бурдхван — район и город в Бенгалии.

— Тхакурда,— сообщил я ему шепотом,— вчера я был на приеме. Случайно зашла речь о бабу из Нойонджора, и я сказал сахибу, что Койлаш-бабу находится в Калькутте. Он очень расстроился, что вы до сих пор не побывали у него. А затем сказал, что сегодня пополудни сам придет повстречаться с вами.

Будь на его месте кто-нибудь другой или иди речь о чем-нибудь другом, старик не попался бы на удочку и лишь посмеялся бы. Тепер же он поверил всему и очень обрадовался. Но вместе с радостью пришло и волнение — куда посадить почетного гостя, что подготовить к его приходу, как приветствовать, — ведь от этого зависела слава Нойонджора! Мало того, Койлаш не знал английского языка. Как же он будет беседовать с гостем — это обстоятельство беспокоило старика больше всего.

— Не печальтесь, — утешал я Койлаша-бабу,— с ним будет переводчик. Вице-губернатор просил, чтобы, кроме вас, при встрече никого не было.

В полдень, когда большинство соседей уходит в конторы, а оставшиеся, закрыв двери, дремлют, перед домом Койлаша-бабу остановился экипаж, запряженный парой.

Слуга, облаченный в ливрею, известил о прибытии вице-губернатора. Тхакурда в одеянии дедовских времен уже ждал гостя. Старого слугу Гонеша он обрядил в свой лучший костюм. Едва прослышав о приезде гостя, тяжело дыша, со слезами радости на глазах, старик побежал к дверям. Беспрестанно кланяясь и повторяя салям, он провел гостя в комнаты. Одетый на английский манер, мнимый вице-губернатор, мой друг, вошел следом за ним.

В комнате стояло кресло, покрытое дорогой шалью. Койлаш усадил в него гостя и обратился к нему с длинной, полной почтения речью на урду. Затем он подал ему на золотом блюде ожерелье из старинных золотых монет. Явился старый Гонеш с розовой водой и флаконом розового масла.

Койлаш-бабу беспрерывно повторял, что в своем доме в Нойонджоре он смог бы принять почетного гостя как следует, а здесь, в Калькутте, он чужой. Здесь он бессилен, словно рыба, выброшенная из воды.

Мой приятель сидел, не снимая цилиндра, и важно кивал головой. Что и говорить, согласно английскому эти-

кету, ему надлежало снять головной убор, но боязнь оказаться узнанным вынудила его к этой вольности. Всякий, кроме Койлаша-бабу и его гордого старого слуги, в одну секунду распознал бы в госте переодетого бенгальца.

После десятиминутной беседы, в течение которой мой приятель лишь кивал головой, гость, наконец, собрался уходить. Наученные заранее лакеи сняли с кресла шаль, прихватили блюдо с ожерельем из золотых монет, забрали из рук Гонеша серебряное кропило, флакон с розовым маслом — и торжественно внесли все в экипаж. Койлаш-бабу не остановил их, он решил, что таков, должно быть, обычай вице-губернатора.

Спрятавшись в соседней комнате, я наблюдал за всем происходящим, и меня буквально распирало от еле сдерживаемого смеха. Наконец, не в силах дольше молчать, я выбежал в другую комнату, расположенную немного дальше от той, где находились гость и хозяин. Безумный смех овладел мною, но вдруг я обнаружил, что в комнате кто-то есть. На постели лежала девушка и безутешно рыдала. Мое внезапное вторжение и безудержное веселье подняли ее с постели. Ее черные, полные слез глаза метали стрелы молний, а прерывающийся от рыданий голос звучал, словно раскаты грома.

— Что сделал вам мой дедушка? Зачем вы так обманули его? Зачем вы пришли сюда? — Она не могла больше говорить и, прикрыв лицо покрывалом, расплакалась еще сильнее.

Куда девался мой смех! До сих пор мне и в голову не приходило, что в моем поступке было что-нибудь, кроме шутки. Сейчас же я внезапно увидел, что нанес жестокий удар нежному сердцу. Передо мной в ярком свете предстала вся грубость содеянного. Пристыженный, в раскаянии я вышел из комнаты, словно побитая собака. Ну чем, чем был виноват передо мной этот старик? Ведь своей безобидной гордостью он никогда, ни одному живому существу на свете не причинил никакой боли. А вот мое тщеславие превратилось в жестокость.

Этот случай открыл мне глаза и на другое. До сих пор я смотрел на Кусум — внучку Койлаша,— как на девушку, на которой никто никогда не женится, и видел в ней лишь товар, напрасно ожидающий своего сбыта. Мне казалось, что, раз я не люблю ее, она будет

принадлежать любому, кто захочет взять ее. Но теперь я вдруг открыл, что в этой девушке, живущей в одном из уголков старого дома, бьется человеческое сердце.

Ее радости и печали, гнев и нежность, неизвестное прошлое, а равно и беспросветное будущее стали казаться мне исполненными таинственности и безудержно повлекли к себе. Разве нужны человеку, имеющему сердце, украшения в виде денег или хорошеньких глаз для того, чтобы понравиться?

Я не спал всю ночь. На следующее утро, с восходом солнца, собрав похищенные вещи, я, словно вор, крадучись, пробрался в дом Койлаша-бабу. Мне хотелось вручить их слуге старика тайком.

Нигде не найдя его, я остановился в нерешительности. И тут мне довелось подслушать разговор старика с девушкой, находившихся в соседней комнате.

— Дедушка, что тебе вчера сказал вице-губернатор? — спросила Кусум нежным и ласковым голосом.

Койлаш, исполненный гордости, начал расписывать перед ней фантастическими красками все то, что якобы услышал из уст вице-губернатора о старинном роде Нойонджора, и Кусум слушала старика с большим вниманием. Слезы навернулись мне на глаза при виде того, как эта хрупкая девушка с материнским сердцем поддерживала приятный деду обман.

Долго стоял я молча. Наконец, когда старик закончил свой рассказ и вышел, я приблизился к девушке. Не сказав ни слова, я положил перед ней реликвии рода Нойонджора и удалился.

До этого происшествия я никогда не здоровался со стариком согласно обычаю, сегодня же, завидев его, я совершил пронам[1]. Тхакурда, несомненно, решил, что причиной моего внезапного уважения к нему является вчерашний визит вице-губернатора. Это льстило ему, и он, гордый, как Индра, принялся рассказывать мне о сахибе. Я не перебивал его. Нет. Более того, я всячески поощрял старика. Да и соседи, прослышавшие о вчерашнем событии, в свою очередь начали просить Койлаша-бабу рассказать все поподробнее, с самого начала.

---

[1] Пронам — поклон, выражающий почтение и любовь. Совершающий пронам, поднимает к лицу сложенные ладони рук.

Когда, наконец, все ушли, я с красным от стыда лицом смиренно изложил старику свое предложение. Я сказал, что хотя честь моего рода не может сравниться с честью рода бабу Нойонджора, тем не менее...

Едва я кончил, как Койлаш-бабу привлек меня к себе и в порыве радости воскликнул:

— Я беден! Я и не думал, дружок, что судьба пошлет мне такое счастье. Моя Кусум много молилась — вот ты и берешь ее сегодня! — Из глаз старика полились слезы.

В этот день впервые в жизни старик забыл о своем долге по отношению к великим предкам и признался в бедности. Он сказал, что мое вторжение в их семью не причинит никакого урона знатности рода Нойонджора.

Итак, мой злой заговор против чести Койлаша-бабу привел к тому, что он полюбил меня как достойного зятя.

1895



Гость

I

Мотилал-бабу, заминдар деревни Кантхалии, вместе со своим семейством возвращался на родину. Однажды днем, когда их лодка причалила к берегу недалеко от рынка и все готовились к обеду, к лодке подошел юноша-брахман.

— Куда едете, бабу? — спросил он.

Ему было не больше шестнадцати лет.

— В Кантхалию, — ответил помещик.

— Вы сможете подвезти меня до деревни Нонди?

Мотилал-бабу согласился и поинтересовался, как зовут незнакомца.

— Тарапода, — ответил юный брахман.

Это был красивый, с большими глазами и светлым цветом кожи юноша. Добрая нежная улыбка очень красила его. На нем было только грязное дхоти. Полуобнаженная фигура юноши поражала безупречностью линий, словно неизвестный мастер искусно вылепил ее. Казалось, Тарапода в своем прежнем рождении был аскетом, и жизнь, полная воздержания, уничтожила все лишнее в пропорциях его тела, и теперь он был воплощением священной красоты брахмана.

— Сын мой, выкупайся, а затем поешь с нами, — ласково предложил хозяин лодки.

— Хорошо, — сказал юноша и принялся помогать готовить обед.

Повар Мотилала-бабу, житель центральной Индии, не был искусен в приготовлении рыбных блюд. Тарапода

быстро сделал его работу и, сверх того, очень умело приготовил овощи. Окончив стряпать, мальчик выкупался в реке, развязал свой узелок и переоделся в чистую одежду. Маленьким деревянным гребешком он причесал свои длинные волосы, откинул их со лба на плечи. Одев на шею пучок священных ниток[1], Тараподa подошел к Мотилалу-бабу. Последний провел его в лодку, где познакомил со своей женой и девятилетней дочерью.

Оннопурна, увидев красивого юношу, почувствовала расположение к нему. Женщина с удивлением подумала о том, как может спокойно жить мать, потеряв такого сына.

За обедом Тараподу посадили рядом с хозяином. Мальчик ел мало. Оннопурна, решив, что он стесняется, усердно угощала его. Но, утолив голод, Тараподa не внимал никаким уговорам. Очевидно, юноша привык поступать всегда так, как ему хочется, но делал все так тактично, что не казался упрямым и своевольным.

После обеда хозяйка усадила гостя рядом с собой и принялась расспрашивать о его жизни. Ей удалось узнать лишь немногое.

Мальчик по собственному желанию убежал из дома, когда ему было семь лет.

— У тебя есть мать? — продолжала задавать вопросы Оннопурна.

— Есть.

— Она тебя не любит?

— Почему не любит? — рассмеялся Тараподa, которому этот вопрос показался странным.

— Почему же ты убежал от нее?

— У нее, кроме меня, есть еще четыре сына и три дочери.

— Боже! Что ты говоришь! — воскликнула Оннопурна, огорченная нелепым ответом юноши. — Если у тебя пять пальцев на руке, от этого разве легче потерять даже один?

Тараподе было немного лет, и жизнь его была короткой. Но он представлял собой человека совершенно нового склада. Четвертый сын в многодетной семье, рано потерявшей отца, он был любимцем ее. Мальчика бало-

---

[1] Священные нитки носятся членами трех высших каст в Индии.

вали мать, сестры, братья и соседи. Даже школьный учитель редко бил его, а когда ему случалось наказывать Тараподу, огорчались все — свои и чужие. Судя по всему, для побега не было причин. Даже всеми заброшенный, хилый ребенок, ворующий фрукты в чужих садах и за это подвергающийся наказанию и оскорблениям, не покидает родной деревни и нелюбимой матери, а этот всеобщий любимец без всяких угрызений совести убежал с труппой бродячих актеров. После долгих поисков беглеца вернули домой. Мать, обливаясь слезами, прижала его к своей груди, сестры рыдали. Старший брат, исполняя тяжелый долг главы семьи, пытался сделать ему внушение, но в конце концов смягчился и предоставил мальчику полную свободу действий. Соседки звали Тараподу к себе в гости, осыпали ласками и различными соблазнами старались помешать его уходу из деревни. Но он не терпел никаких оков, даже оков любви. Тарапода родился бездомным бродягой. Видел ли он чужую лодку, плывущую по реке, санниаси из далеких мест, присевшего отдохнуть у подножья фигового дерева, цыган ли, расположившихся на прибрежных лугах и плетущих небольшие цыновки из пальмовых листьев и корзинки из молодого бамбука, сердце его начинало беспокойно биться, загоралось желанием уйти в незнакомый, но привольный мир.

После нескольких побегов Тараподы родные и соседи махнули на него рукой. В первый раз мальчик убежал с труппой бродячих актеров. Именно тогда, когда хозяин труппы привязался к нему, как к родному сыну, когда он стал любимцем всех, от мала до велика, когда владельцы домов, где труппа давала представления, в особенности женщины, осыпали его ласками, Тарапода исчез, не сказав никому ни слова. Поиски его были напрасными.

Как молодая лань, Тарапода боялся всяких ограничений своей свободы и так же любил музыку. Песни актеров бродячей труппы заставили его покинуть родной дом. Каждым нервом и каждой частицей своего существа мальчик чувствовал мелодию. Еще ребенком, слушая музыку, Тарапода, забыв обо всем, словно большой, с серьезным видом раскачивался в такт, и взрослым стоило больших усилий удержаться от смеха, глядя на него. Но не только музыка волновала его. Стук капель дождя

по густой листве деревьев в месяце срабон, гром в небе, завывание ветра в лесу, напоминавшее рыдания гигантского ребенка, брошенного матерью, раздающийся в полуденной тишине крик парящего высоко в небе коршуна, кваканье лягушек в дождливый вечер, вой шакалов глубокой ночью — все находило отклик в его душе.

Очарованный пением, мальчик присоединился к труппе бродячих певцов. Глава труппы с любовью обучал его пению, заставлял учить наизусть целые поэмы, он был привязан к Тараподе так, как любят певчую птичку. Но птичка выучила несколько песен и в одно прекрасное утро улетела.

Последнее время Тарапода странствовал с акробатами. С конца месяца джойтха по конец месяца ашарха в этой местности проводились ярмарки, которые переезжали с места на место. Труппы актеров, певцов, поэтов и танцовщиц ездили по стране, а устроенные на лодках лавочки разных товаров по маленьким речушкам переплывали с одной ярмарки на другую. Маленькая труппа акробатов принимала участие в представлениях на этих ярмарках. Сначала Тарапода присоединился к торговцам на лодках и торговал бетелем. Затем удивительное искусство мальчиков-акробатов привлекло его, и он вступил в их труппу. Еще раньше юноша научился игре на флейте, и единственной обязанностью его было во время исполнения акробатического номера как можно быстрее играть какую-нибудь легкую мелодию. Но Тарапода убежал и из этой труппы.

Прослышав, что помещики деревни Нонди с большой пышностью ставят любительские спектакли, он уложил свои вещи в маленький узелок и отправился туда. По пути юноша познакомился с семьей Мотилала-бабу.

Во время своих странствований Тарапода встречался с разного рода людьми, но благодаря его мечтательности и силе характера общение с ними не наложило на него никакого отпечатка. В душе он всегда оставался свободным и безразличным ко всему. Юноша слышал брань, видел дурные примеры, но все это не влияло на него. У Тараподы не было никаких привязанностей. Он не признавал никаких ограничений и условностей и плыл по грязным волнам этого мира, словно белоснежный лебедь. И сколько бы раз, движимый любопытством, он не нырял на дно его, он всегда всплывал с сухими и

чистыми перьями. Печать чистоты и юности всегда лежала на лице этого юноши, и пожилой, умудренный опытом Мотилал-бабу, увидев его, без всяких вопросов и сомнений с распростертыми объятиями принял у себя.

II

После обеда лодка продолжала свой путь. Оннопурна ласково расспрашивала Тараподу о его семье и родных. Юноша отвечал сдержанно и затем, чтобы избежать дальнейших расспросов, вышел наверх.

Река во время дождей разлилась и своим неспокойным поведением доставила огромное беспокойство природе-матери.

Яркие лучи солнца, прорвав тучи, освещали затопленные вдоль берега ряды камыша, заросли тростника, сливающегося на горизонте с синей полоской леса. Вся природа, словно юная красавица, пробудившаяся от сна по мановению волшебной золотой палочки, расцвела под безмолвным ласковым взглядом голубого неба; прекрасная своей свежестью, безграничная в своей щедрости, она трепетала, сверкала, манила.

Тарапода устроился в тени паруса на палубе. Спускающиеся к реке изумрудные луга, затопленные поля джута проплывали перед его глазами, покачивались зеленые побеги риса, узкая дорожка бежала от берега реки к деревне, в тени лесов приютились селения. Вода, земля и небо, жизнь, движение, широкое пространство вверху и внизу, красочные привольные дали — словом, весь огромный вечно бодрствующий и одновременно безмолвный мир притягивал к себе юношу.

Теленок, бегущий с поднятым хвостом по берегу, деревенский жеребенок, прыгающий на лугу со связанными ножками, баклан, усевшийся на шесте для просушки сетей или стремительно ныряющий в реку за рыбой, дети, играющие в воде, веселая болтовня и громкий смех девушек, стирающих белье у реки, перепалки продавщиц рыбы с рыбаками — все было ново для Тараподы, за всем он следил с ненасытной любознательностью.

На палубе юноша заводил разговор с лодочником. Иногда он брал шест и отталкивал лодку от берега. Когда же рулевой закуривал трубку, Тарапода садился за

руль, а если требовалось, он очень ловко перекидывал парус лодки.

— Что ты ешь по вечерам, — спросила юношу Оннопурна незадолго до того, как стало темнеть.

— Все что придется, а иногда и ничего.

Оннопурну слегка обидело то равнодушие, с каким красивый юноша отнесся к ее заботам о нем. Доброй женщине хотелось накормить, одеть, как-то приласкать этого бездомного мальчика, но ничто не радовало его. Оннопурна посылала слуг на берег купить для него лакомств, молока. Но Тарапода ел не больше, чем всегда, и отказывался от молока. Даже на все уговоры обычно молчаливого Мотилала он коротко отвечал:

— Я не люблю молока.

Прошло два дня. Тарапода с большим умением и охотой выполнял всякую работу, начиная с готовки пищи и покупок на рынке и кончая управлением лодки.

Ничто не ускользало от внимательного взора юноши. Его увлекала любая работа, за которую он брался. Его взгляд, руки и ум всегда были чем-то заняты. Как вечно развивающаяся природа, Тарапода был ровен, спокоен и деятелен. Каждый человек на земле имеет свое определенное место, а этот юноша был лишь радостной, искрящейся светом волной в бескрайно голубом потоке мира. Он не думал ни о прошлом, ни о будущем, и единственной целью его было неуклонно идти вперед.

Общение с людьми различных профессий научило Тараподу многим занимательным вещам. Его безмятежный ум с удивительной легкостью запечатлевал все, что угодно. Народные песни, длинные песни из джатр[1] — все запоминал он.

Однажды вечером Мотилал, по своему обыкновению, читал «Рамаяну». Когда он дошел до повествования о Куше и Лабе[2], Тарапода не выдержал, сошел вниз и сказал:

— Оставьте книгу, я сам спою вам о Куше и Лабе.

И он запел. Нежно лилась песня, мелодичная и ласковая, подобная звукам флейты. Гребцы и рулевые стол-

---

[1] Джатра — вид народной музыкальной драмы, широко распространенной в Бенгалии

[2] Куша и Лаба — в индийской мифологии — сыновья бога Рамы и его жены Ситы.

пились у дверей каюты. Радость и печаль слышались в песне. Чудесные потоки музыки понеслись к вечернему небу. Безмолвные берега реки оживились, люди, плывшие мимо на лодках, в волнении прислушивались к ней, а когда юноша замолчал, все с грустью вздохнули, пожалев, что песня кончилась так скоро.

Оннопурна прослезилась, ей хотелось обнять мальчика, прижать его к своей груди, вдохнуть аромат его волос. Мотилал-бабу же подумал о том, что, если бы он смог удержать Тараподу у себя, тот заменил бы ему сына. Только сердце маленькой Чарушоши было исполнено ненависти и зависти.

III

Чарушоши была единственной дочерью и безраздельно владела любовью своих родителей. Ее капризам и упрямству не было конца. В отношении еды, прически и одежды у нее всегда было свое самостоятельное мнение, но и оно не было постоянным. Когда семью приглашали в гости, Оннопурна всегда со страхом ждала какого-нибудь особенного каприза дочери. Если Чарушоши не нравилась прическа, она заставляла переделывать ее бесконечное число раз и в конце концов разражалась рыданиями. Временами, когда девочка бывала весела и всем довольна, она не давала покоя матери, не зная меры, крепко обнимала ее, целовала, смеялась, плакала. Этот ребенок был какой-то неразрешимой загадкой.

И вот эта девочка всем сердцем возненавидела Тараподу, причинив этим много беспокойства своим родителям. Во время еды Чарушоши хныкала, швыряла тарелки, все ей казалось невкусным. Она била свою служанку и постоянно на все жаловалась без всякой причины. По мере того как Тарапода все больше завоевывал своими талантами всеобщее расположение, возрастала у Чарушоши ненависть к нему. Она никак не хотела признать, что юноша обладает какими-то достоинствами, и, если ей доказывали обратное, она особенно злилась.

В тот вечер, когда Тарапода пел сказание о Куше и Лабе, Оннопурна, решив, что подобная музыка может растрогать даже обитателей леса, подумала о том, что она смягчит и сердце дочери.

— Тебе нравится эта песня, Чару? — спросила она.

Девочка в ответ только энергично мотнула головой, давая понять, что пение ей не понравилось и никогда не понравится.

Заметив, что дочь завидует юноше, Оннопурна старалась не быть ласковой с мальчиком в ее присутствии. Вечерами же, когда Чару уже ложилась спать, Оннопурна садилась у дверей каюты, а Мотилал-бабу и Тарапода устраивались на палубе. По просьбе Оннопурны мальчик начинал петь. Раскинувшиеся по берегам реки всегда шумные деревни, окутанные темнотой ночи, словно погружались в безмолвие, внимая песням мальчика, а нежное сердце женщины благодарно билось, очарованное его пением. Неожиданно Чару быстро вскакивала с постели и, злобно всхлипывая, говорила:

— Ма, почему вы так шумите? Я не могу спать.

Девочка не могла примириться с тем, что родители слушали пение Тараподы, отослав ее спать.

Острый ум, светившийся в глубоких черных глазах девочки, заинтересовал юношу. Желая как-то смягчить Чарушоши, он рассказывал ей сказки, пел песни, играл на флейте, но все напрасно.

В полдень, когда Тарапода купался и плавал в реке, он своим светлым, гибким и стройным телом напоминал юного водяного бога, и девочка не могла скрыть свое любопытство. Она с нетерпением ждала этого часа, но старалась, чтобы никто не догадался об этом. Маленькая актриса садилась и сосредоточенно вязала шарф, лишь время от времени бросая полный презрения взгляд на резвящегося в воде юношу.

IV

Тарапода даже не заметил, как проехали Нондиграм. Лодка тихо шла под парусом, или ее медленно тащили на бечеве по речкам и протокам. Дни плывущих на лодке протекали тихо и мимолётно посреди красивого спокойного разнообразия природы. Никто не торопился. Много времени отводилось на еду и купание. Когда же спускались сумерки, лодка причаливала к берегу у какой-нибудь большой деревни вблизи леса, в котором стрекотали цикады и искрились светлячки.

Через десять дней лодка, наконец, достигла Кантхалии. Для встречи заминдара прибыли из его дома слуги с бамбуковыми палками в руках, паланкин и маленькие лошадки. Стражники стреляли холостыми зарядами, и перепуганные деревенские вороны подняли пронзительный крик.

Торжественная встреча заняла немало времени, и Тараподa, воспользовавшись этим, быстро обежал всю деревню. В течение двух-трех часов он подружился со всеми жителями и стал называть кого братом или дядей, кого сестрой или тетей. У юноши не было никаких привязанностей, и он удивительно легко знакомился со всеми. Не прошло и нескольких дней, как Тарапода завоевал сердца всех крестьян.

Причина столь легкой победы крылась в том, что Тарапода умел, не насилуя себя, проникнуться интересами других. Он не признавал никаких условностей и очень быстро привыкал к любому положению и работе. С мальчиками он чувствовал себя мальчиком, но только немного умнее; со стариками он не был ни юношей, ни совершенно взрослым; с пастухами он был пастухом, не переставая в то же время оставаться брахманом. Каждому юноша помогал в его работе, причем с таким уменьем, словно занимался этой работой давно. Если во время разговора лавочник просил Тараподу заменить его на некоторое время в лавке, он никогда не выражал неудовольствия, брал пальмовый лист и начинал отгонять мух от сладостей. Юноша был искусен в приготовлении многих вкусных вещей. Тайны ручного ткацкого станка, так же, как и работа горшечника, были ему известны.

Тарапода пользовался любовью всей деревни, но не мог преодолеть неприязни только одной маленькой девочки. Возможно, он и задержался на столь долгое время в Кантхалии только потому, что догадывался о сильном желании Чарушоши изгнать его в отдаленные места. Чару являла собой лучшее доказательство того, что понять сердце женщины трудно.

У нее была подруга Шонамони, овдовевшая, когда ей было пять лет. Она болела, и некоторое время, после возвращения Чарушоши домой, подруги не виделись. Когда, наконец, она выздоровела, то при первой же встрече подруги чуть не поссорились.

Чару очень подробно рассказала историю приобретения их семьей новой драгоценности — Тараподы. Она предполагала, что любопытство ее подруги будет возбуждено чрезвычайно. Но когда она услышала, что Шона не только хорошо знает Тараподу, но он называет ее мать тетей, а Шона его дадой, что он не только развлекает их игрой на флейте и пением, но по просьбе девочки сделал ей бамбуковую флейту и часто помогает срывать плоды с высоких веток и цветы с колючих кустарников, ей показалось, что сердце ее наполнилось раскаленным углем.

Чару считала, что Тарапода — собственность ее семьи и его жизнь в ней должна быть окутана тайной, а жители деревни могут лишь издали любоваться его красотой, наслаждаться его талантами и быть благодарными за это семье девочки.

Ведь это они заботливо привезли его домой и окружили лаской, какое же право имеет Шона и ее мать смотреть на него. Дада Шонамони! От этого одного можно лопнуть от злости! Но кто в силах понять, почему та Чару, которая была готова испепелить своей ненавистью Тараподу, так волнуется и беспокоится!

В тот же день случилось еще одно небольшое событие, послужившее поводом для новой ссоры подруг. Чарушоши прошла в комнату юноши, взяла его флейту и принялась безжалостно ломать ее на куски и топтать ногами.

Как раз в этот момент, когда Чару всецело была поглощена этим занятием, в комнату вошел Тарапода. Он был чрезвычайно удивлен, увидев это олицетворение разрушительной силы.

— Чару, почему ты ломаешь мою флейту?

— И очень хорошо делаю, очень хорошо! — закричала девочка с налитыми кровью глазами.

Она еще несколько раз ударила разбитую флейту, громко разрыдалась и выбежала из комнаты. Тарапода поднял обломки флейты и убедился, что уже ничего нельзя с ней сделать. Но юноша почему-то не мог удержаться от смеха, подумав о наказании, неожиданно постигшем его старую ни в чем не повинную флейту.

С каждым днем Чарушоши все больше и больше заинтересовывала его. Кроме Чару, мысли юноши привле-

кали английские книги с иллюстрациями из библиотеки Мотилала-бабу. Он достаточно хорошо был знаком со внешним миром, но еще не знал, как войти в мир изображений.

Мотилал-бабу, увидев однажды, как внимательно рассматривает юноша иллюстрации, предложил ему:

— Займись английским языком, тогда ты научишься понимать эти картины.

Тарапода тотчас же согласился. Заминдар обрадовался и пригласил Рамротона-бабу, старшего учителя начальной школы, каждый вечер давать юноше уроки английского языка.

V

Благодаря острой памяти и неослабному вниманию Тарапода успешно занимался английским языком. У него было чувство, что он путешествует по новой, ранее недоступной стране, прежний мир для юноши перестал существовать. Соседи больше его не встречали.

Под вечер, когда юноша быстрым шагом прогуливался по пустынному берегу реки, повторяя урок, его товарищи с печалью и уважением наблюдали за ним издали и не осмеливались мешать его занятиям.

Теперь и Чару видела его очень редко. Раньше Тарапода ел на женской половине дома под ласковым взглядом Оннопурны. Но из-за этого юноша опаздывал на урок, и он попросил Мотилала-бабу разрешить ему обедать вне дома. Оннопурна была огорчена и возражала. Но муж ее был доволен усердием юноши и дал свое согласие. Тогда Чару неожиданно заявила, что тоже желает изучать английский. Родители сначала приняли просьбу своей капризной дочери как шутку и беззлобно посмеялись над ней. Но их несерьезное отношение вскоре было смыто огромным потоком слез девочки. В конце концов эти беспомощные, слабые в своей любви родители отнеслись серьезно к требованию дочери. Чару вместе с Тараподой стала заниматься английским.

Однако эта беспокойная девочка не умела заниматься серьезно. Она не только ничего не учила сама, но и мешала своему товарищу. Чару отстала в учении, но не желала быть позади Тараподы. Когда юноше задавали следующий урок, она не переставала злиться и плакала. Когда вза-

мен старой книги ему покупали новую, Чару требовала и себе такую же. Завистливая девочка терпеть не могла того, что Тарапода все свое свободное время проводил в своей комнате за занятиями. Потихоньку она обливала чернилами его тетрадки, прятала перья, выдирала из учебника те страницы, которые были заданы. Тарапода подолгу терпел ее тиранство, с любопытством наблюдая за ней, когда же она становилась нестерпимой, юноша бил ее, но укротить не мог.

Наконец, один случай выручил его. Однажды раздосадованный и несчастный Тарапода с серьезным и опечаленным видом вырвал страницу, залитую чернилами. Чару стояла в дверях, она была уверена, что он побьет ее. Но на этот раз девочка ошиблась. Юноша сидел молча, не обращая на нее никакого внимания. Чарушоши принялась ходить по комнате. Иногда она подходила так близко к Тараподе, что, пожелай, он мог без всякого труда ударить ее по спине. Но юноша не двигался и был совершенно серьезен. Девочка была в большом затруднении. Она не привыкла просить извинения и не знала, что теперь делать, а ее раскаявшееся сердечко жаждало прощения. Не найдя ничего лучшего, она взяла часть вырванной из тетрадки страницы и написала крупными буквами: «Я никогда больше не буду обливать чернилами твою тетрадь». Она развила бурную деятельность, чтобы привлечь внимание юноши. Наконец, Тарапода прочел записку и не мог сдержать смеха. Дрожа от злости, сгорая от стыда, Чару выбежала из комнаты. Только уничтожение клочка бумаги, свидетельствующего об ее унижении, хотя бы для этого пришлось разрушить весь мир, могло успокоить ее страдающее сердце.

Во время занятий Тараподы Шонамони робко заглядывала в его комнату. Между подругами существовало согласие во всем, но когда дело касалось Тараподы, Шона начинала бояться Чарушоши и становилась очень осторожной. Только когда Чару была на женской половине дома, ее подруга, пугливо озираясь, подходила к дверям комнаты юноши.

— Что нового, Шона? Как здоровье тети? — ласково спрашивал Тарапода, поднимая глаза от книги.

— Ты давно не приходил к нам. Ма просит навестить ее. У нее болит грудь, и она не может прийти сама.

В это время всегда неожиданно появлялась Чару. Шона пыталась поспешно скрыться, словно уличенная в тайной попытке украсть собственность подруги. Чару, со злыми глазами, будто старая наставница, обязанная день и ночь следить за тем, чтобы ничто не мешало занятиям Тараподы, пронзительно кричала:

— Вот оно что! Ты приходишь мешать во время занятий! Я сейчас же пожалуюсь отцу.

Но почему она сама пришла, не было тайной для всевышнего, знал об этом хорошо и Тарапода. Бедняжка Шонамони совсем растерялась и начала оправдываться, выдумывая причины для своего прихода. И когда взбешенная Чару назвала ее лгуньей, пристыженная, униженная и оскорбленная, она тихо выскользнула из комнаты.

— Шона, — крикнул ей вслед сочувствующий Тарапода, — сегодня вечером я приду к вам.

— Никуда ты не пойдешь! — прошипела, как злая змея, Чару. — Ты что, не должен учить уроки? Вот я скажу господину учителю.

Но юноша не испугался угроз и пошел в гости. Когда же он собрался пойти в третий или четвертый раз, Чару не ограничилась пустыми угрозами, тихо наложила засов на дверь комнаты юноши и заперла ее на замок, взятый у матери. Весь вечер девочка продержала Тараподу узником в его комнате и только к ужину открыла дверь. Юноша был настолько рассержен, что, не сказав ни слова, не поев, хотел уйти из дому. Но раскаявшаяся и огорченная Чарушоши, сложив умоляюще руки, робко сказала:

— Клянусь тебе, я не буду больше так поступать. Прошу тебя, поужинай.

Тарапода не обратил на ее слова никакого внимания, и девочка горько разрыдалась. Смущенный этим, юноша вернулся и остался ужинать.

Сколько раз Чару давала клятву не мучить юношу и вести себя с ним спокойно, но стоило появиться Шонамони или еще кому-нибудь, как ее благовоспитанность исчезала. Если же в течение нескольких дней она держала себя хорошо, то Тарапода настороженно ждал нового взрыва. Откуда последует нападение, угадать было трудно. Но налетала буря, за которой следовал ливень слез, а затем наступал благословенный и светлый покой.

VI

Прошло два года. Нигде еще не жил Тарапода так долго. Возможно, юноша был поглощен, как никогда раньше, учебой или с годами изменился его характер, и он привык к тем благам и удобствам, которые дает оседлая жизнь. А может быть, невидимыми сетями опутала его сердце расцветающая красота подруги, тиранившей его.

Чару исполнилось одиннадцать лет. Мотилал-бабу нашел несколько подходящих женихов. Помня о том, что его дочь достигла брачного возраста, он запретил ей брать уроки английского языка и выходить на улицу. Узнав об этом неожиданном стеснении ее свободы, Чарушоши подняла шум на весь дом.

— Зачем тебе искать жениха? — сказала Оннопурна однажды мужу. — Тарапода — прекрасный юноша, и девочка его любит.

— Но как это возможно! — удивился Мотилал-бабу. — Ведь мы ничего не знаем о его происхождении! У нас одна дочь, и я хочу ее выдать в хорошую семью.

В один из дней смотреть невесту приехали из семьи Райданга. Домашние пытались принарядить Чарушоши и вывести к гостям. Но она заперлась на ключ у себя в спальне, и ничто не могло заставить покинуть ее. Мотилал-бабу, стоя за дверьми ее комнаты, умолял, угрожал, но все было тщетно. В конце концов пришлось пойти к гостям и сказать, что девушка внезапно заболела и не может выйти. Посланцы семьи Райданга решили, что у невесты есть какой-то физический недостаток, и ее отец прибег к хитрости, чтобы скрыть его.

Этот случай заставил призадуматься Мотилала-бабу. Тарапода во всех отношениях был хороший юноша. Если бы он смог удержать его у себя, не нужно было бы посылать единственную дочь в другую семью. Мотилал-бабу хорошо понимал, что снисходительно относиться к капризам беспокойной и своенравной девочки могут только любящие родители, а в доме свекра их терпеть не станут.

После длительных переговоров с женой помещик отправил человека на родину Тараподы разузнать подробно о его семье. Оказалось, что юноша происходит из

знатного, но обедневшего рода. Тогда Мотилал-бабу спросил согласие матери и брата Тараподы. Те с радостью, ни минуты не медля, дали его. Супруги принялись обсуждать, на какой день назначить свадьбу, но скрытный и осторожный от природы Мотилал-бабу держал все в тайне. С Чару не было сладу. Периодически, словно полчище маратхов[1], она совершала набег на комнату, где занимался юноша, нарушая тишину его занятий взрывами гнева, любви, досады. При этом минутное волнение, словно молния, озаряло сердце холодного и равнодушного по природе молодого брахмана. В течение долгого времени это невесомое человеческое сердце невозмутимо и равнодушно плыло по волнам бегущего времени и только теперь иногда по рассеянности запутывалось в сетях мечтаний. Время от времени Тарапода сам бросал занятия и шел в библиотеку Мотилала, где рассматривал книги с иллюстрациями. Эти иллюстрации, дополненные образами, созданными его воображением, становились еще красочнее и грандиознее. Юноша уже не шутил, как прежде, над странным поведением Чарушоши, и ему уже не приходило в голову ударить девочку, когда она выводила его из терпения. Эта таинственная перемена в нем и связавшее его чувство привязанности казались юноше каким-то сном.

Тарапода не знал, что свадьба была назначена на благоприятный день в месяце срабон и что Мотилал-бабу послал за его матерью и братьями. Были также даны указания поверенному семьи в Калькутте пригласить музыкантов и послан длинный список необходимых для столь торжественного случая покупок.

Наконец, на небе появились первые дождевые тучи. Деревенская речушка к этому времени совсем высохла, только кое-где в углублениях осталось немного воды. Маленькие лодочки лежали опрокинутыми в грязной воде, а телеги, запряженные быками, проезжая по высохшему руслу реки, оставляли глубокие колеи.

И вот однажды шумный водный поток ринулся на иссохшую грудь деревни, резвясь и играя, словно Парвати, возвратившаяся в родительский дом. Голые ребятишки с громкими криками выбежали на берег реки, с радост-

---

[1] Маратхи — один из народов Индии. В конце XVIII века совершали грабительские набеги на соседние индийские княжества.

ными возгласами они бросались в воду, словно стараясь заключить реку в свои объятия. Обитательницы хижин выходили приветствовать своего старого друга. Набежавшая из неведомых краев могучая волна жизни захлестнула безжизненные, жаждущие деревни. Из отдаленных и близких местностей приплыли нагруженные товарами лодки, большие и малые. На пристани у рынка по вечерам слышались незнакомые песни.

Деревни, раскинувшиеся по обоим берегам реки, одиноко влачили дни, замкнувшись в своих пустынных уголках, занятые своим небольшим хозяйством, и только в период дождей большая жизнь с разнообразными подарками на золотой водяной колеснице приходила проведать своих дочерей-деревень. Чувство гордости, вызванное ощущением своей близости ко всему миру, заставляло их на короткое время забыть о своей незначительности. Все было полно движения, жизни, бодрости. Веселый шум, пришедший издалека, заставлял трепетать даже небеса в этих безмолвных, словно застывших уголках.

Во время праздников в честь бога Вишну в округе Курулока готовилась ярмарка. Однажды лунным вечером Тарапода отправился на берег реки. Лодки с качелями, бродячими труппами актеров, с товарами быстро плыли на ярмарку по возрожденной реке. Музыканты из Калькутты играли громко и весело, певцы пели и громко кричали приветствия под звуки скрипок. Гребцы с запада били в барабаны и цимбалы, раздирая небо лишенными мелодии звуками, — возбуждению не было границ.

Плотные массы облаков, подняв свои огромные потемневшие паруса, приплыли с востока и закрыли луну. Дул порывистый восточный ветер, облака плыли за облаками; смеясь, журчала вода в реке; тьма спустилась на потревоженные леса, протянувшиеся об обоим берегам реки; заквакали лягушки, а стрекот цикад словно пронизал всю ночную темноту. Казалось, что весь мир движется, словно колесница Вишну; вертятся колеса, развеваются знамена, дрожит земля, несутся облака, дует ветер, течет река, плывут лодки, слышатся песни...

Неожиданно загрохотал гром, в небе блеснула молния, из темной дали повеяло свежестью надвигающегося ливня, и только деревня Кантхалия на берегу реки,

заперев двери своих хижин, погасив огонь, продолжала безмятежно дремать.

На следующий день мать и братья Тараподы прибыли в деревню. Три большие лодки, груженные различными товарами, причалили к берегу у конторы заминдара. На рассвете Шонамони, завернув в бумагу плоды манго и захватив с собой пряности в мешочке из листьев, робко подошла к дверям комнаты Тараподы. Юноши там не было!

Прежде чем коварные цепи любви и дружбы сковали его, он темной дождливой ночью ушел в незнающий привязанностей, равнодушный огромный мир.

1895



Жертвоприношение

I

Бойдонатх считался мудрейшим в деревне, а потому больше думал не о том, что есть, а о том, что его ждет впереди. Даже во время свадьбы он видел лик своего будущего наследника отчетливее, чем лицо своей невесты. На свадьбе такое ясновидение встречается не часто. Но Бойдонатх был уже в том зрелом возрасте, когда жертвоприношения в честь усопших предков становятся делом более важным, чем любовь: он женился на Бинодини с единственной целью иметь сына.

Но в этом мире ошибаются даже мудрецы. И когда Бинодини, достигнув совершеннолетия, не исполнила своего основного долга, Бойдонатх встревожился: он увидел перед собой врата ада, уготованного всем мужчинам, у которых нет сыновей. Кроме того, мысль о том, кто унаследует все его огромные богатства после его смерти, мешала ему пользоваться ими при жизни. Как я уже говорил, будущее для него значило больше, чем настоящее.

Разумеется, от юной Бинодини нельзя было ожидать подобной же рассудительности. Бедняжка горько сожалела о том, что ее бесценное настоящее, ее молодость проходят без радости и без любви. Земной огонь сердечных желаний заставлял ее часто забывать о мире потустороннем. И ни свод законов Ману[1], ни духовные

---

[1] Ману — мифический родоначальник человеческого рода, которому приписывается составление «Законов Ману», определяющих правила поведения и общественные обязанности индусов.

наставления Бойдонатха не могли утолить жажду ее алчущего сердца.

Как там ни рассуждай, а в юности для женщины любить и быть любимой — это все, для нее это куда важнее всех прочих обязанностей.

Но на долю Бинодини вместо весеннего ливня первой любви достался каменный град воркотни и упреков, сыпавшихся на нее с высоты небес, где обитали муж, свекровь, тетки и другие столь же важные особы. Все упрекали ее за то, что у нее нет детей.

Обманутая молодость Бинодини напоминала нераспустившийся цветок, увядающий в комнате без света и воздуха.

Бинодини любила играть в карты в доме Кушум, куда она убегала от вечных попреков и придирок. Здесь перед ней не маячила постоянно тень ада, куда ввергают бездетных, и здесь никто не мешал веселым шуткам и разговорам.

Иногда Кушум не хватало партнера, и она звала своего молодого деверя Ногендру сыграть с ними в карты. Бинодини вначале пробовала протестовать, однако Ногендро только смеялся над ее возражениями. Юность не хочет верить, что в жизни одно зачастую влечет за собой совершенно другое и что невинная игра, например, может постепенно привести к чему-нибудь вполне серьезному.

В этом отношении и Бинодини не проявляла никакой твердости. Когда дело доходило до карт, ее не нужно было долго упрашивать.

Итак, Ногендро начал встречаться с Бинодини. Он часто проигрывал, потому что внимание его занимали не карты, а кое-что более интересное и живое. От Кушум не укрылась истинная причина проигрышей Ногендры. И от Бинодини тоже.

Я уже говорил, что юность часто не осознает значения своих поступков. Кушум думала, что это очень интересная забава, и ей хотелось довести ее до конца. Молодость всегда радуется, когда видит, как вырывается из-под земли свежий родник любви.

Бинодини тоже не видела в этом ничего плохого: желание испытать на сердце мужчины свою покоряющую силу может быть иногда незаконным, но оно всегда естественно и понятно.

Так случилось, что во время карточной игры, когда пятерки сменялись четверками, двое игроков в какой-то момент поняли друг друга. Кроме всевышних богов, это заметил третий игрок и порадовался от души.

Однажды в полдень Бинодини, Кушум и Ногендро играли в карты. Заслышав плач своего больного ребенка, Кушум вышла. Ногендро попытался заговорить с Бинодини. Но он сам не понимал, о чем говорил: сердце его учащенно билось, в висках стучало.

И тут всепобеждающая молодость оказалась сильнее сдержанности Ногендры. Схватив Бинодини за руки, он с силой привлек ее к себе и поцеловал.

Этот поступок заставил Бинодини вспыхнуть от гнева и стыда. Она хотела высвободить свои руки, и в этот момент в комнате появилось третье лицо. Их заметили! Ногендро направился к выходу, не смея поднять глаз.

— Госпожа, вас зовет тетка, — проговорила служанка бесстрастным голосом. Бинодини едва сдерживала слезы, но справилась с собой и, сверкнув глазами вслед Ногендре, пошла за служанкой.

Служанка, преуменьшив то, что видела, стократно преувеличила то, чего не видела, и вызвала этим целую бурю на женской половине дома Бойдонатха. Положение Бинодини легче представить себе, чем описать. Склонив голову, она выносила все, не пытаясь даже оправдаться. И тогда Бойдонатх, решив, что ему уже не дождаться появления на свет того, кто позволил бы ему исполнить свой долг перед предками, сказал свое слово: «Прочь из моего дома, грязная тварь!»

Бинодини заперлась в спальне и бросилась на кровать.

Ее глаза были сухи, но они горели, как полуденное солнце в пустыне. Потом, когда сгустились сумерки и в саду раздалось карканье ворон, она вышла из дому. Звезды сверкали над ее головой. Она вспомнила о своей матери, об отце, и слезы ручьями потекли по ее щекам.

Той же ночью Бинодини оставила дом своего мужа. С тех пор никто не мог ее отыскать. В ту ночь Бинодини еще не знала, что она исполнила свой долг и уже носила в себе того, кто мог бы открыть ее мужу дорогу к райскому блаженству.

II

Десять лет прошло после описанных выше событий. За это время благополучие Бойдонатха еще больше упрочилось. Он оставил деревню, купил большой дом в Калькутте и теперь жил в городе.

Чем больше возрастало его богатство, тем больше он беспокоился о наследнике. За десять лет он два раза женился, но вместо наследника эти браки порождали одни лишь домашние дрязги. В доме Бойдонатха вечно толпились астрологи, пандиты, знахари и санниаси. В ход было пущено бесконечное количество амулетов, целебных кореньев и патентованных средств. Из костей козлят, принесенных в жертву на Калигхате[1], образовалась такая куча, что перед ней показалась бы жалкой пирамида из черепов, сложенная Тамерланом. Но все это не могло создать хрупких косточек и живой плоти того крошечного человечка, который должен был занять главное место в огромном дворце Бойдонатха. И когда Бойдонатх думал о том, что не его сын, а кто-то чужой будет есть его хлеб, кусок не шел ему в горло.

Бойдонатх взял еще одну жену — нет края надеждам в мире, и нет числа невестам на выданье!

Астрологи, изучив гороскоп новобрачной, сказали, что благоприятное сочетание звезд говорит о скором появлении в доме Бойдонатха наследника. Однако прошло еще шесть лет, а благоприятное сочетание звезд так и осталось всего лишь сочетанием звезд.

Бойдонатх приходил уже в отчаяние. Наконец, по совету пандитов, хорошо знавших шастры, он решил совершить великое жертвоприношение. Огромные затраты не останавливали Бойдонатха: не меньше сотни брахманов принялись ради него за свои бесконечные богослужения.

В те дни страшный голод надвинулся на Бихар, Бенгал и Ориссу, превратив их жителей в ходячие скелеты. Пока Бойдонатх думал о том, кто будет есть его хлеб, голодающие с тоской смотрели на пустые миски и думали о том, что они будут есть.

---

[1] Калигхат — большое селение к югу от Калькутты, где расположен знаменитый храм богини Кали.

И вот в один из тех дней четвертая жена Бойдонатха испила святой воды, в которой омыли ноги сто брахманов. Затем сто брахманов плотно позавтракали рисом. В полдень они закусили еще плотнее. Оставшиеся после трапезы глиняные горшки, чашки и банановые листья, вымазанные творогом и маслом, пришлось вывозить на мусорных телегах муниципалитета. Но тут голодающие, привлеченные запахом пищи, стали собираться у дома Бойдонатха, и ему пришлось нанять несколько лишних привратников — иначе было невозможно отогнать голодных людей от ворот.

И все-таки однажды утром случилось вот что.

Толстобрюхий санниаси, расположившись на мраморной террасе дома Бойдонатха, истово поглощал второй шер манного пудинга, запивая его полутора шерами молока. Бойдонатх, накинув на себя чадор и молитвенно сложив руки, скромно сидел на полу, наблюдая за священной трапезой. В этот момент измученная, истощенная женщина с худым ребенком появилась на террасе и промолвила слабым голосом:

— Бабу, дай нам хоть немного еды.

— Гурудоял!—закричал потревоженный Бойдонатх.— Эй, где ты, Гурудоял!

Тогда, видя, что хозяин сердится, женщина тихонько попросила:

— Мне не надо. Дай поесть хоть мальчику. А мне ничего не надо...

Но тут появился Гурудоял и выгнал мать, а с нею и мальчика, истощенного, голодного мальчика, который был единственным сыном Бойдонатха.

А тем временем сто жирных брахманов и трое здоровенных санниаси внушили Бойдонатху напрасную надежду на то, что у него будет наследник, и с достоинством принялись за угощение.

1895



Утраченные надежды

Когда я приехал в Дарджилинг, там шел дождь. Выходить на улицу не хотелось, но и сидеть в помещении было невесело.

Я пообедал в гостинице, одел ботинки на толстой подошве, плащ с капюшоном и, несмотря ни на что, пошел гулять.

Над городом нависли тяжелые тучи. Дождь лил, как из ведра. Казалось, творец решил смыть всю вселенную вместе с Гималаями.

Я шел по пустынной Калькуттской улице. Мне хотелось выбраться из этого царства облаков и туманов и снова вступить на твердую землю, шумную, и красочную.

Где-то невдалеке раздался жалобный женский плач. В мире, полном горя и слез, плач — самое заурядное явление. Вероятно, в другой раз я не обратил бы на него внимания. Но здесь, в царстве облаков и туманов, этот плач, казалось, олицетворял всю скорбь исчезнувшего мира. Я не мог пройти мимо.

Подойдя поближе, я заметил сидевшую на камне у дороги женщину, одетую в красное, с золотистой косынкой на голове. Она тихо плакала.

Это было, повидимому, старое горе. Долго накапливались тоска и усталость и сегодня, под влиянием мрачного неба и одиночества, прорвались наружу.

«О, — подумал я, — это может быть началом увлекательной повести. Разве я мог когда-нибудь рассчитывать

на то, что у подножия Гималаев увижу наяву плачущую отшельницу».

Мне не удалось определить, какой она касты. Я участливо спросил у нее на языке хинди:

— Кто вы, что с вами случилось?

Она взглянула на меня мокрыми от слез глазами, но ничего не ответила.

— Не бойся, перед тобой благородный человек, — повторил я.

Женщина улыбнулась и сказала на чистейшем хиндустани:

— У меня давно уже пропал не только страх, но и стыд. Да, бабуджи [1], когда-то даже мой любимый брат не смел войти ко мне без разрешения. А сейчас я ничем не укрыта от чужих глаз.

Мое самолюбие было уязвлено. Мне всегда казалось, что я всем походил на сахиба, а эта несчастная, не колеблясь, назвала меня бабуджи. Я решил закончить на этом свою повесть и, дымя папиросой, быстро удалиться, как надменный английский паровоз.

Но любопытство победило. Напыжившись, склонив голову, я спросил:

— Могу ли я тебе чем-нибудь помочь? У тебя есть какая-нибудь просьба?

Женщина твердо посмотрела мне в глаза:

— Я дочь Голамканд-хана, наваба Бодраона.

Я абсолютно ничего не знал о княжестве Бодраон и навабе Голамканд-хане и не мог представить, какое несчастье заставило его дочь плакать на тротуаре Калькуттской улицы Дарджилинга.

Я ей не поверил. Но к чему было мешать рассказу, который обещал быть весьма интересным. С серьезным видом я отвесил собеседнице глубокий поклон:

— Бибисахеб [2], прости, что я не смог тебя узнать.

Бибисахеб не обратила внимания на мои извинения, но указала мне на свободное место на камне и пригласила сесть. Очевидно, эта женщина умела повелевать. Я испросил разрешения занять место на мокром, покрытом мхом жестком камне и был удостоен этой чести.

---

[1] Бабуджи — господин.
[2] Бибисахеб — госпожа.

Итак, дочь Голамканд-хана из Бодраона разрешила мне расположиться на грязном тротуаре Калькуттской улицы Дарджилинга. Когда я выходил из гостиницы и надевал плащ, такая удача не представлялась мне даже в мечтах.

Загадочный разговор двух путников, мужчины и женщины, уединенно расположившихся на камне у подножия Гималайских гор, безусловно, должен сразу же показаться читателям излишне сентиментальным. У иных, правда, может зазвучать удивительная музыка «Облака вестника» Калидасы, отдаленный шум водопада в пустынной горной пещере. Но все же согласитесь с тем, что трудно найти современного бенгальца, который стал бы гордиться тем, что сидит в макинтоше и европейских ботинках на жестком тротуаре рядом с несчастной женщиной, говорящей на хиндустани. А в тот день кругом все было окутано густым туманом, не было никаких причин прятать глаза от кого бы то ни было — в бескрайном облачном царстве, как два обломка мировой катастрофы, остались только дочь Голамканд-хана из Бодраона и я — новоявленный бенгальский сахиб. Глубокая ирония этой встречи была ведома только нам, от остальных она была скрыта.

— Бибисахеб, кто довел тебя до такого состояния?

Женщина из дома Бодраонов коснулась рукой своего лба:

— Разве я знаю, кто это сделал! Кто окутал ничтожным туманом могучие Гималаи?

Я не стал затевать философского спора и согласился с мнением бибисахеб.

— Тайны судьбы, безусловно, никому неведомы. Мы только лишь ничтожные черви.

Если бы завязался спор, я не отстал бы так легко от бибисахеб. Но мне не хватало знания языка. Хинди, которым я пользовался, общаясь со слугами и привратником, был явно непригоден для того, чтобы обсуждать, сидя на тротуаре, проблемы судьбы с дочерью бодраонского или вообще любого другого наваба.

— Сегодня написана последняя страница истории моей жизни. Приказывай, я расскажу ее тебе.

Смутившись, я ответил:

— О каком приказе может идти речь. Если вы будете так милостивы, что поведаете мне историю своей жизни, я постараюсь быть достойным слушателем.

Пусть читатель не думает, что я именно так произнес эти слова на хиндустани. Мне именно так хотелось сказать их, но это было свыше моих сил.

Когда бибисахеб говорила, казалось, что легкий утренний ветерок колышет умытые росой золотистые нивы, так плавно, красиво и непринужденно лилась ее речь. А я, как варвар, отвечал короткими, отрывистыми фразами — никогда раньше я не думал, что можно говорить с таким легким, законченным изяществом. Я стал остро чувствовать убожество своего воспитания, оно проступало на каждом шагу.

Бибисахеб начала свой рассказ.

— В жилах моих предков текла кровь делийских императоров. Наша семья ревниво оберегала фамильную честь, поэтому было очень трудно найти мне подходящего жениха. Мне сделал предложение наваб Лакнау, но отец колебался, и в это время как раз началась борьба сипаев с правительством. Небо Хиндустана почернело от порохового дыма.

Я никогда прежде не слышал из уст женщины вообще, а тем более из уст женщины благородного происхождения языка хиндустани. Я понял, что это был язык аристократов прошлого. Железные дороги, телеграф, занятость людей, исчезновение аристократии лишили жизнь торжественности, сделали ее неприкрашенной, мелкой. Язык, на котором говорила дочь наваба, волшебная сила слова вызвали в моем сознании чудесную иллюзию. Казалось, ожил дух эпохи могольских императоров[1]. Я видел уходящие в небо дворцы из белого камня, дороги, породистых лошадей с великолепными ковровыми попонами; украшенные золотой бахромой роскошные паланкины, покоившиеся на спинах слонов; горожан в разноцветных тюрбанах, шалях и свободных широких одеждах из шелка и муслина, с кривыми мечами за поясом, в расшитых золотом и серебром туфлях с загнутыми

---

[1] Династия Великих Моголов — мусульманская династия, правившая в Индии в XVI—XVIII вв.

кверху носками; длинные процессии, широкие арки, изысканную вежливость...

Дочь наваба продолжала рассказывать:

— Наш замок находился на берегу Джумны. Начальником войска был брахман. Его звали Кешорлал.

Музыка, звучавшая в голосе женщины, казалось, целиком выразилась в этом слове. Кешорлал! Я нагнулся, положил трость на землю и снова выпрямился.

— Кешорлал был индусом в лучшем смысле этого слова. Каждое утро я наблюдала из круглого окна внутренних покоев дворца, как Кешорлал погружался в воды Джумны и, совершив ритуальный круг, протягивал руку в сторону восходящего солнца. Потом, оставив мокрую одежду на берегу, он совершал ритуальные движения и читал мантры. Затем возвращался во дворец, распевая красивым чистым голосом песни бойраги, которые исполняются перед трапезой. Я была мусульманкой, но никогда не слышала обрядовых песен своей религии и не знала ее ритуалов. Узы религии в те времена из-за праздности, пристрастия к вину и распущенности сильно ослабли среди наших мужчин, не был силен религиозный дух и во внутренних покоях дворца, где больше любили развлекаться. Видимо, господь внушил мне естественную склонность к религии. Во всяком случае, я не вижу иной причины появления у меня этой склонности. Богослужение, которое совершал каждое утро Кешорлал на пустынных белых ступенях на берегу голубой спокойной Джумны, освещенной светом поднимающейся зари, наполняло мое пробуждающееся от сна сердце невыразимым чувством благоговения.

Одухотворенное, молодое, светлое лицо Кешорлала казалось мне чистым лучом звезды; целомудрие и величие брахмана неудержимо влекло к себе глупое сердце мусульманки, наполняя его не испытанным прежде чувством преклонения.

У меня была служанка-индуска. Каждый день она приходила к Кешорлалу и, склонившись, брала прах от его ног. При виде этого я испытывала одновременно и радость и зависть. Иногда служанка приносила ему дакшин, чтобы освятить свой пост.

Однажды я дала ей деньги и попросила пригласить Кешорлала. Она смутилась: «Кешорлал тхакур ни от

кого не принимает даров или угощений». Не видя никакой возможности высказать Кешорлалу прямо или косвенно свое почтение, я чувствовала себя очень несчастной, меня начала томить какая-то жажда.

Я слышала, что кто-то из наших предков силой взял себе в жены индуску из касты брахманов. Сидя в уголке зенаны, я воображала, как священная кровь индуски переливается в мои жилы, и это меня чуть-чуть успокаивало, мне казалось, что я стала немного ближе к Кешорлалу.

Я внимательно слушала захватывающие рассказы моей служанки об обычаях и ритуалах индуизма, удивительные истории богов и богинь, отрывки из «Рамаяны» и «Махабхараты». В этом уголке зенаны передо мной открывалась картина жизни далекого для меня индусского общества. Статуи и изваяния богов, трубный звук раковин, возвещающий время, храмы с крышами, украшенными золотыми карнизами, дым костров, на которых курились священные благовония, аромат цветов, смешанный с запахом алое и сандалового дерева, сверхъестественные способности йогов и санниаси, нечеловеческое величие брахманов, разнообразные игры богов, принявших обличье человека, — все это, смешавшееся вместе, создало какой-то обширный призрачный мир, очень древний и очень далекий. Моя душа как будто летала в вечерних сумерках по покоям огромного старинного замка, как маленькая птичка, потерявшая свое гнездо. Индусское общество представлялось моему девичьему воображению каким-то сказочным миром.

В это время началась борьба сипаев с англичанами. Волна восстания докатилась и до нашего маленького замка Бодраон. Тогда Кешорлал сказал:

— Теперь из страны выкинут европейцев, поедающих говядину, и между индусами и мусульманами завяжется жестокая борьба за власть над Хиндустаном.

Мой отец, Голамканд-хан, был очень осторожным человеком. Среди своих приближенных он заявил:

— Нет предела возможностям англичан. Мы, люди Хиндустана, не в состоянии их победить. Я не хочу терять свое маленькое владение из-из несбыточных надежд. Я не стану бороться против англичан.

Во времена, когда кровь индусов и мусульман лилась во всем Хиндустане, такая купеческая осторожность вы-

звала у всех глубокое отвращение. Даже гарем отца был охвачен волнением. А вооруженный Кешорлал явился с войском к отцу и заявил:

— Наваб сахиб, если вы не станете на нашу сторону, мне придется вас арестовать и взять в свои руки власть в княжестве.

— Не поднимайте беспорядков,— ответил отец,— я стану на вашу сторону.

— Вам придется выделить средства на войну из казны, — сказал Кешорлал.

— Я снабжу вас деньгами, когда это будет необходимо, — ответил отец, но так почти ничего и не дал.

Я сняла с себя все свои украшения, связала их в узел и через служанку тайно отослала Кешорлалу. Кешорлал принял мой дар. Каждый мой нерв трепетал от радости. Кешорлал приказал очистить от ржавчины старинные сабли и стволы ружей. В это время, вздымая пыль до облаков, к замку неожиданно подошел командующий округом с белыми солдатами. Мой отец, Голамканд-хан, тайно сообщил ему о восстании.

Кешорлал пользовался непререкаемым авторитетом в своем войске. Солдаты были готовы по его приказу пойти на смерть даже со сломанными ружьями и тупыми мечами.

Дом предателя-отца стал для меня адом. Мое сердце раскалилось от гнева, боли, стыда и презрения. Но я не проронила ни слезинки. Я переоделась в платье моего брата и вышла из зенаны. Никто меня не видел.

К этому времени пыль уже улеглась, пороховой дым развеялся, выстрелы и крики солдат прекратились. Кругом воцарилась страшная тишина смерти. Над окрашенными кровью водами Джумны зашло солнце, и на вечернем небе взошла полная луна. Поле битвы являло жуткую картину. При иных обстоятельствах сердце мое сжималось бы от жалости к погибшим, но в ту ночь я бродила, как во сне. Я искала Кешорлала, и больше ничего для меня не существовало.

После долгих поисков я увидела в ярком свете лунной ночи недалеко от поля битвы, на берегу Джумны, в тени манговой рощи, мертвые тела Кешорлала и его верного слуги Деокинондона. Кто-то из них перенес второго смертельно раненного друга с поля битвы в это

безопасное место и здесь, в покое, отдал себя в руки смерти.

Наконец, я могла удовлетворить жажду поклонения, столько времени томившую меня. Я упала к ногам Кешорлала, распустила свои волосы до колен и без конца посыпала их прахом от его ног, потом прижала свой разгоряченный лоб к его окоченевшим лотосоподобным ногам и поцеловала их. И тогда из моих глаз полились слезы, которые я так долго сдерживала.

Неожиданно он зашевелился, из уст послышался неясный стон. Я вздрогнула и оторвалась от его ног. Не открывая глаз, он прошептал пересохшими губами:

— Воды.

Я сейчас же побежала к Джумне, намочила край платья и стала выжимать воду на сомкнутые уста Кешорлала. Потом оторвала мокрый подол и перевязала зиявшую на лбу ужасную рану, лишившую его левого глаза.

Я несколько раз бегала к Джумне за водой, кропила его лицо и глаза, и постепенно он стал приходить в себя.

— Принести еще воды? — спросила я.

— Кто ты? — произнес Кешорлал.

Я не могла больше себя сдерживать:

— Я ваша покорная служанка, дочь наваба Голам-канд-хана.

Я надеялась, что Кешорлал узнает перед смертью о своей преданной почитательнице и унесет память о ней в могилу. Этой радости никто у меня не сможет отнять. Но как только Кешорлал узнал меня, он прорычал, как лев:

— Дочь предателя, неверная! Перед смертью ты уничтожила водой из Джумны мою религию!

Он дал мне сильную пощечину. Все потемнело у меня в глазах, я почти лишилась сознания. Мне было в ту пору шестнадцать лет, и я первый раз в жизни вышла из зенаны. Жадные жгучие лучи солнца внешнего мира не согнали тогда еще очарования юности с моих ланит — и вот, стоило мне вступить в этот мир, как я сразу же получила от жизни, от своего бога первое приветствие.

Я сидел как околдованный, не шелохнувшись, с потухшей сигаретой. Я не знал, что слушаю — рассказ или музыку, но не проронил ни слова. Теперь я не вытерпел:

— Животное, — выпалил я.

— Животное? — сказала дочь наваба. — Разве животное отказывается перед смертью от воды?

Смутившись, я поправился:

— Правда, ведь он бог.

— Бог? Разве бог отвергает приношения безраздельно преданной поклонницы?

И я согласился снова.

Она продолжала свой рассказ:

— Сперва меня охватило отчаяние. Мне показалось, что небо разверзлось у меня над головой. Я собрала все свои силы, отошла от этого жестокого, каменного, бесчувственного святого брахмана и совершила пронам, не прикасаясь к его ногам. Мысленно я говорила: «О брахман, ты ничего не принимаешь — ни покорное служение, ни пищу от чужих, ни дар богатого, ни юность девушки, ни любовь женщины; ты независим, ты одинок, ты свободен от всего, ты красив; и я не имею права приносить себя тебе в жертву».

Я не знала, что подумал Кешорлал, увидев, что поверженная в прах дочь наваба простилась с ним; на его лице не отразилось ни удивление, ни какое-либо другое чувство. Он только спокойно посмотрел на меня и затем медленно встал. Я внимательно следила за ним и протянула ему руку для помощи, но он отвел ее и с большим трудом спустился к берегу Джумны, где стояла лодка для перевоза. Вокруг не было ни души. Кешорлал сел в лодку, освободил ее от привязи, и она постепенно исчезла, уносимая течением. Этой тихой ночью мне захотелось бросить в освещенную лунным светом Джумну вслед исчезнувшей лодке, как преждевременно сорванный бутон цветка, все — сердце, молодость, отвергнутую любовь, всю свою ненужную жизнь.

Но я не решилась. Луна на небе, темнеющий на берегу лес, глубокие, спокойные воды Джумны, возвышающаяся вдали за манговой рощей крыша нашего замка, освещенная луной, — все вместе с тихой и глубокой серьезностью пело песню смерти. Этой ночью вся спокойная вселенная, украшенная луной, планетами и звездами, в один голос звала меня к смерти. Лишь одна уже неви-

димая маленькая лодка, плывущая по спокойной тихой Джумне, вырвала меня из рук этой невыразимо прекрасной, холодной, освещенной мягким лунным светом смерти и увлекла меня на дорогу жизни. Как сомнамбула, шла я по берегу Джумны через саловый лес, песчаные отмели, овраги каменистого берега, непроходимый кустарник.

Рассказчица остановилась. Я не нарушал молчания. Наконец, дочь наваба заговорила вновь:

— Последующие события моей жизни были очень запутанными. Я сама не знаю, как в них разобраться. Я шла непроходимым лесом, и разве я могу вспомнить все те тропинки, по которым мне пришлось проходить. Я не знаю, с чего начинать и чем кончить, что опустить и что оставить, как сделать рассказ настолько правдоподобным, чтобы ничто не казалось невероятным и неестественным.

За эти несколько дней я поняла, что в жизни нет ничего невозможного. Дороги жизни могли представляться непроходимыми девочке из зенаны, но это было лишь ее воображение. Если отправишься в путь — дорога найдется; пусть не великолепная, королевская, а обыкновенная, проселочная. Люди всегда ходили по этим дорогам, их много, они ухабисты и часто не имеют конца, они разветвляются, отмечены счастьем и горем, трудностями и препятствиями, но это дороги, по которым можно идти.

Вряд ли приятно слушать о том, как шла по этому обыкновенному человеческому пути одинокая дочь наваба. Да я и не решусь вам обо всем рассказывать. Одним словом, мне пришлось испытать много горя, трудностей, унижений, но жизнь от этого не стала непереносимой. Погаснув, огни фейерверка падают на землю. И я шла быстро по дорогам жизни, не ощущая горевшего во мне огня, а сегодня внезапно погасло яркое пламя моего глубочайшего горя и величайшего счастья, и я брошена в придорожную пыль, как хлам, — мой жизненный путь и мой рассказ на этом кончаются.

Дочь наваба умолкла. Я был в недоумении. Разве это конец? Некоторое время спустя я сказал на ломаном хинди:

— Простите мою невоспитанность, мне кажется, что, если вы выскажетесь до конца, вам станет немного легче.

Она улыбнулась. Очевидно, мой ломаный хинди достиг своей цели. Если бы я говорил на чистом хиндустани, она, вероятно, не справилась бы с чувством неловкости. А мое плохое знание ее родного языка очень отдаляло нас друг от друга, и это могло быть для нее оправданием. Она снова начала рассказывать.

— До меня часто доходили вести о Кешорлале, но встретиться с ним мне не удавалось. Он присоединился к отряду Тантия Топи и внезапно появлялся под небом, окутанным дымом восстания то здесь, то там — на востоке и на западе, на северо-востоке и на юго-западе. Как молния, мгновенно поражал он врагов и также мгновенно исчезал.

В те дни я нашла приют у Шивананда Свами из Бенареса, припала к его стопам и стала изучать под его руководством санскритские шастры. К нему приходили новости со всей Индии. Я благоговейно учила шастры и с трепетом ждала известий о ходе военных действий. Англичанам удалось затоптать пламя восстания в Хиндустане. Вести о Кешорлале сразу перестали поступать. Силуэты героев, которые время от времени появлялись в разных местах Индии, пронизанной кровавыми лучами ужасного пожара, исчезали во тьме.

Я не могла больше оставаться на месте. Я покинула учителя и в одежде почитательницы вновь отправилась в странствия. Я бродила по дорогам, святым местам, монастырям, храмам, но Кешорлала нигде не было. Несколько людей слышали его имя.

— Он умер или на поле битвы, или в тюрьме, — говорили они. Но внутренний голос шептал мне: «Нет, этого не может быть. Кешорлал жив. Этот брахман, этот нестерпимо яркий светильник, не может погаснуть. Он пылает на каком-то недоступном уединенном алтаре для того, чтобы я могла принести себя в жертву».

В шастрах говорится, что подвижничество и знание могут превратить шудру в брахмана. Может ли мусульманка стать брахманкой, об этом в шастрах не упоминается лишь потому, что мусульман в древности не было.

Я знала, что наша встреча откладывается потому, что мне прежде нужно стать брахманкой.

Так прошло тридцать лет. Внутренне и внешне, душой и телом, поступками и привычками я стала брахманкой. Целомудрие и добродетель влили в меня кровь предков Кешорлала. Он — мой брахман на заре жизни и в ее конце. Я страстно желала принести себя в жертву моему единственному в той и этой жизни богу.

Во время восстания я часто слышала о героических делах Кешорлала, но не они запечатлевались в моем сердце. В моей душе хранилась картина того, как безмолвной лунной ночью одинокий Кешорлал плывет в маленькой лодке по спокойной Джумне.

Я всегда видела одно и то же: уносимый течением одинокий брахман дни и ночи стремится к какой-то неведомой тайной цели — у него нет спутницы, нет служанки, он ни в ком не нуждается. Для этого целомудренного, углубленного в себя человека весь мир в нем самом.

Потом до меня дошла весть о том, что Кешорлал бежал из тюрьмы и укрылся в Непале. Я отправилась в Непал и провела там долгое время, пока не узнала о том, что Кешорлал покинул эту страну и никто не знает, куда он уехал.

С тех пор я начала странствовать по горам. Эти места населены не индусами, а бутанцами — варварским племенем, у которого нет никаких правил поведения и приема пищи. Их боги и религиозные ритуалы ничего не имеют общего с индусскими. Поэтому я стала бояться, что утрачу ту безупречную чистоту, которую приобрела долгим подвижничеством. Я твердо была убеждена в том, что моя лодка подошла к берегу и я скоро достигну цели всей моей жизни.

Что мне осталось еще сказать. Конец моего рассказа будет очень коротким. Светильник гаснет, стоит дунуть на него всего лишь один раз. Разве нужно это долго объяснять. Через тридцать восемь лет я приехала сюда, в Дарджилинг, и сегодня утром увидела Кешорлала.

Рассказчица остановилась. С острым интересом я спросил:

— И что же вы увидели?

Дочь наваба ответила:

— Я увидела, как дряхлый Кешорлал в рваных лохмотьях с женой-бутанкой и детьми собирает в одном из грязных дворов бутанской деревни маисовые зерна.

На этом рассказ был окончен. Я решил попытаться как-то успокоить несчастную женщину.

— Как мог тот, кто тридцать восемь лет был вынужден, опасаясь за свою жизнь, поддерживать связи с иноплеменниками, сохранить свою чистоту и традиции нетронутыми?

— Разве мне это непонятно, — возразила дочь наваба. — Но ведь сколько лет я жила этой иллюзией. Разве я знала, что брахманство, так безраздельно покорившее меня в ранней юности, всего лишь привычка, всего лишь обычай. Я считала его священным принципом, основой религии. Шестнадцати лет я ушла из отцовского дома и в ту памятную лунную ночь в ответ на глубокую, безраздельную преданность получила непереносимое оскорбление от руки брахмана. Разве восприняла бы я оскорбление как наказание от руки учителя и, покорно склонив голову, стала бы почитать Кешорлала еще сильнее, если бы не считала брахманство священным принципом? О брахман, ты заменил одни свои привычки другими, а кто даст мне вместо утраченной жизни и юности другую жизнь и юность?

С этими словами женщина встала:

— Всего хорошего, бабуджи.

Потом поправилась и сказала:

— Прощайте, бабусахеб.

Этим мусульманским знаком вежливости она послала последнее прости потерпевшему катастрофу, нестойкому, потерявшему себя брахманству. И она смешалась с серой мглой, окутавшей Гималаи.

Закрыв глаза, я вновь представил себе все эти картины. Я увидел счастливую шестнадцатилетнюю дочь наваба на роскошном ковре у круглого окна, выходящего на берег Джумны, увидел ночью в храме для паломников отшельницу, охваченную глубоким чувством поклонения, наконец увидел окутанную туманом, застывшую в отчаянии пожилую женщину, отягченную безысходным горем разбитого сердца.

Я вновь услышал из уст благородной женщины удивительную, волнующую, музыкальную речь — прекрасный чистый язык урду.

Открыв глаза, я увидел, что тучи неожиданно разошлись и небо засверкало в лучах солнца. Англичанки в экипажах и англичане верхом выехали на прогулку. Проходившие мимо бенгальцы бросали на меня любопытные взоры.

Я поспешно встал. На освещенной солнцем открытой сцене повседневной жизни услышанный в тумане рассказ показался вымыслом. Мне стало казаться, что я выдумал его сам, перемешав в неумеренном количестве дым от сигареты и горный туман,—ни замка на берегу Джумны, ни мусульманки-брахманки, вероятно, никогда не существовало в действительности.

1898



Коронация

Во время свадьбы Нобендушекхора и Орунлекхи бог Ироджапоти, скрытый от глаз смертных клубами дыма церемониального костра, слегка усмехнулся. Увы, то, что служит богам лишь забавою, нам далеко не всегда приносит веселье.

Отца жениха, Пурнендушекхора, хорошо знали в кругах высокопоставленных английских чиновников. Он плыл по морю жизни, искусно пользуясь веслом салам, и скоро добрался до крутых малонаселенных берегов, где обитали райбахадуры.

У него были все данные для того, чтобы достичь еще более труднодоступных вершин почета. Пятидесяти пяти лет, он устремил свой ненасытный взор на окутанные легкой дымкой пики, где пребывали удостоенные титула раджи.

И вдруг он неожиданно оказался в мире, где не было никаких званий. На погребальном костре его натруженная бесконечными поклонами шея обрела, наконец, покой.

Наука утверждает, что энергия не исчезает, а лишь меняет форму и точку приложения. Так и энергия поклонов, постоянная спутница капризной Лакшми, лишь переместилась с плеч отца на плечи сына, словно подбрасываемая волнами тыква. Юная голова Нобенду стала безостановочно склоняться у дверей англичан.

Традиции семьи, из которой Нобенду взял свою вторую жену, были совершенно иными. (Первая жена Нобенду умерла, не оставив детей)

Близкие любили и уважали старшего брата будущей жены Нобенду — Промотхонатха — и считали его идеалом во всех отношениях. Он был бакалавром искусств и от природы был наделен умом. Вместе с тем он не получал большого жалованья, не имел влиятельных покровителей и вообще жил скромно, потому что держался вдали от англичан, так же, как и они от него. Поэтому он не привлекал внимания людей, стоявших вне круга его родных и знакомых.

Но Промотхонатх побывал в Англии и провел там несколько лет. Воспитанность англичан покорила юношу, позабывшего на время о страданиях и унижениях родной страны. Домой он приехал в европейском костюме.

В первый момент братьев и сестер это несколько смутило, но уже через несколько дней они нашли, что европейский костюм чрезвычайно идет их любимцу, и постепенно сами увлеклись иноземными модами.

Вернувшись на родину, Промотхонатх решил показать пример того, как надо держать себя на равной ноге с англичанами.

— Тот, кто утверждает, что перед ними нужно обязательно склонять голову, обнаруживает лишь свое ничтожество и несправедлив к англичанам, — заявил он.

Промотхонатх привез из Англии рекомендательные письма от ряда влиятельных лиц и приобрел некоторый вес среди местных англичан. Его с женой даже стали приглашать к чаю, к обеду, на различные состязания и развлечения. Успех пьянил Промотхонатха и настраивал его восторженно.

В это время железнодорожная компания в связи с открытием новой линии пригласила многих лиц, близких к властям и пользовавшихся почетом, проехать вместе с губернатором по новой дороге. Промотхонатх был в их числе. На обратном пути полицейский инспектор грубо и бесцеремонно ссадил с поезда несколько почтенных индусов. Увидев, что одетый по-европейски Промотхонатх собирается сойти вместе с ними, инспектор обратился к нему:

— Почему вы встали, сэр? Садитесь, пожалуйста, прошу вас.

Такое почтение вызвало у Промотхонатха в первый момент прилив тщеславия.

Но, когда поезд тронулся, ему стало казаться, что гаснущие лучи солнца, садившегося где-то за пашней, за

далеким лесом, словно краской стыда, залили всю страну розовым светом. Промотхонатх, один, в пустом купе, стал пристально вглядываться в край леса, за которым лежала его родная Бенгалия, и глубоко задумался. Сердце его сжалось от ненависти и отвращения, а из глаз закапали слезы...

Он вспомнил притчу об осле, воображавшем, что почести воздают ему, а не идолу, которого он везет.

«Правда, в одном я отличаюсь от осла, — думал Промотхонатх.— Я все же смог понять, что люди поклоняются не мне, а моей поклаже».

Дома Промотхонатх созвал детей, разжег костер и побросал в него всю свою европейскую одежду. Высоко взметнулось пламя, и дети весело плясали у костра. С этих пор Промотхонатх отказался от чаю и закусок в английских домах и вновь замкнулся в своей домашней крепости. А выгнанные из поезда обладатели титулов по-прежнему униженно покачивали тюрбанами у дверей англичан.

По злой иронии судьбы несчастный Нобенду Шекхор женился на средней сестре Промотхонатха.

Нобенду считал, что выгодно женился: девушки из этого дома были образованны, воспитанны, красивы. Со своей стороны он всячески старался подчеркнуть, что и они не проиграли, породнившись с ним. Как бы ненароком он вытаскивал из кармана письма, которые его отец получал от сановных англичан, и показывал их свояченицам. Но, когда он заметил на вишневых устах ехидную усмешку, напоминающую сверкающий кончик кинжала, высовывающийся из бархатных ножен, бедняга начал понимать, куда он попал.

«Я совершил большую ошибку»,— говорил он себе.

Самой красивой и развитой была старшая сестра Промотхонатха — Лабоньялекха. Однажды она вместе с Орунлекхой поставила на выступ камина в спальне Нобенду пару английских ботинок, украсив их киноварью. Впереди проказницы поставили два горящих светильника, цветы, сандаловую пасту и разожгли благовония.

Как только Нобенду вошел в комнату, сестры взяли его за уши.

— Поклонись своему западному идолу, и да получишь ты по его милости повышение в звании! — приказали они.

Третья сестра, Киронлениха, долго вышивала на чадоре добрую сотню распространенных английских фамилий, вроде Джонса, Смита, Брауна, Томсона и т. п., и, наконец, торжественно вручила подарок Нобенду.

Шошонлекху, четвертую сестру, можно было бы вообще не принимать в расчет за малолетством. Но и она внесла предложение:

— Братик, давай я смастерю тебе четки, и ты сможешь повторять про себя имена сахибов.

Старшие сестры осадили дерзкую девчонку:

— Иди и не смей больше фамильярничать со взрослыми.

Нобенду сердился в душе и чувствовал себя очень неловко. Но не видеться с сестрами у него не хватало сил,— они покорили его своим обаянием. Особенно старшая, у которой очарование соперничало с язвительностью.

Нобенду походил на мотылька с обожженными крыльями,— в своей слепой ярости он лишь жужжит и бессмысленно кружится на месте.

Общество своячениц окончательно околдовало Нобенду. «Я вовсе не стремлюсь добиваться расположения сахибов»,— заверял он. Идя на поклон к губернатору, он говорил свояченицам, что идет послушать речь Сурендраната Баннерджи. Отправляясь на вокзал засвидетельствовать свое почтение вице-губернатору, возвращавшемуся из Дарджилинга, Нобенду притворился, что встречает дядю.

Бедняге было очень трудно сохранять равновесие, стоя одной ногой в лодке сахибов, а другой в лодке своячениц. Но сестры дали себе слово сломать первую лодку.

Пошел слух, что в день рождения королевы Виктории Нобенду поднимется на первую ступень ведущей на небо лестницы табеля рангов, — получит титул райбахадура. Однако бедняга не решался доверить радостную весть свояченицам и лишь однажды вечером, когда яркая осенняя луна притупила его бдительность, волнуясь, открылся своей жене.

На следующий день днем Орунлекха отправилась в паланкине к старшей сестре и, плача, стала жаловаться на свою судьбу.

— Ну, не вырастет же хвост у твоего мужа, если он

станет райбахадуром, чего же ты так убиваешься, — возражала сестра.

Орунлекха упорствовала.

— Нет, нет, диди, я согласна стать кем угодно, только не райбахадуршей.

Ее антипатия к этому титулу была вызвана тем, что один из ее знакомых, Бхутонатх-бабу, был райбахадуром и ей не хотелось быть похожей на его жену.

Лабонья долго убеждала сестру согласиться стать райбахадуршей. Но ничего не помогало, и, она, наконец, согласилась помочь сестре.

Муж Лабоньи Нилротон работал в Бокшаре. В конце осени они пригласили Нобенду к себе. Он был несказанно рад и немедленно пошел на вокзал. Причем, когда он садился в вагон, левая рука у него не дрожала. Из этого нужно сделать вывод: вера в то, что левая рука дрожит перед бедой, — всего лишь слепой предрассудок.

Осенний воздух Запада пошел на пользу Лабонье — ее красота расцвела еще больше. Веселая улыбка не сходила с уст, чем-то напоминая распустившиеся под осенним солнцем на пустынном берегу реки цветы на дереве каш.

Восхищенный Нобенду как будто увидел куст жасмина в цвету, весь унизанный холодными каплями росы, блестящей в лучах утреннего солнца.

Климат Запада и удовольствие видеть свояченицу принесли пользу и Нобенду. Он пополнел, прошла его худоба.

Опьяненный здоровьем, покоренный заботами и красотой свояченицы, Нобенду чувствовал себя на седьмом небе.

Протекавший за садом полноводный Ганг катил свои шумные воды в бесцельном беге и, казалось, олицетворял безудержное безумие Нобенду.

Утром гость гулял по берегу реки, и мягкие лучи осеннего солнца, как встреча с возлюбленной, наполняли его чувством довольства жизнью. Потом он возвращался в дом и помогал свояченице готовить обед, на каждом шагу проявляя невежество и неуклюжесть. Однако глупый невежда вовсе не старался исправить свои ошибки внимательностью и тренировкой, ибо хотя он каждый раз и ругал себя, но упреки и выговоры свояченицы его совсем не охлаждали.

Как новорожденный младенец, он обнаруживал удивительную беспомощность, неумелость и неловкость в самых простых вещах — не мог снять кастрюлю с огня или посмотреть за рисом, чтобы он не подгорел, не мог положить в блюдо нужное количество соли, перцу или других специй.

Участливые насмешки и шутливая брань свояченицы доставляли ему одно удовольствие.

Днем голод, нетерпение, аппетитность блюд, а также тирания и чарующая любезность хозяйки, любопытные взгляды родственников не давали ему по-настоящему оценить обед.

После обеда играли в карты. И здесь Нобенду не проявлял никаких способностей. Он прятал карты, подглядывал, ожесточенно спорил и все же никак не мог выиграть. Проигрыш он категорически отказывался признать и возражал до хрипоты. Нечеловеческие усилия, которые он прилагал, для того чтобы не делать ошибок, не помогли — он все равно проигрывал.

Однако в одном Нобенду стал неузнаваем. Он совсем позабыл о том, что главная цель в его жизни — поклонение сахибам. Всем сердцем он ощущал, сколько радости и гордости собой может дать уважение и забота родных. Вместе с тем он попал в совершенно иную атмосферу. Нилротон, муж Лабоньи, занимал довольно крупный пост в суде и вовсе не пытался расположить к себе сахибов.

— Нет никакого смысла, дорогой,— неизменно заявлял Нилротон.— Если вежливость остается без ответа, то сколько ни давай сам, ничего не получишь взамен. Пусть песок пустыни ослепительно бел, но разве на нем можно сеять. Сей на черноземе, если хочешь собрать урожай.

Против ожидания Нобенду соглашался со взглядами Нилротона. Правда, ему не приходилось заботиться об урожае. Перспективы получения титула райбахадура росли сами собою на возделанной отцом и им самим почве. Ее больше не нужно было поливать. Когда-то он, затратив большие средства, выстроил в городе ипподром — предмет особой страсти англичан.

Как раз в то время, когда Нобенду гостил в Бокшаре, создавался Конгресс. Собирали средства, и Нилротону прислали подписной лист. Когда Нилротон с листом в руках вошел в комнату, Нобенду беззаботно играл с Лабоньей в карты.

— Нужно подписаться,— сказал хозяин.

Нобенду побледнел — прежние привычки взяли в нем верх. Лабонья воскликнула:

— Смотри, будь осторожен. Как бы твой ипподром не пошел прахом.

Нобенду выпятил грудь:

— Ты, наверное, думаешь, что эта мысль не даст мне спать по ночам.

Нилротон успокаивал гостя:

— Не беспокойся, твое имя не появится ни в одной газете.

Как бы в раздумье, Лабонья возражала:

— Все-таки опасно. Разве иногда не случается, что...

Нобенду рассердился.

— Ничего особенного не случится, если даже мое имя попадет в газеты,— сказал он, выхватил лист у Нилротона и одним махом подписался на тысячу рупий. В душе он, разумеется, надеялся, что его пожертвование газеты обойдут молчанием.

— Что ты наделал,— схватилась за голову Лабонья.

— Разве я сделал что-нибудь плохое? — горделиво возразил Нобенду.

— А вдруг теперь железнодоржный кондуктор, приказчик в европейском магазине или грум на ипподроме рассердятся и в отместку откажутся принять приглашение на праздник пуджи, не станут пить с тобой шампанское и хлопать тебя по плечу, — сказала Лабонья.

— Вероятно, я умру тогда у себя дома в одиночестве,— высокомерно ответил Нобенду.

Через несколько дней, читая за чаем газету, Нобенду наткнулся на письмо, подписанное некиим X-ом. Автор неумеренно благодарил Нобенду за пожертвование в фонд Конгресса и заявлял, что вступление Нобенду в ряды конгрессистов «неизмеримо увеличило силу нашей организации».

Увеличивать силу Конгресса! О покойный сеятель Пурнендушекхор! Разве для этого ты породил на индийской земле несчастного Нобенду?

Огорчение смешивалось с радостью. Значит, он не такой уж маленький человек, если и англичане и конгрессисты напряженно следят за удочкой, нетерпеливо стараясь поймать на крючок такую крупную рыбу.

Улыбаясь во все лицо, Нобенду пошел показать газету Лабонье. Она изобразила на лице крайнее изумление:

— О боже мой, кто мог все это разгласить! Кто же этот враг, чтоб его перо изъели черви, чтоб песок набился в его чернильницу, чтоб сгнила бумага, на которой он пишет.

Нобенду рассмеялся:

— Да не проклинай же ты его. Я прощаю и благословляю автора этого письма, и да станут золотыми его перо и чернильница!

Через два дня по почте пришла издававшаяся англичанами газета, враждебная Конгрессу. В ней за подписью «Осведомленный» было напечатано опровержение заметки, опубликованной в конгрессистской газете. Автор опровержения писал, что никто из знающих Нобенду никогда не поверит клеветническим измышлениям по его адресу. Как леопард не может освободиться от своих черных пятен, так не может и человек, подобный Нобенду, стать конгрессистом, Нобенду-бабу для этого слишком состоятельный человек, он не ищущий работу бакалавр и не безработный адвокат. Он не из тех, кто, покрутившись в Англии и неумело подражая европейским манерам и модам, пытается втереться в английское общество и, потерпев неудачу, разочарованный, отходит от него. Поэтому разве он мог... и т. д. и т. п.

О покойный отец Пурнендушекхор! Как мог ты умереть, завоевав такое признание и доверие англичан!

Этим письмом, как павлиньим хвостом, можно было покрасоваться перед Лабоньей. Письмо неопровержимо доказывало, что Нобендушекхор принадлежит к влиятельным и состоятельным лицам, а вовсе не к безвестным неудачникам.

Лабонья вновь притворилась крайне изумленной:

— Какой необыкновенный, чудесный друг написал эту заметку! Наверное, кондуктор, коммивояжер или же какой-нибудь музыкант!

— Тебе следует написать опровержение,— заметил Нилротон.

— Разве это так уж необходимо? Мало ли что говорят, неужели все нужно опровергать,— небрежно возразил Нобенду.

Лабонья залилась громким смехом. Нобенду был озадачен:

— В чем дело, почему ты смеешься?

Но свояченица хохотала с неудержимой силой. Ее юная фигурка трепетала от смеха, как лиана на ветру.

Острое жало насмешливого хохота укололо Нобенду. Он смешался и огорченно спросил:

— Ты, наверное, думаешь, что я боюсь написать опровержение?

— Я так и думала. Ты все еще хочешь спасти свой ипподром, ведь с ним связано столько надежд. Впрочем, человеку свойственно надеяться до самой смерти.

— Видимо, поэтому я не хочу писать опровержение,— в сердцах воскликнул бедняга и схватил чернильницу и перо.

Однако опровержение получалось слишком вялым. Лабонье и Нилротону пришлось взять на себя обязанности редакторов.

Казалось, они пекли лучи[1]. Стремясь сделать тесто нежнее, Нобенду подливал воду и масло и старательно его раскатывал, а оба его помощника с неменьшим усердием подбавляли огня, чтобы печенье вышло сухим и горячим.

Например, они написали, что внутренние враги гораздо страшнее других врагов. Для правительства Индии надменное англо-индийское общество опаснее русских и патанов. Именно оно больше всего мешает укреплению уз дружбы между правительством и народом. А англо-индийские газеты, как камень, преграждают путь для расширения этой дружбы, над чем упорно трудится Конгресс и т. д.

В душе Нобенду чувствовал страх, а временами его охватывала радость. «Какое внимательное письмо! Я никогда сам не смог бы так написать».

Вскоре во многих газетах началась бурная дискуссия в связи с вступлением Нобенду в Конгресс и его взносом в фонд партии.

Сам Нобенду был в отчаянии. Свояченицы характеризовали его как бесстрашного патриота, а Лабонья усмехалась про себя: решающее испытание, дружок, у тебя еще впереди

[1] Лучи — лепешки.

Однажды утром перед купанием, когда Нобенду натирал себя благовониями и усердно старался достать труднодоступные части спины, слуга принес визитную карточку, на которой была собственноручная подпись самого господина окружного судьи.

Из внутренних покоев за ним с усмешкой наблюдала Лабонья.

С судьей невозможно было встретиться, не натерев себя благовониями. Нобенду метался, как рыба, которую жарят на сковородке. Он мгновенно умылся, кое-как оделся и, запыхавшись, выбежал в переднюю.

Служанка сказала, что сахиб долго его ждал и, наконец, ушел.

Определить, кто был больше повинен в этой лжи — служанка или госпожа, — было бы трудно даже самому педантичному моралисту.

Встревоженное сердце Нобенду трепыхалось, как отрезанный у ящерицы хвост. Ни во время еды, ни во время отдыха он не знал ни минуты покоя.

Лабонью разбирал смех, но она, делая вид, что ничего не знает, весь день участливо спрашивала Нобенду:

— Что с тобой, не заболел ли ты?

Нобенду через силу улыбался. Он ответил так, как подобало.

— О какой болезни может идти речь в твоем доме. Твое присутствие исцеляет от всех болезней.

Улыбка сошла с его уст. Он принялся размышлять: «Я сделал взнос в фонд Конгресса, написал в газету резкое письмо и в довершение всего заставил ждать сахиба судью. Что он теперь подумает обо мне! О отец, о Пурнендушекхор. По злому року судьбы я все время предстаю совсем не таким, каким я являюсь на самом деле.

На следующий день Нобенду принарядился, одел огромный тюрбан, в карман положил часы с цепочкой.

— Ты куда? — спросила Лабонья.

— Да у меня тут одно дело...

Лабонья больше ничего не сказала.

Как только Нобенду подошел к дверям дома сахиба и стал вытаскивать визитную карточку, швейцар заявил:

— Сахиб занят.

Тогда он достал из кармана две рупии. Швейцар поспешно поклонился.

— Нас пятеро, — добавил он.

Нобенду проворно вынул десять рупий, и через несколько минут его пригласили к сахибу.

Надев халат и домашние туфли, сахиб читал газету. Он пальцем указал Нобенду на стул и, не отрывая глаз от газеты, спросил:

— Что вам от меня нужно, бабу?

Нобенду дрожащим голосом, нервно перебирая цепочку часов, проговорил:

— Вчера... вы были так добры... навестили меня, но...

Сахиб грозно нахмурил брови и прервал чтение газеты:

— Навестить! Что за чепуху вы городите, бабу!

Взмокший от испуга Нобенду, бормоча: «Простите... умоляю, простите... вышла какая-то ошибка...», — кое-как выбрался из кабинета сахиба.

Даже ночью, лежа в постели, он, одолеваемый кошмаром, слышал голос, говоривший: «Бабу, вы невозможный идиот!»

Когда Нобенду плелся домой, ему пришла в голову мысль: «Судья, видимо, до сих пор гневается и поэтому сделал вид, что вовсе не был у меня. О мать-земля, разреши мои сомнения». Но просьба Нобенду не была услышана, и он вернулся домой.

Лабонье он сказал, что ходил за розовой водой, — просили послать домой. Рассказ был нарушен появлением констеблей, их было человек шесть. Констебли вытянулись при виде Нобенду, молча улыбаясь.

— Тебя, видимо, пришли арестовать за взнос в кассу Конгресса? — смеясь, спросила Лабонья. Шесть констеблей протянули шесть ладоней:

— Бакшиш, бабу сахиб.

— Бакшиш? Какой бакшиш? — удивленно спросил вышедший из соседней комнаты Нилротон.

— Господин навестил сегодня сахиба-судью.

— О, судья-сахиб сегодня распродавал розовую воду. Раньше он что-то никогда не занимался столь безобидным делом, — сказала Лабонья.

Несчастный Нобенду ярко представил себе всю чудовищность подобного предположения и забормотал такую чепуху, что никто ничего не мог понять.

— Не за что давать вам бакшиш, — сказал Нилротон. — Бакшиша не будет.

Нобенду смущенно вытащил из кармана банкноту:

— Они люди бедные, им надо что-нибудь дать.

Нилротон выхватил банкноту из рук несчастного:

— Есть люди победнее, я отдам деньги им.

Нобенду был очень встревожен тем, что ему не позволили хоть немного умилостивить духов грозного Исвара [1]. Когда констебли, бросая грозные взгляды, собрались уходить, Нобенду жалобно посмотрел в их сторону, как бы без слов давая им понять: «Вы видите, господа, я ни в чем не виноват».

В Калькутте открылся съезд Конгресса. Нилротон с женой вернулись в столицу, с ними приехал и Нобенду. На вокзале представители Конгресса окружили Нобенду и исполнили перед ним пляску Шивы. Не было конца дифирамбам в его адрес:

— Страна ничего не добьется, пока такие вожди, как вы, не займутся деятельностью на ее благо!

Нобенду не мог отрицать справедливости этих слов. Так, с блеском и шумом он стал одним из лидеров страны.

Когда он посещал собрания Конгресса, все дружно встречали его европейским приветствием — возгласами «Гип, гип, ура!» А уши родины становились розовыми от стыда.

Наступил день рождения королевы Виктории. Нобенду не оказалось в списке удостоенных титула райбахадура — звание, казавшееся таким близким, исчезло, как мираж.

В тот же день, вечером, Лабоньялекха пригласила Нобенду и торжественно поставила ему на лоб красной сандаловой краской тилак [2]. Свояченицы надели ему на шею гирлянды цветов, одетая в красные одежды Орунлекха пряталась за кулисами, только глаза ее сверкали от смеха, смущения и тщеславия. Сестры вложили ей в руку венок и тщетно пытались вытащить на сцену. Этот главный трофей долго, до самой ночи, в одиночестве ждал Нобенду.

---

[1] Исвар — в индийской мифологии, бог — хозяин вселенной.
[2] Тилак — знак касты.

— Сегодня мы тебя коронуем, — заявили свояченицы.— В Индии больше никто не заслужил таких почестей.

Лишь сердце Нобенду да всевышний знали, совсем ли он успокоился. Мы питаем на этот счет большие сомнения. Более того, мы твердо верим, что Нобенду еще когда-нибудь станет райбахадуром. А после его смерти «Пионер» и «Англичанин» будут вместе его оплакивать. А пока троекратное ура бабу Нобендушекхору — гип, гип, ура, гип, гип, ура, гип, гип, ура!

1898



Утерянное сокровище

Моя лодка стояла у старой, полуразрушенной пристани. Солнце скрылось за горизонтом, и поверхность реки, отливая то золотом, то сталью, искрилась сверкающей радугой ярких и бледных оттенков, незаметно переходящих один в другой.

Лодочник, сидя на крыше лодки, совершал намаз. Его фигура, склонившаяся в беззвучной молитве, на фоне огненного небосклона казалась высеченной из черного дерева.

Вечернюю тишину нарушал лишь стрекот цикад. Я сидел на ступенях ведущей к реке каменной лестницы, сквозь трещины которой пробились могучие корни ошотха[1]. Передо мной возвышался большой старый дом с разбитыми окнами и развалившейся верандой. На душе было очень грустно, и глаза невольно наполнялись слезами. Неожиданно рядом раздался голос, при звуке которого я вздрогнул:

— Откуда изволили пожаловать, милостивый государь?

Я поднял голову и увидел истощенного, словно обиженного судьбой человека. Как у большинства бенгальцев, которым в поисках работы пришлось покинуть родные места, у него было изможденное лицо, на котором застыло безразличие. Поверх дхоти на этом господине был одет расстегнутый грязный и засаленный сюртук. Повидимому, несчастный недавно закончил работу и

---

[1] Ошо̆тх — священное фиговое дерево.

теперь, когда подошел час ужина, довольствовался лишь тем, что бродил по берегу реки и глотал свежий вечерний воздух.

Незнакомец присел рядом со мной.

— Я прибыл из Ранчи, — ответил я на его вопрос.

— Чем занимаетесь?

— Коммерсант.

— Чем торгуете?

— Овощами, шелковыми коконами и лесом.

— Как же вас зовут?

Немного помедлив, я назвал вымышленное имя.

Но любопытство пришельца все еще не было удовлетворено. Последовал новый вопрос:

— Ради чего изволили прибыть сюда?

— Для перемены климата.

Мой собеседник, казалось, был несколько озадачен.

— Милостивый государь, — повернулся он ко мне, — вот уже почти шесть лет, как я непрерывно пользуюсь благами здешнего климата да еще в общей сложности принимаю ежедневно по пятнадцать гран хинина, а толку что-то не видно.

— Все же вам придется признать, — возразил я, — что после Ранчи здешний климат кажется значительно лучше.

— Н-да, пожалуй, значительно,— проговорил незнакомец. — А где вы думаете остановиться?

Я указал на ветхое строение, возвышавшееся над речной лестницей, и ответил:

— Вот в этом доме.

Мне показалось, что в душе моего нового знакомого зародилось подозрение, будто я обнаружил в этом покинутом доме клад. Однако, не высказав его, он подробно рассказал мне о том, что произошло в этом доме пятнадцать лет назад.

Человек этот оказался местным школьным учителем. У него была лысая голова и огромные глубоко посаженные глаза, которые на иссушенном голодом и болезнями лице неестественно сверкали. Когда я смотрел на незнакомца, мне невольно приходила на память поэма английского поэта Колриджа «Старый моряк» [1].

---

[1] Колридж — английский поэт (1772—1834).

Лодочник закончил намаз и занялся приготовлением ужина. Последние отблески вечерней зари упали на безлюдное, угрюмое строение, которое поднималось над нами, как мрачный призрак своего былого великолепия.

Итак, учитель начал свой рассказ.

Примерно за десять лет до того как я приехал сюда, в этом доме жил Фонибхушон Саха. От своего бездетного дяди Дургамохона Саха он получил в наследство большое состояние и дело.

Но Фонибхушон Саха получил образование и был воспитан в современном духе. Он входил в кабинет сахиба — своего компаньона — не снимая обуви и разговаривал с ним на безукоризненном английском языке. К тому же Фонибхушон носил бороду. Словом, достаточно было взглянуть на Саха, чтобы убедиться: он — бенгалец нового склада. Понятно, он не имел никаких шансов на успех у сахиба.

Дома у него тоже было не все благополучно. Сами посудите: современное образование, да к тому же красивая жена! Ясно, при таком сочетании добрые старые обычаи сохраниться в доме не могли. Дело доходило до того, что, если он или его жена заболевали, на дом вызывали помощника здешнего хирурга! Не менее расточителен был он и в расходах на питание, одежду и украшения для жены.

Вы, сударь, несомненно, человек женатый, поэтому нет нужды вам объяснять, что женщины обычно любят незрелые, кислые плоды манго, крепкий красный перец и крутого мужа. При этом, если мужчина уродлив или беден, еще не значит, что жена его не будет любить, но если он слишком мягок — это неизбежно.

Вы спросите: почему? Я вам отвечу. Я много думал об этом. Никто не может быть счастлив, если не сознает, что делает именно то, к чему от природы склонен и на что способен. Лань, чтобы поточить рога, выбирает ствол твердого дерева, и ей не доставляет никакого удовольствия тереться о мягкий банан. То же самое и с женщиной. С тех самых пор, когда впервые появилось различие между женщиной и мужчиной, она постоянно различными уловками стремится обмануть и подчинить себе неподатливого мужчину. И она хорошо усвоила эту науку. Жену уступчивого мужа можно только пожалеть — бедняга обречена на бездеятельность. Великолепное,

тысячелетиями отточенное оружие, унаследованное ею от бабушек и прабабушек — огненные стрелы, арканы и ловушки, — оказывается для нее бесполезным. Добиваться любви мужчины, используя всю силу, все свое искусство, — вот чего хочет женщина. И когда муж настолько кроток и добр, что не дает ей такой возможности, — тогда тяжела бывает доля мужа, а участь жены и того горше.

Околдованный современной цивилизацией и образованием, мужчина утратил свою исконную, богом данную грубость и жестокость, в результате чего в нынешнем обществе ослабли супружеские узы. Что касается несчастного Фонибхушона, то он вышел из машины цивилизации совершенно безупречным человеком — поэтому ни в делах, ни в семейной жизни у него удачи не было.

Жену Фонибхушона звали Монималика. Ласки доставались ей без труда, даккские сари — без слез, а для того чтобы получить новые браслеты, ей не приходилось подолгу капризничать и надоедать мужу настойчивыми просьбами. Это привело к тому, что все женское в ее натуре притупилось, а вместе с тем зачахла и ее любовь к мужу. Она лишь принимала, ничего не давая взамен. Безобидный и неразумный супруг воображал, что дар — лучшее средство добиться ответного дара. В действительности же, мы знаем, дело обстоит как раз наоборот!

В конечном счете Монималика стала смотреть на Фонибхушона лишь как на машину для приобретения новых даккских сари и браслеток; причем это была такая удобная машина, у которой даже колеса никогда не приходилось подмазывать.

Родился Фонибхушон в Фулбере, однако торговые дела заставляли его проводить большую часть времени здесь. Матери у него не было, и в фулберском доме проживало множество теток и всяких там родственников. Но Фонибхушон привел в дом такую красивую жену не для того, чтобы она прислуживала его родным. Он счел за лучшее увезти ее и поселить вот в этом самом доме, для себя одного. Впрочем, жена отличается от всякого другого имущества, которым владеет человек, тем, что если ее разлучить с родственниками и держать только при себе, то это еще вовсе не значит, что ее всегда найдешь на месте.

Жена Фонибхушона разговаривала мало, с соседками судачить не любила, не было случая, чтобы она, хотя бы из благочестия, угостила брахмана или подала несколько пайс нищей вишнуитке[1]. У нее ничего не пропадало; она тщательно собирала и хранила все, что получала, кроме... ласк мужа. Но самое удивительное заключалось в том, что Монималика, казалось, не растратила ни крупицы своей молодости и чудесной красоты. Говорят, в двадцать шесть лет она выглядела такой же юной, как и в четырнадцать. У кого вместо сердца — кусок льда, чья грудь не знает мук любви, те и сохраняют, я думаю, очень долго краски молодости — они, как скряги, оберегают свою душу и тело.

Подобно тому как не плодоносит слишком пышно разросшаяся, густолистая лоза, так и Монималика была бесплодной. Творец лишил ее детей, то есть не дал того единственного, что могло бы стать для этой женщины дороже сокровищ ее железного сундука, того, что лишь одно могло бы, как солнце весеннего утра, растопить своим мягким теплом лед ее сердца и превратить этот лед в источник любви и семейного счастья.

Жена Фонибхушона умело управлялась с домашними делами, никогда не держала лишних слуг: Монималика не могла допустить, чтобы кто-то получал жалование за ту работу, которую она в состоянии выполнить сама. Она никого не любила, ни о ком не заботилась, она лишь работала и копила; поэтому Монималика не знала ни болезней, ни печалей, ни страданий. В окружении своих сокровищ эта женщина блистала несокрушимым здоровьем и непоколебимым спокойствием.

Такая жена вполне устроила бы большинство мужей, более того — они были бы очень довольны ею. Человек не замечает, что у него есть поясница, покуда не получил прострел; если же мужчина на каждом шагу, все двадцать четыре часа в сутки, чувствует, что у него есть оплот домашнего очага — жена, которая терзает его своей любовью, то это и есть — прострел в семейной жизни! Чрезмерная привязанность к мужу хотя и является предметом гордости женщины, супругу приносит одно лишь беспокойство — таково по крайней мере мое твердое убеждение.

---

[1] Вишнуитка — почитательница бога Вишну.

Посудите сами, разве это мужское дело — каждый день ломать голову над вопросом, одарила ли меня жена должной мерой любви? Настоящий мужчина рассуждает иначе: «Жена пусть себе занимается своим делом, а я буду заниматься своим». Создатель не наградил мужчину способностью тонко чувствовать, разбираться в том, сколько явного в скрытом, сколько в чувстве бесчувствия, какая доля намека в ясно сказанном, какое значение имеет каждая ничего не значащая мелочь; да и давать ему такую способность было незачем. Другое дело — женщины. Они тщательнейшим образом взвешивают малейший знак внимания или невнимания со стороны мужа, пытаются уловить значение каждого его слова, каждого жеста. И это понятно, потому что вся сила женщины, главное богатство ее жизни заключаются в любви мужа. Для женщины любовь мужа все равно что непослушный ветер: лишь правильно определив его направление, она сможет вовремя поднять парус и направить свою лодку к берегу заветных желаний. Потому-то господь и поместил компас любви в сердце женщины, а мужчине не дал его. Но в наше время мужчины стремятся заполучить и то, что не отпущено им богом. Поэты же превзошли самого всевышнего и бездумно передали в руки всех и каждого эту прежде недоступную вещь.

На господа я не ропщу — он создал мужчину и женщину достаточно разными; но беда в том, что при нынешней цивилизации этой разницы больше не существует: женщина превращается в мужчину, мужчина — в женщину, а в результате — из дома уходят покой и порядок. Дело дошло до того, что нынче жених и невеста перед свадьбой дрожат от страха, потому что не в состоянии понять, что это за существо, с которым я вступаю в брак, — мужчина или женщина?

Вам не надоела моя болтовня? Видите ли, живу я поневоле одиноко, жена отсюда далеко. Со стороны же лучше видны многие сокровенные стороны домашней жизни. Но ведь обо всем этом ученикам не расскажешь... Я уже отчасти ввел вас в курс моих рассуждений. Теперь послушайте дальше, и вы увидите, насколько я прав.

Словом, дело обстояло вот как. Несмотря на то что в пище Фонибхушона всегда было достаточно соли, а в бетеле никогда не было лишней извести, он все же по-

стоянно чувствовал, что в его жизни «что-то не так». И это «что-то не так» незаживающей раной разъедало его сердце. Он не мог сказать, что его жена в чем-то виновата перед ним, не мог упрекнуть ее в каком-нибудь упущении; и тем не менее он не был счастлив. Брильянтами и жемчугом пытался он заполнить сердце Монималики, но они попадали в железный сундук, а сердце ее попрежнему оставалось пустым. Покойный дядя Дургомохан не чувствовал любви так тонко, да и не расточал ее так обильно, зато супруга его всегда возвращала ему эту любовь сторицей. Одним словом, если уж ты стал купцом, то отбрось всякое новомодное джентльментство, а если ты муж, то будь мужчиной, — иначе дела у тебя не пойдут. А в том, что это верно, можете не сомневаться.

В этот момент в соседней роще пронзительно залаяли шакалы, на несколько минут прервав рассказ школьного учителя. И мне показалось, будто насмешники от души хохотали над изложенной моим новым знакомым системой супружеской жизни. А быть может, они смеялись над поведением несчастного Фонибхушона — жертвы новой цивилизации?

После того как шакалы, излив свои чувства, умолкли и мир погрузился в еще большее, чем прежде, безмолвие, учитель, уставившись широко раскрытыми горящими глазами во мрак ночи, возобновил рассказ.

Неожиданно перед Фонибхушоном в его большом и сложном деле возникли опасные трудности. В чем эти трудности заключались — мне, не торговцу, понять и объяснить вам нелегко. Но как бы там ни было, он вдруг очутился перед опасностью лишиться кредита. Если бы ему удалось всего лишь дней на пять раздобыть сто — полтораста тысяч рупий и выбросить их на рынок, кризис был бы тут же преодолен и дело понеслось бы вперед на всех парусах. Достать же необходимые деньги было нелегко, потому что прибегнуть к займу у местных знакомых ростовщиков он не мог, так как это породило бы неблагоприятные слухи, отчего дело пострадало бы вдвойне. Фонибхушон был вынужден искать займа в местах, где его никто не знает. Однако в этом случае нельзя было обойтись без удовлетворительного залога. Самым лучшим обеспечением ссуды были бы драгоценности: при внесении их в качестве залога не нужно

составлять сложных документов и терять на этом много времени, — все может быть улажено легко и быстро.

И вот Фонибхушон пошел к жене. Но он был неспособен входить к супруге легко и просто, как это делают все мужья. К несчастью, он любил Монималику так, как только герой какой-нибудь поэмы о любви может любить свою героиню. Это была такая любовь, которая заставляет взвешивать каждый шаг, которая не позволяет прямо высказать все, что на уме; это была любовь, подобная тому притяжению солнца и земли, которое, несмотря на всю свою мощь, держит планеты на огромном расстоянии друг от друга.

Тем не менее даже герой поэмы, попав в беду, бывает порой вынужден заговаривать с возлюбленной о таких вещах, как векселя, закладные и расписки, хотя при этом голос его дрожит, речь судорожно прерывается и в чисто деловой разговор вторгаются нотки страдания и трепет волнения. Таков был и бедняга Фонибхушон; он не мог заставить себя сказать жене прямо: «Послушай-ка, мне нужны твои украшения, дай мне их!»

В конце концов, правда чрезвычайно робко и нерешительно, он все-таки изложил суть дела. Когда же Монималика насупилась и не произнесла ни слова в ответ, он не ответил ударом на этот жесточайший для него удар, потому что в нем не было ни крупицы подобающей мужчине грубости и жестокости. Там, где следовало отнять требуемое силой, он ограничился лишь тем, что глубоко в сердце затаил свою боль: даже перед лицом полного разорения Фонибхушон не мог допустить вторжения насилия в ту область, где, как он считал, господствует одно-единственное право — право любви. И если бы кто-нибудь стал порицать его за это, то он скорее всего ответил бы каким-нибудь тонким рассуждением, наподобие следующего: «Я несправедливо лишен коммерческого доверия на рынке, но это еще не значит, что я имею право на этом основании ограбить рынок; если же моя жена не доверяет мне и не желает добровольно отдать свои украшения, я не могу отнять их у нее. Любовь в семье — то же, что кредит на рынке; а физической силе место лишь на поле битвы!» Не для того ли создал всевышний мужчину таким прямодушным, таким большим и сильным, чтобы он на каждом шагу занимался изобретением подобных изощренных доводов?

К лицу ли ему тратить время на то, чтобы сидеть и копаться в тонкостях настроений и чувств?

Как бы то ни было, возвышенные чувства Фонибхушона не позволили ему прикоснуться к драгоценностям жены, и он отправился в Калькутту изыскивать необходимые средства.

Как правило, жена знает своего мужа гораздо лучше, чем муж ее. Однако в тех случаях, когда муж обладает чрезвычайно утонченной натурой, жена оказывается не в состоянии добраться до ее сокровенных глубин. Так случилось и с супругой нашего Фонибхушона — Монималика плохо знала своего мужа. Утонченность ультрасовременных мужчин совершенно не вмещается в рамки всех тех нехитрых представлений и инстинктов, которые унаследованы женщиной с незапамятных времен. Эти мужчины — особенные, загадочные и непонятные, как сами женщины. Обычных мужчин можно разделить на несколько разрядов: одни из них — варвары, другие — глупцы, третьи — слепцы. Но этих нельзя с уверенностью отнести ни к одной из этих категорий.

Поэтому Монималика решила призвать к себе советника. Это был ее земляк или дальний родственник, который работал в хозяйстве Фонибхушона в качестве помощника управляющего. Добиваться повышения прилежной работой было не в его правилах: ссылаясь на какого-то общего предка, он ухитрялся получать не только свое жалование, но и кое-что сверх него за счет одного лишь родства с семьей хозяев.

Монималика пригласила его и, рассказав о случившемся, спросила:

— Ну, что ты посоветуешь предпринять?

С глубокомысленным видом покачав головой,— мол, положение вещей мне очень не нравится (мудрецам никогда не нравится положение вещей), — Модху проговорил:

— Бабу не раздобудет денег и в конце концов набросится на твои драгоценности, вот увидишь!

Монималика согласилась, что такой оборот дела действительно не только возможен, но и весьма вероятен. Ее беспокойство возросло. Детей она не имела, а присутствия мужа молодая женщина не чувствовала в своем сердце. Единственно, что было для нее близко и дорого,— это сокровища, которые росли из года в год,

как мог бы расти ее ребенок. В ее сундуке лежало не только серебро, там было и чистое золото и брильянты. Все эти драгоценности стали как бы частицей самой Монималики, они заполнили ее сердце, они завладели ее мыслями. Поэтому лишь одно предположение о том, что все это годами накопленное богатство в мгновение ока может быть низвергнуто в ненасытную бездну торговли, заставляло женщину холодеть от ужаса.

— Что же делать? — спросила она в тревоге.

— Сегодня же собери все украшения и отправляйся в дом своего отца! — ответил Модхушудон.

В душе мудрый Модху обдумывал план, осуществление которого должно было отдать часть, и, пожалуй даже большую, драгоценностей Монималики в его руки.

Монималика тотчас же согласилась с этим предложением.

И вот, вечерней порой, в конце месяца ашарх, к этой самой пристани, где мы сейчас сидим, причалила лодка. А ранним утром следующего дня, когда небо было обложено тяжелыми тучами и тишина нарушалась лишь кваканьем неугомонных лягушек, на борт лодки поднялась Монималика. С головы до ног она была закутана в покрывало из грубой материи. Находившийся в лодке Модхушудон проснулся и сказал:

— Давай сюда свой сундук.

— Потом, потом,— ответила Мони.— Поехали.

Лодка отчалила и, с легким плеском рассекая воду, быстро поплыла по течению.

Всю ночь перед отъездом Монималика увешивала себя украшениями; когда она одно за другим одела их все, на ее теле не осталось ни одного свободного места. Монималика боялась, что у нее могут отнять драгоценности, если принести их в сундуке. Если же надеть на себя, то никто, думала она, не сможет завладеть ими, пока она жива. О, Монималика, не понимавшая Фонибхушона, прекрасно разбиралась в таких людях, как Модхушудон.

Заметив, что у хозяйки нет никакого сундука, Модхушудон растерялся. Он и не предполагал, что под грубой тканью, скрывающей тело и душу женщины, находилось именно то, что было для нее дороже и тела и души.

Модхушудон оставил управляющему письмо, в кото-

ром сообщал, что уезжает сопровождать хозяйку в дом ее отца. Управляющий, служивший еще при отце Фонибхушона, был необычайно огорчен этим своеволием и написал своему господину письмо, полное орфографических ошибок (правильно писать по-бенгальски он не умел), но с верной мыслью о том, что давать слишком много воли жене — недостойно мужчины.

Фонибхушон понял причины, побудившие жену к отъезду. И это было для него жесточайшим ударом. «До сих пор она все еще не поняла меня!» — подумал он с горечью. А ведь он отказался даже от мысли о закладе ее драгоценностей и, рискуя разорением, прилагает отчаянные усилия, чтобы раздобыть необходимую сумму иными средствами. И все же она ему не доверяет.

Но вместо того чтобы зажечь в душе Фонибхушона гнев, эта жестокая несправедливость лишь причинила ему боль! Мужчина — это карающий божественный жезл, творец вложил в душу мужчины пламя молнии, и позор тому, кто при виде несправедливости не вспыхивает этим пламенем! В сердце мужчины по малейшему поводу загорается пламя гнева, как пожар в лесу, а женщина, как туча в месяце срабон, без всякий причины проливает слезы — вот какой порядок установил создатель; но теперь этого порядка уже больше нет.

А Фонибхушон? Этот человек будущего, которому следовало появиться на свет пятью-шестью столетиями позже, когда миром будут управлять лишь духовные силы. Он имел несчастье родиться в девятнадцатом веке и вступить в брак с женщиной первобытной эпохи, с женщиной, которой в шастрах дано название «отнимающая разум». Фонибхушон не написал жене ни строчки и про себя поклялся, что никогда, ни единым словом не напомнит ей о ее поступке. Какое страшное наказание! Мысленно обращаясь к преступной Монималике, Фонибхушон думал: «Ну что ж, пусть будет по-твоему; что же касается меня, то я буду выполнять свой долг».

Дней через десять, раздобыв нужную сумму и ликвидировав опасность, Фонибхушон возвратился домой. Он полагал, что к этому времени Монималика должна была вернуться, спрятав у отца свои драгоценности. Он уже видел себя не робким просителем, как в тот несчастный день, а человеком дела, который добился своего, представлял себе стыд и раскаяние жены...

Волнуясь, направился Фонибхушон во внутреннюю половину дома. Но спальня оказалась запертой. Фонибхушон взломал замок и распахнул дверь — комната была пуста. В углу стоял открытый железный сундук, в котором Мони хранила свои украшения. Фонибхушон почувствовал, как в груди у него что-то оборвалось. Жизнь, любовь, дела — все показалось ему бессмысленным и бесцельным. «За каждый прут железной клетки бытия мы готовы пожертвовать всем, — думал он. — Но птицы-то в клетке нет, а если даже и посадить ее туда, она все равно вскоре исчезнет... Так зачем же изо дня в день украшаем мы эту клетку кровавыми рубинами своего сердца и жемчужными ожерельями своих слез?» И Фонибхушон мысленно отбросил прочь украшенную всем, чем только он владел, а теперь пустую и ненужную ему клетку.

В отношении жены Фонибхушон не желал ничего предпринимать. «Захочет — вернется»,— решил он.

Но пришел старый брахман-управляющий.

— Если сидеть сложа руки и молчать, это к добру не приведет,— сказал он.— Нужно же в конце концов разузнать, что с госпожой. — И он направил слуг в дом отца Монималики. Но они вскоре вернулись с вестью о том, что ни Мони, ни Модху до сих пор туда не прибыли.

Тогда пропавших начали искать. По обоим берегам реки были посланы люди, которые расспрашивали каждого встречного, в полицию были даны сведения для розыска Модху — но все оказалось напрасным. Не удалось выяснить ни личности нанятого ими лодочника, ни на какой лодке и куда они отправились.

Однажды вечером, когда все надежды были потеряны, Фонибхушон вошел в опустевшую спальню. В этот день, по случаю праздника в честь бога Кришны, на окраине села под большим навесом бродячие актеры разыгрывали перед многочисленными зрителями сцены из жизни Кришны. До слуха Фанибхушона доносились музыка и пение, приглушенные шумом дождя, который лил непрерывно с самого утра. Не зажигая света, одинокий человек сел у окна, форточка которого свободно висела на своих разболтанных петлях. Он не замечал, что в комнату попадает тяжелый влажный воздух, не прислушивался к дробному перестуку дождевых капель и к отдаленным голосам певцов. Стены комнаты украшали картины, изготовленные в художественной студии. Они

изображали богинь Лакшми и Сарасвати. На вешалке висели готовые к употреблению полотенца и платки, блузки и сари из рубчатой ткани. В углу на маленьком трехногом столике стояла круглая бронзовая коробка с засохшим бетелем, собственноручно приготовленным еще Мунималикой. На полках стеклянного шкафчика виднелись фарфоровые статуэтки, флаконы, графины из цветного стекла, великолепная колода карт, большие морские раковины и даже коробки из-под мыла. Все эти предметы, которые Мони собирала с детских лет, были расставлены с большой тщательностью. Та самая маленькая, изящная керосиновая лампа с крошечным круглым стеклом, которую она сама каждый день зажигала и ставила в стенную нишу, находилась и теперь на своем месте, но, уже потухшая и потускневшая, эта лампа была единственным немым свидетелем последних минут, проведенных Монималикой в своей спальне. Женщина ушла, без нее все казалось опустошенным; но каждая вещь, знавшая прикосновение ее рук, каждый безжизненный предмет, обласканный нежностью ее живого сердца, были историей Монималики, носили на себе неизгладимый отпечаток недавнего присутствия красавицы. Приди же, Монималика, приди! Своими руками зажги свою лампу и освети свою комнату! Встань перед зеркалом и одень свое осиротевшее сари! Твои вещи ждут тебя! Ни одна из них ничего от тебя не потребует, только приди и своею вечной юностью и неувядающей красотой возроди утраченное единение души своей с этой грудой покинутых тобою, разбросанных повсюду вещей! Вдохни жизнь в эти мертвые, неподвижные предметы! Беззвучный, горестный вопль неодушевленных, немых вещей, казалось, наполнял комнату и делал ее похожей на место сожжения умерших, оглашаемое рыданиями их близких.

В глубине ночи ливень в какой-то момент прекратился, а голоса певцов смолкли. Фонибхушон все в той же позе сидел у окна и глядел в непроглядную тьму, точно окутавшую весь мир. Ему представилось, будто перед ним раскрылись огромные, уходящие в небеса врата царства смерти; нужно только встать перед ними, закричать, позвать — и взору вновь предстанет то, что было потеряно навсегда. Разве не может на этой черной, как сажа, завесе вечности, на этом твердейшем пробном камне блеснуть золотой след утраченного счастья?.. Неожиданно

размышления Фонибхушона прервал какой-то сухой, мерный стук, сопровождаемый позвякиванием металлических украшений. Казалось, этот звук поднимался по ступеням береговой лестницы.

Трепеща от возбуждения, Фонибхушон пытался пронзить тьму своим нетерпеливым взглядом — он вглядывался во мрак до боли в тяжело бьющемся сердце и полных страстного желания глазах, но ничего не мог различить. И чем больше он напрягал зрение, тем грознее сгущалась тьма, тем призрачнее становился мир. Природа, увидев непрошенного пришельца у входа в обитель смерти, торопливою рукой опустила еще один занавес перед его взором.

Поднявшись шаг за шагом на верхнюю ступеньку лестницы, звук двинулся по направлению к дому; затем, перед самым домом, остановился. В эту ночь сторож запер наружную дверь и ушел послушать праздничное пение. И вот на эту самую дверь посыпался град ударов, послышался звон женских украшений и стук каких-то твердых предметов. Фонибхушон не мог усидеть на месте. Пройдя через неосвещенные комнаты, он спустился по темной лестнице и подошел к двери. Она была заперта снаружи на замок. Фонибхушон, что было силы, начал колотить руками по двери и — от боли, а также от вызываемого им же шума — проснулся. Оказалось, что он во сне спустился с верхнего этажа. Тело его было покрыто испариной, руки и ноги — холодны, как лед, а сердце трепетало, подобно готовой угаснуть лампаде. Снаружи не доносилось ни единого незнакомого звука, только лил дождь, да сквозь его шум слышались голоса деревенских певцов, затянувших утреннюю песню.

Хотя все происшедшее было только сном, Фонибхушону оно казалось удивительно близким и реальным, и он подумал, что его уже почти ничто не отделяло от чудесного осуществления несбыточной мечты... А далекая мелодия песни да монотонный стук падающих дождевых капель шептали: «Само пробуждение — лишь сон, этот мир — нереален».

На следующий день тоже было гуляние и бродячая труппа опять давала представление. Сторож был отпущен, как и накануне, Фонибхушон приказал, чтобы наружная дверь была оставлена на всю ночь открытой.

— По случаю праздника пришло много чужого на-

рода из разных мест, я не посмею оставить дверь открытой и уйти! — возразил сторож.

Но Фонибхушон не стал его слушать.

— Тогда я останусь на всю ночь и буду охранять дом, — заявил сторож.

— Нет, нет, — перебил его хозяин. — Тебе все-таки придется пойти на праздник.

И сторож, крайне удивленный, ушел.

Вечером, потушив в спальне свет, Фонибхушон сел у окна. Хмурые тучи, готовые обрушить на землю потоки дождя, закрывали небо. Безмолвие, наполненное ожиданием чего-то надвигающегося и неопределенного, окутало мир. В напряженной тишине слышалось лишь неугомонное кваканье лягушек да звуки далекого пения. Казалось, сам воздух был напоен странной таинственностью.

Поздней ночью умолкли лягушки и цикады, растаяли голоса мальчиков-певцов, и на ночную землю опустилась завеса еще более густого мрака. «Время пришло», — подумал Фонибхушон.

Как и в первый раз, со стороны береговой лестницы послышался сухой стук и металлическое позвякивание. Но Фонибхушон не смотрел в ту сторону: он боялся, как бы его жадное нетерпение и страстный порыв не сделали напрасным его ожидание, как бы сила могучего стремления не подавила в нем способности владеть собой. Напрягая все силы, чтобы сдержать себя, Фонибхушон неподвижно, словно деревянное изваяние, застыл у окна.

Сегодня звук побрякивающих украшений, шаг за шагом пройдя расстояние, отделявшее его от дома, проник в незапертую дверь. Затем стало слышно, как он поднимается круг за кругом по винтовой лестнице, ведущей во внутренние покои. Фонибхушону стало очень трудно владеть собой; грудь его вздымалась и падала, как челн, застигнутый бурей, горло свела судорога. Звук, поднявшись по лестнице, медленно двинулся вдоль веранды и стал приближаться к комнатам. Наконец, когда он достиг как раз той двери, за которой находился ожидающий Фонибхушон, постукивание и позвякивание прекратилось. Теперь осталось лишь пересечь порог...

Фонибхушон не мог больше сдерживаться. Неистовое возбуждение, кипевшее в нем, мгновенно, со страшной силой прорвалось наружу, исторгнув из груди рыдающий вопль:

— Мони!

С быстротой молнии вскочил он со стула и вдруг... проснулся. Фонибхушон увидел, что стекла в комнате еще все дрожат от вырвавшегося у него крика. А снаружи доносилось все то же кваканье лягушек да самозабвенное пение мальчиков из актерской труппы.

Фонибхушон с силой ударил себя по лбу.

На следующий день праздничное гулянье окончилось. Ушли бродячие актеры и ярмарочные торговцы. Но Фонибхушон приказал, чтобы и на этот раз с наступлением вечера в доме, кроме него самого, никого не оставалось. Весь день Фонибхушон постился, и слуги решили, что их хозяин собирается совершать какие-то магические обряды.

Вечером Фонибхушон снова сел у окна. На этот раз облака кое-где прорвались, и на очистившихся прогалинах сквозь прозрачный, омытый дождем воздух необычно ярко сияли звезды. Луны не было — в десятый день после полнолуния месяца шраван она восходит поздно. Так как празднество окончилось, на поднявшейся после дождя реке не виднелось ни одной лодки. Утомленное селение, бодрствовавшее в течение двух праздничных ночей, впало в глубокий сон.

Фонибхушон сидел, откинувшись на спинку стула, и смотрел на звезды. Он вспоминал то время, когда ему было девятнадцать лет и он учился в одном из колледжей Калькутты. Однажды он лежал на траве, подложив руки под голову, на берегу круглого пруда и вот так же, как сейчас, смотрел на эти вечные звезды; он думал о том, что в доме его тестя — в этом самом доме у реки — в уединенной комнате находится Мони. И перед ним возникало ее юное, нежное лицо — такое же прекрасное, как и двенадцать лет спустя. Как сладостна была тогда даже разлука! Мерцание звезд, попадая в такт с радостным трепетом юного влюбленного сердца, заставляло его звучать удивительной песнью весны, исполненной гармонии и ритма. А сегодня те же самые звезды казались Фонибхушону стихами из «Мохамудгары»[1], начертанными пламенем по небосводу. Они говорили: «Как призрачен этот мир!»

---

[1] «Мохамудгара» — название одного из сочинений индийского философа Шанкарачарьи (ок. 800 г. н. э.).

Постепенно, одна за другой, звезды стали гаснуть и в конце концов исчезли совсем. Непроглядная тьма спустилась с небес, навстречу ей с земли поднялась другая тьма, и тогда эти две тьмы сомкнулись, будто веки гигантского глаза.

Сегодня Фонибхушон был спокоен. Он не сомневался, что на этот раз достигнет, наконец, желанной цели и смерть раскроет свою тайну перед ее усердным поклонником.

Тот же самый звук, что и накануне, поднялся из вод реки и пошел по ступеням береговой лестницы. Фонибхушон сидел с закрытыми глазами: его ум, охваченный глубоким раздумьем, был тверд и спокоен. Звук проник через открытую дверь в переднюю, потом, круг за кругом, поднялся по винтовой лестнице, прошел вдоль длинной веранды — и, подойдя к двери спальни, на мгновение остановился.

Сердце Фонибхушона буйно забилось, тело затрепетало, но глаз он не открыл. Тем временем звук переступил порог и проник внутрь неосвещенной комнаты. Затем он стал передвигаться вдоль стен, задерживаясь около каждого из находившихся в спальне предметов; около вешалки, на которой висело аккуратно сложенное сари, у ниши, где стояла керосиновая лампа, у края трехногого столика, на котором стояла коробка с засохшим бетелем, около стеклянного шкафчика, неполненного разнообразными вещицами; наконец, он подошел очень близко к Фонибхушону и остановился.

В это мгновение на небе взошел ущербный месяц, и его бледный свет густыми волнами полился в комнату. Фонибхушон открыл глаза и прямо перед собой увидел скелет. Все его пальцы были унизаны перстнями, на руках — от плеч до кистей — висели браслеты, с шеи на грудь свисали ожерелья, на лбу красовалась диадема,— словом, на каждой из костей скелета, с головы до ног, свободно болталось, не соскальзывая, украшение, и все они сверкали золотом и брильянтами. Однако самым страшным было то, что в черепе скелета горело два живых глаза — тот же влажный блеск черных зрачков, те же густые длинные ресницы, тот же невозмутимый, спокойный взгляд. Вот уже восемнадцать лет прошло с того дня, когда в залитой светом комнате, под торжественный гром праздничных барабанов Фонибхушон в

момент «благоприятного взгляда»[1] увидел эти продолговатые черные блестящие глаза. Теперь же, глубокой ночью месяца шраван, в слабых лучах ущербленной луны он снова их увидел — и кровь застыла у него в жилах. Фонибхушон напряг все свои силы, стараясь закрыть глаза, и не мог: они оставались открытыми и смотрели не мигая, как у мертвеца.

Скелет вперил свой неподвижный взор в лицо окаменевшего Фонибхушона, поднял правую руку и молча поманил; при этом на костях его пальцев засверкали брильянтовые перстни.

Фонибхушон, как зачарованный, поднялся со стула. Скелет двинулся по направлению к двери — все его кости застучали, зазвякали украшения. Фонибхушон последовал за ним, словно послушная марионетка. Они прошли веранду и стали спускаться по винтовой лестнице — стук их шагов вместе с бренчанием украшений гулко раздавался во тьме ночи. Затем через нижнюю веранду они прошли в безлюдную, неосвещенную прихожую и, наконец, выйдя наружу, двинулись по выложенной битым кирпичом садовой дорожке. Кирпич хрустел под костяными стопами скелета. Скудный лунный свет не мог пробиться сквозь чащу ветвей, и они шли по этой темной дорожке, напоенной густым ароматом сезона дождей и освещаемой лишь тучами светляков, пока не очутились на берегу реки.

Увешанный драгоценностями, скелет стал медленно спускаться по той самой лестнице, по которой раньше звук поднимался из воды; он шел совершенно прямо, не раскачиваясь, и в ночной тишине был слышен жесткий стук его ног о каменные ступени. А на поверхности бурно несущихся вод поднявшейся после дождей реки играла длинная полоса лунного света.

Скелет вошел в реку, и вслед за ним в воду вступил Фонибхушон. Но едва ноги Фонибхушона коснулись воды, как он проснулся. Провожатого больше не было — лишь на том берегу неподвижно высились деревья, да месяц с небесной высоты безмолвно взирал на землю. Фонибхушон задрожал всем телом, ноги его подкосились, и он упал в воду. Он умел плавать, но в этот момент

---

[1] Один из моментов свадебной церемонии, когда жених и невеста впервые видят друг друга.

тело не слушалось его. На один лишь миг вернулся он из забытья в мир реальности, чтобы в следующее мгновение погрузиться в лоно вечного сна.

Закончив рассказ, учитель немного помолчал. Когда его голос вдруг умолк, оказалось, что вся природа полна покоя и безмолвия. Я тоже некоторое время не произносил ни слова, а выражения моего лица учитель различить в темноте не мог.

Тогда он спросил меня:

— Вы что же, не верите этой истории?

— А вы верите? — задал я встречный вопрос.

— Нет, — ответил он. — И вот почему: во-первых, мать-природа не пишет романов — у нее и без этого дел достаточно...

— А во-вторых, — перебил я его, — Фонибхушон Саха — это мое имя.

Учитель ничуть не смутился и сказал:

— Я так и думал. А как звали вашу жену?

Я ответил:

— Нриттокали.

1898



Оплошность

Пришлось покинуть отцовский дом. Я не буду вдаваться в подробности, но из моего рассказа вы поймете, как это случилось.

Сам я — сельский врач. Напротив моего дома расположен полицейский участок.

Полицейские не меньше врачей знакомы с богом смерти, и мне это хорошо известно.

У меня была особая дружба с полицейским инспектором, который, кстати сказать, был образованным человеком. На то были свои причины: наше взаимное посредничество в делах увеличивало постепенно достаток каждого из нас.

Инспектор не раз предлагал мне жениться на его близкой родственнице, невесте на выданье, и тем самым ставил меня в неловкое положение.

Я вам не сказал, что от первого брака у меня осталась дочь Шоши. Как мог я вверить мачехе ее судьбу?

Один за другим проходили благоприятные для свадьбы осенние дни, множество женихов, хороших и плохих, входило в свадебный паланкин. А я вкушал яства на чужих пирах и, вздыхая, возвращался один домой.

Шоши скоро должно было исполниться тринадцать лет. Я надеялся, что сумею выдать ее замуж в хороший дом — нужно было только поднакопить денег.

А там можно было бы заняться еще одним благим делом — жениться самому.

Итак, я ломал голову над тем, как бы мне раздобыть достаточно денег, как вдруг пришел Хоринатх Мозумдар из деревни Тулси и припал к моим стопам. Оказывается,

вчера вечером внезапно скончалась его дочь. Враги Хоринатха послали инспектору гнусный анонимный донос, клевеща на покойницу и утверждая, будто она умерла от аборта. Полиция собирается забрать ее труп для обследования. Хоринатх сказал, что не переживет такого чудовищного оскорбления памяти своей дочери. Я, как доктор и близкий друг инспектора, должен ему помочь, чего бы это ни стоило.

Поистине Локшми появляется, когда ей вздумается, и приходит не только через парадные двери, но иной раз и через черный ход.

Выслушав старика, я пожал плечами, глубокомысленно изрек: «Дело серьезное!», и даже привел ему несколько примеров, которые тут же выдумал.

В ответ старик, трясясь всем телом, горько зарыдал. В общем, излишне говорить, что право совершить кремацию тела дочери и другие погребальные обряды вконец разоряли старика.

В момент нашего разговора вошла моя дочка Шоши и спросила нежным голоском:

— Папа, почему этот старик обхватил твои ноги и горько плачет?

— Незачем тебе знать об этом, — сухо ответил я.

После этого случая я мог выдать дочь замуж. Назначили день свадьбы, я готовился к нему вовсю: как же, единственная дочь уходит в дом свекра!

Хозяйки в моем доме не было, и соседки любезно вызвались мне помочь. С ними был и благодарный, хотя и разорившийся вконец Хоринатх.

Наступил канун свадьбы. Были совершены все необходимые обряды. А в три часа ночи у Шоши начался приступ холеры. Болезнь быстро прогрессировала. После тщетных усилий помочь Шоши я швырнул на пол склянки с бесполезными лекарствами, побежал к Хоринатху и припал к его стопам.

— Прости, дада, прости меня, безбожника. Ведь Шоши — моя единственная дочь, больше у меня нет никого.

— Доктор, что вы делаете? — воскликнул растерявшийся Хоринатх. — Это я ваш вечный должник. Встаньте, пожалуйста, прошу вас.

— Я согрешил, разорил тебя, и теперь моя дочь умирает.

Я стал громко кричать:

— О, я погубил несчастного старика и теперь наказан. О боже, спаси мою дочь!

Я сорвал с Хоринатха тряпичные туфли и стал бить себя ими по голове. Старик поспешно вырвал туфли.

В девять утра Шоши стала желтой, как корень холуда, и навсегда ушла из этого мира.

А на следующий день меня навестил инспектор.

— Ну вот, незачем больше медлить. Нужно жениться. Прислать тебе кого-нибудь?

Вряд ли даже шайтана украсила бы такая нечуткость. Но инспектор уже столько раз недвусмысленно проявлял свою «человечность», что я ему ничего не ответил. Но дружба его показалась мне оскорбительной, как удар плети.

Сердце может мучиться, но дела от этого не должны страдать. По-прежнему, будто ничего не случилось, я должен был хлопотать о продуктах, одежде, даже о дровах для погребального костра и ленточке для туфель.

А когда в свободную минуту я оставался наедине с собой, в ушах у меня звучал нежный голосок: «Папа, почему этот старик обхватил твои ноги и горько плачет?»

Я за свой счет покрыл соломой убогую хижину Хоринатха, выкупил у ростовщика его скарб, отдал ему свою молочную корову.

Но я не мог успокоиться. Одинокими сумерками и бессонными ночами невыносимая боль щемила мое сердце, мне мерещилось, что из-за жестокости отца моя дочь не находит себе места на том свете. Казалось, она спрашивает меня, страдая: «Папа, папа, зачем ты это сделал?»

Я больше не брал денег с бедняков за лечение. А если в деревне заболевала какая-нибудь девушка, мне казалось, что это страдает моя дочь...

Начался сезон дождей. Деревню затопило. На рисовые поля и к домам приходилось добираться на лодках. Ливни не прекращались ни днем, ни ночью.

Однажды в эту пору меня вызвали в усадьбу заминдара. Хозяйский лодочник очень торопился, он даже полез прежде меня в лодку.

Горькие мысли одолевали меня. Раньше, когда я выезжал к больным, около меня был человек, проверявший, нет ли дыр в моем старом зонтике. Он заботливо убеж-

дал меня беречь горло на свежем воздухе и не попадать под потоки дождя. А сегодня мне пришлось искать мой зонтик самому.

Я помедлил, прежде чем выйти из пустого, безмолвного дома на улицу. Перед глазами у меня стояло милое нежное личико дочери. Я еще раз бросил взгляд на запертую спальню и подумал: «Незачем было богу сохранять счастье любви тому, кто не заботится о других». Сердце сжимала невыносимая боль, когда я проходил мимо ее пустой комнаты. Но с улицы донесся нетерпеливый крик лодочника, и я, справившись с собой, поспешно вышел на улицу.

Садясь в лодку, я заметил крестьянина, который мокнул в лодчонке, приставшей к крыльцу полицейского участка.

— Что с тобой? — спросил я.

Оказалось, что от укуса змеи у несчастного прошлой ночью умерла дочь. Полиция вызвала его сюда из далекой деревни для дачи показаний. Труп дочери он прикрывал краем своей одежды.

Тут нетерпеливый слуга заминдара оттолкнул лодку.

Когда я в час дня вернулся домой, крестьянин еще не тронулся с места.

Я быстро закончил свою трапезу — нужно было снова ехать в усадьбу другого больного.

Вечером я снова увидел того же крестьянина — он был похож на отверженного. Разговаривать он уже был не в состоянии и только молча глядел на меня. Видимо, несчастный уже не сознавал, где он находится, и воспринимал реку, деревню, полицейский участок — весь этот ненастный, мокрый, тонкий мир, как сквозь сон.

Все же после настойчивых расспросов я выяснил, что один раз из помещения участка выходил полицейский. Он поинтересовался, нет ли у крестьянина денег. Узнав, что тот очень беден и с собой у него нет ни гроша, полицейский сказал:

— Ладно, дружище, посиди пока тут.

Я и прежде не раз наблюдал такие сцены, но не обращал на них внимания. Теперь же горе этого бессловесного крестьянина, потерявшего свою дочь, проникло в самую глубину моего сердца. Мне казалось, что с затянутого тучами неба слышится нежный голосок Шоши.

Как буря, ворвался я к инспектору. Он удобно устроился на камышовой плетенке и попыхивал трубкой. На цыновке сидел брат жены инспектора и что-то рассказывал. У него была незамужняя дочь, и он недавно приехал к свояку, рассчитывая через него женить меня на своей дочери.

— Люди вы или дьяволы? — закричал я и со звоном швырнул весь свой дневной заработок. — Вам нужны деньги? Берите их, и пусть они останутся с вами, когда вы умрете. Отпустите только этого несчастного и дайте ему похоронить дочь.

И моя дружба с инспектором, налаженная с таким трудом, разлетелась в прах.

Сколько потом я не валялся в ногах у инспектора, не взывал к его великой милости и не проклинал своей оплошности — все было бесполезно,— родовой участок мне пришлось в конце концов оставить.

1900



Разрушенное гнездо

I

У Бхупоти не было никакой необходимости работать, денег у него было достаточно и без того. Но по воле планет он родился деловым человеком. Это явилось причиной того, что он стал издавать газету на английском языке. С тех пор он перестал жаловаться на то, что время течет слишком медленно.

Писать по-английски и выступать с речами Бхупоти любил с детства. Он отправлял без нужды письма в газеты, и ни одно собрание не обходилось без его речи или уж во всяком случае краткого выступления.

Политические лидеры гонятся за такими людьми и прибегают к самой беззастенчивой лести, чтобы только привлечь их на свою сторону. Не избежал этой участи и Бхупоти. Это послужило причиной того, что он был очень высокого мнения о своем умении писать блестящие статьи на английском языке.

Вскоре у Бхупоти появился помощник. Брат жены, адвокат Умапоти, не сумев добиться успеха на юридическом поприще, предложил:

— Берись за издание своей собственной газеты на английском языке. У тебя ведь такой необыкновенный... и т. д. и т. п.

Бхупоти пришел в восторг. Что хорошего в том, чтобы писать письма в чужие газеты. Вот завести свою газету — можно будет по-настоящему дать волю перу.

Итак, Бхупоти еще в ранней молодости стал редактором газеты, а Умапоти — его помощником. В моло-

дости люди легко увлекаются как издательским делом, так и политикой, а недостатка в людях, разжигающих в Бхупоти эту страсть, не было.

Время шло, Бхупоти продолжал увлекаться газетой, а его жена, Чарулота, которую выдали замуж совсем еще девочкой, вступила в пору юности. Редактор газеты не осознал всей важности этого события. Тем более что в ту пору политика англо-индийского правительства в вопросе о границах стала принимать явно неблагоразумный, даже угрожающий характер, становясь все более заносчивой и несдержанной.

В этом богатом доме Чарулоте совершенно нечего было делать. Она цвела среди ночной праздности и была похожа на цветок, который так и не может превратиться в плод. К тому же она абсолютно ни в чем не нуждалась.

При благоприятных возможностях в таких условиях жена не признает никаких ограничений в своих взаимоотношениях с мужем. В супружеской игре нарушаются все общепринятые границы, игра эта может проявляться в самое неподходящее время и совершенно не отличать разрешенное от запрещенного.

Но Чарулота не смогла этого испытать. Она так и не смогла пробить непроницаемой брони из газет, которой был окружен ее муж, и подчинить его себе.

Однажды один из родственников заметил Бхупоти:

— Нельзя забывать о молодой жене!

Редактор рассеянно ответил:

— Да, действительно Чару нужна подруга. Бедняге совершенно нечего делать.

Он не забыл об этом и как-то сказал Умапоти:

— Ты бы вызвал сюда жену. У Чару нет ни одной подружки, и она чувствует себя совсем одинокой.

Вскоре в доме появилась Мондакини, жена Умапоти, и Бхупоти успокоился.

Так и осталось непонятным, когда именно из жизни Бхупоти и Чару ушло украшенное золотисто-розовыми лучами медленно разгорающейся зари, небывало прекрасное, вечно свежее утро любви. Оно ушло незаметно, и супруги стали друг для друга привычными, какими-то старыми, так и не ощутив вкуса новизны.

Природная склонность к чтению и любовь к занятиям несколько облегчали Чарулоте бремя праздности. Любы-

ми правдами и неправдами она устраивала себе уроки. Учителем ее был Омол, ее кузен, студент третьего курса колледжа. Правда, Чару приходилось сносить ради этого многочисленные капризы и прихоти Омола — давать ему деньги на завтраки, покупать английские учебники. Иногда Омол приводил своих товарищей и угощал их, Чарулоте приходилось тогда выступать в роли хозяйки.

Бхупоти никогда ничего не просил у Чару, а требованиям кузена, особенно после того как прошло несколько уроков, не было конца. Чарулота выражала по этому поводу притворное неудовольствие и даже негодование. Но она чувствовала неудержимую потребность заботиться о ком-нибудь.

Омол однажды заявил:

— Чару, дорогая, один принц у нас в колледже носит туфли ручной работы. Их можно одеть даже на женской половине королевского дворца. Я не могу равнодушно на это смотреть. Мне нужны такие же туфли, иначе мое достоинство будет унижено.

— Ну, конечно. Только мне и дела, что шить туфли. Вот тебе деньги, иди и купи на базаре.

— Нет, на базаре я не стану покупать.

Чару не умела шить туфли, но ей не хотелось признаваться в этом Омолу. И как она могла не удовлетворить его просьбы — ведь раньше никто никогда ее ни о чем не просил. Поэтому, пока Омол занимался в колледже, она тайком, с величайшим усердием училась шить туфли.

И вот однажды вечером, когда Омол совсем уже забыл о своей просьбе, Чару пригласила его к себе. Было лето, и обед, как обычно, накрыли на крыше. Блюдо Омола было прикрыто медной крышкой — видимо, для того, чтобы туда не попала пыль.

Омол переоделся после занятий, принарядился и пришел к столу Когда он снял крышку, то увидел, что на блюде лежала пара вышитых туфель. Чарулота громко смеялась — эффект доставил ей большое удовольствие.

Но подарок лишь увеличил претензии Омола. Теперь ему нужен был то шарф, то вышивка на носовом платке, то накидка — на кресло в гостиной недавно посадили масляное пятно.

Каждый раз Чарулота громко выражала недовольство и каждый раз усердно трудилась, чтобы удовлетво-

рить каждую причудливую прихоть Омола, а он не оставлял ее в покое.

— Ну, как идут дела? — осведомлялся Омол.

— Да я вовсе не этим занята, — отвечала Чарулота и говорила, что вовсе забыла о его просьбе. Но Омол был не из тех, от кого легко отвязаться, он приставал к ней каждый день. Чару протестовала, приходила от настойчивости кузена в притворное отчаяние и вдруг неожиданно вручала подарок, любуясь произведенным эффектом.

Мы уже отмечали, что, кроме Омола, Чару больше ни о ком не приходилось заботиться. Поэтому все эти маленькие дела она делала с удовольствием, они поглощали все ее внимание и давали ей большое удовлетворение.

На женской половине дома Бхупоти был клочок земли, который с большим преувеличением можно было назвать садом. Самым большим деревом в этом саду была заморская слива.

Был создан комитет, в составе Омола и Чару, занявшийся вопросом о реконструкции этого сада. Несколько дней члены комитета усердно трудились — рисовали эскизы, набрасывали планы, одним словом с большим энтузиазмом готовили проект нового сада.

— Моя дорогая,— говорил Омол,— тебе придется, как принцессам в прежние времена, самой, своими руками поливать этот сад.

— А вот здесь, в западном углу, мы построим домик, где будет жить олененок, — вторила Чару.

— Еще мы устроим пруд, — в нем будут плавать лебеди.

Чару пришла в восторг от предложения Омола:

— Там мы посадим голубые лотосы, мне уже давно хотелось увидеть, как они цветут.

— Через пруд мы перебросим мостик, а у берега привяжем маленькую лодку.

— Берега нужно обязательно облицевать белым мрамором.

Омол взял карандаш и бумагу и торжественно принялся чертить план. Оба каждый день вносили в него поправки. Всего было начерчено не меньше двадцати пяти эскизов.

Когда они вчерне закончили составление плана, то

встал вопрос о том, сколько же примерно потребуется денег на устройство этого сада.

Они сразу же решили, что сад будет построен за счет средств, которые Чару получала ежемесячно на свои личные расходы. Имя Бхупоти не фигурировало во всех этих планах. Чару рассчитывала поразить его своей выдумкой. Он подумает, что сад создан не иначе, как с помощью волшебной лампы Аладина — его просто так перенесли сюда из Японии, ничего не повредив.

Но, даже произведя всевозможные сокращения расходов, пришли к выводу, что денег Чару не хватит. Омол снова взялся за план.

— Придется, моя дорогая, не устраивать пруда, — сказал он.

— Ни в коем случае! Зачем мне сад без пруда, где же будут цвести голубые лотосы?

— Тогда нам надо заменить черепичную крышу домика для оленя простой соломенной.

Чару стала сердиться.

— В таком случае обойдемся без домика.

Раньше они хотели выписать гвоздиковое дерево из Ориссы, сандаловое дерево из Карнатика, сахарный тростник с Цейлона, а теперь Омол предложил заменить их обыкновенными деревьями из Маниктола.

Чару скорчила гримасу:

— Тогда не нужно мне вообще никакого сада.

Разумеется, такой метод обсуждения не вел к сокращению расходов. Чару была не в состоянии вместе с расходами ограничить свое воображение. Да и Омолу его собственные предложения были совсем не по душе.

— Моя дорогая, если ты не согласна, попроси денег у Бхупоти. Он, конечно, не откажет.

— Какой смысл затевать все это дело, если он узнает? Мы сами, вдвоем, должны устроить наш сад. Он может, например, приказать сделать все совсем по-другому. Что станет тогда с нашими планами?

Так Чару и Омол сидели в тени сливового дерева и предавались невыполнимым мечтам.

Раздался голос Монды, жены Умапоти:

— Чару, что вы делаете столько времени в саду?

— Ищем спелые сливы.

— Принесите и мне, если найдете.

Чару и Омол одновременно рассмеялись. Чару и

Омолу больше всего нравилось то, что планы эти ведомы только им и больше о них никто не знает. У Монды есть свои положительные качества, но она совершенно лишена воображения. Разве она в состоянии понять всю прелесть их планов? Поэтому-то ее не допустили ни на одно из заседаний комитета, состоявшего, как мы уже упоминали, всего из двух членов.

Итак, расходы не сокращались, а воображение не хотело признать себя побежденным. Заседания комитета продолжались несколько дней. Омол разметил места, где должен был находиться пруд, домик для оленя, скамейка для гуляющих.

Маленькой лопатой Омол начертил на земле план местности вокруг сливового дерева после реконструкции. В это время Чару, сидевшая в тени у подножия дерева, неожиданно сказала:

— Омол, знаешь, было бы замечательно, если б ты умел сочинять.

— Почему?

— Мы смогли бы рассказать о нашем саде. И в этой повести были бы: и домик для оленя, и сливовое дерево, и пруд. И никто, кроме нас, не понял бы, о чем идет речь. Вот было бы интересно! Омол, ну постарайся, ты же можешь.

— А если я напишу такой рассказ, что мне за это будет?

— А что ты хочешь?

— Я нарисую на сетке от москитов лианы, а ты их вышьешь шелком.

— Всегда ты что-нибудь придумаешь. Кто же вышивает на сетке от москитов?

Омол стал ругать эти сетки, заявив, что они уродливы и похожи на стены тюремной камеры. Их существование лишний раз доказывает отсутствие вкуса у средних людей, уродство их совсем не коробит.

Чару тотчас согласилась. Она с удовлетворением подумала о том, что члены их комитета не относятся к числу средних людей.

— Хорошо, я вышью тебе сетку, а ты попробуешь сочинить рассказ.

И вдруг Омол с загадочным видом спросил:

— Так ты думаешь, я не умею писать?

Чару тревожно ответила:

— Нет, конечно, тебе уже, наверное, приходилось писать. Покажи мне то, что у тебя есть.

— Только не сегодня.

— Нет, обязательно сегодня. Как хочешь, но сейчас же принеси сюда свои сочинения и почитай их мне.

Омолу давно хотелось показать Чару свои работы, но он боялся, что она их не поймет или они ей не понравятся, и никак не мог преодолеть робости. Теперь же он принес тетрадь, немного раскраснелся, откашлялся и начал читать.

Чару села на траву, скрестив ноги, и облокотилась на ствол дерева.

Произведение называлось «Моя тетрадь». Вот что писал в нем Омол:

— «О вы, белые листы моей тетради. Вас еще не тронула сила моей фантазии. Вы чисты и загадочны, как чист лобик ребенка в покоях роженицы, куда еще не заходила судьба. Где сейчас тот день, когда я напишу последние строки последней страницы? О тетрадка, твои белые листы не могут представить сейчас себе даже во сне этих заключительных слов, навеки запечатленных чернилами» и т. п. (Много, и все в том же духе.)

Чару тихо сидела под деревом и внимательно слушала. Чтение окончилось. Она некоторое время молчала и потом сказала:

— И ты не умеешь писать!

В этот день Омол впервые испробовал пьянящий напиток литературной славы. И виночерпий и тот, кто его пил, были молоды, а полуденный свет и тень, которую отбрасывало дерево, — все делало окружающее загадочным.

Наконец, Чару предложила:

— Омол, давай поищем слив, а то что подумает о нас Монда.

Глупой Монде было, конечно, ни к чему рассказывать об их спорах. Они принялись искать сливы.

II

Омол и Чару так и не заметили, что их решение о переустройстве сада осталось невыполненным, как и многие другие решения, утонувшие в потоке бесконечных новых проектов.

Теперь главной темой дискуссий были произведения Омола.

— Ты знаешь, Чару, сегодня в голову мне пришла удивительная мысль.

— Идем на балкон, на тот, который выходит на южную сторону. А то сюда скоро придет Монда — готовить бетель.

Они пошли на балкон. Чару уселась на старый, плетенный из пальмовых веток стул. Омол уселся на нижний выступ перил.

Писания Омола часто отличались туманностью, пересказать отчетливо их было очень трудно. Невозможно было постичь и его шумных объяснений. Он и сам не раз признавался Чару:

— Моя дорогая, я никак не могу ясно объяснить тебе это.

Иногда она понимала Омола, но большей частью многое дополняла своим воображением. Его декларации заставляли ее переживать, волновали, вызывали какое-то острое чувство радости.

Тем же вечером Чару спросила Омола:

— Ну, сколько ты написал?

— Около половины.

Утром на следующий день Чару несколько сердито повторила свой вопрос:

— Ты все еще не кончил?

— Потерпи, Чару, мне нужно кое-что обдумать.

Вечером у Чару совсем испортилось настроение, она даже перестала разговаривать с Омолом. Тогда он как бы случайно вытащил из кармана вместе с носовым платком лист бумаги.

— О, что это? — немедленно воскликнула Чару. — Ты уже написал? Ты меня обманул? Покажи!

— Я еще не кончил, вот допишу и тогда покажу.

— Нет, нет, сейчас же прочти.

Омол не возражал, но он не мог отказать себе в удовольствии подразнить Чару. Поэтому он сначала чинно сел, разложил бумаги, переставил их, сделал несколько исправлений карандашом.

Когда любопытство Чару достигло крайних пределов и стало напоминать полную дождевых потоков грозовую тучу, когда она уже была не в силах сдерживать себя и стала подглядывать к нему в тетрадку, Омол приступил к чтению.

Он прочел несколько написанных им абзацев, а остальная, ненаписанная часть работы стала предметом бурного обсуждения. Так они перестали строить воздушные замки, которыми они занимались столько времени, и переселились в храм поэзии, позабыв обо всем на свете.

Однажды вечером, когда Омол пришел из колледжа, Чару заметила, что его карманы странно оттопыривались. На следующий день он опять вернулся с набитыми карманами, но почему-то остался во внешних комнатах и, видимо, вовсе не собирался идти во внутренние покои. Чару прошла в самую крайнюю комнату женской половины и стала хлопать в ладоши. Но тщетно — никто ее не услышал. Тогда она рассердилась, взяла книгу Монмотха Дотто и, устроившись на балконе, попыталась взяться за чтение.

Монмотх Дотто — современный писатель. Его стиль и манера писать очень напоминает сочинения Омола. Видимо, поэтому Омол никогда не хвалил его произведения. Наоборот, он читал их, нарочито искажая интонацию. Чару вырывала книгу из его рук и с пренебрежением швыряла в угол. А сегодня, когда Чару услышала шум шагов Омола, она подняла к самому лицу книгу Монмотха Дотто «Колоконтхо» и сделала вид, что усердно читает.

Омол вошел на балкон. Чару притворилась, что не заметила его.

— Что читаешь?

Чару молчала. Омол подошел ближе и стал за стулом.

— А, сочинение золотушного Монмотха Дотто!

— Не мешай читать и не раздражай меня.

Омол фальшивым голосом стал декламировать, подсматривая в книгу:

— «Я — трава, всего ничтожная трава. О друг, о одетый в пурпурные королевские одежды Ошок[1], я только лишь трава. Я не даю ни плодов, ни тени, я не могу поднять свою голову к небу. Весной Кокиль не может найти у меня пристанища, чтобы очаровывать мир своим пением. Но все же, брат Ошок, не пренебрегай мною, ты, пребывающий там, вверху, украшенный цветущими

[1] Ошок — название дерева.

ветвями. Я стелюсь у твоих ног, но ты не презирай меня».*

Дальше Омол стал импровизировать сам:

— Я, связка бананов, связка зеленых бананов, о брат, о тыква, домашняя тыква, я ничтожная связка зеленых бананов.

Чару не могла больше дуться, она громко расхохоталась, отшвырнула книгу и сказала:

— Ты страшный завистник, тебе ничего не нравится, кроме собственных произведений.

— А ты чересчур великодушна, согласна есть даже траву, раз тебе ее дали.

— Ладно, уважаемый господин, бросьте ваши шутки, лучше покажите то, что у вас в кармане.

— А ты догадайся, что у меня там.

Омол долго мучил Чару и, наконец, вытащил номер популярного журнала «Шоропухо». В нем было опубликовано сочинение Омола «Тетрадка».

Чару молчала. Омол думал, что эта новость обрадует Чару. Но она почему-то не проявляла никакого энтузиазма, и Омол пояснил:

— В «Шоропухо» не печатают посредственных вещей.

Омол, конечно, преувеличивал. Редакторы не выпускают из своих рук даже мало-мальски сносных вещей. Но Омол продолжал хвастаться:

— Редактор очень строгий человек. Знаешь, Чару, из сотни произведений выходит в свет только одно.

Чару безуспешно пыталась радоваться. Что-то оборвалось у нее в сердце, и она никак не могла понять в чем дело, почему успех Омола причиняет ей боль.

Произведения Омола принадлежали им обоим. Чару была единственной слушательницей его произведений, главное удовольствие было в том, что никто о них не знал. И Чару не сознавала, что ей неприятна мысль о том, что теперь все могут читать его сочинения, а многим, вероятно, они понравятся. Но ведь писатель не может долгое время ограничиваться только одним читателем. Омол стал регулярно печататься и получать одобрительные отзывы; приходили письма от его поклонников. Омол показывал их Чару. Они радовали ее и одно-

временно печалили — теперь уже не только она одна вдохновляла Омола на творчество.

Омол получил несколько анонимных писем от женщин, Чару с грустью подшучивала над ним. Ей казалось, что бенгальские читатели открыли крепко запертые двери их комитета, и какая-то преграда стала между ними.

Однажды, разговаривая на досуге с Чару, Бхупоти заметил:

— Знаешь, Чару, я не думал, что наш Омол может так хорошо писать.

Похвала Бхупоти доставила Чару удовольствие. Она ощутила какую-то гордость. Наконец, ее муж понял, чем отличается Омол от других людей, которым он покровительствовал.

«А вы, наконец, узнали, почему я все это время так заботилась об Омоле, — думала она, — мне уже давно было известно, что он незаурядный человек и достоин особого уважения».

— А ты читал его произведения? — спросила она у мужа.

— Да. Собственно говоря, нет, но Нишиканто очень их хвалил. А он отлично разбирается в бенгальской литературе.

Чару очень хотелось, чтобы Бхупоти почувствовал особое уважение к Омолу.

III

Как-то раз Бхупоти обсуждал со своим помощником редакционные дела. Умапод доказывал необходимость высылки подписчикам вместе с газетой нескольких приложений.

Бхупоти никак не мог понять того, что затраты на это в конечном счете окупятся и они получат дополнительную прибыль.

В комнату заглянула Чару, увидела, что там сидит Умапод, и ушла. Побродив по дому, она вернулась. Мужчины что-то высчитывали и ожесточенно спорили.

Умапод заметил, что Чару чем-то озабочена, и ушел под благовидным предлогом. Бхупоти продолжал ломать голову над расчетами.

— Ты все еще не кончил работать? — сказала Чару, входя в комнату. — Как ты можешь день и ночь возиться со своей газетой?

Бхупоти отложил в сторону листок с расчетами.

«Действительно, нехорошо, что я совсем не уделяю внимания Чару. Бедняжке абсолютно нечего делать», — подумал он и нежно сказал Чару:

— Ты сегодня не учишься? Вероятно, сбежал учитель? В твоей школе все наоборот: ученик сидит с книгами и ждет, а преподаватель где-то скрывается. Сегодня разве Омол с тобой не занимается, как все эти дни?

— А почему он должен тратить время и учить меня? Разве его наняли, как домашнего учителишку?

Бхупоти обнял жену, привлек к себе и сказал:

— Учителишку? Если б я сам мог учить такую...

— Я не замечаю даже того, что у меня вообще есть муж.

Бхупоти был несколько уязвлен.

— Ладно, с завтрашнего дня я буду с тобой заниматься. Принеси свои книжки, мне нужно посмотреть, что ты проходишь.

— Хватит разговоров. Нет никакой необходимости в том, что ты предлагаешь. Да разве ты можешь оставить хоть на минуту свою газету и уделить внимание еще чему-нибудь?

— Конечно, могу. Чем захочешь, тем я и буду заниматься.

— Ну, хорошо. Прочти тогда это произведение Омола и посмотри, как оно чудесно написано. Редактор сказал, что Нобогопал-бабу, прочитав это сочинение, назвал Омола корифеем бенгальской литературы.

Бхупоти несколько неуверенно взял из рук Чару работу Омола. Называлась она: «Луна в месяце ашаре». В мозговых извилинах Бхупоти, как многоножки, еще ползали бесчисленные цифры — почти две недели он кропотливо изучал бюджет англо-индийского правительства. И, естественно, ему трудно было прочесть сейчас творение с таким заглавием, тем более что оно было довольно велико.

Начиналось это творение так:

«Наступил месяц ашар. Почему же луна всю ночь прячется между туч. Она как будто что-то украла с неба и никак не может скрыть своего преступления. Когда в

месяце фалгуне на небе не было ни тучки, она без всякого стеснения показывала себя всему миру. А сегодня ее смеющееся лицо, похожее на сон ребенка, на воспоминание о возлюбленной, на нить жемчуга, вплетенную в прядь волос Дурги, супруги Шивы...»

Бхупоти задумчиво поскреб голову:

— Да, великолепно написано. Но при чем же здесь я? Разве я что-нибудь понимаю во всей этой поэзии?

Чару сразу же насупилась, вырвала тетрадку и сказала:

— А что ты тогда вообще понимаешь?

— Я земной человек, мне приходится иметь дело с людьми.

— С людьми? Разве в литературе о них ничего не говорится?

— О них пишут неправильно. И зачем искать человека в каких-то искусственных строчках, если он сам наяву стоит перед тобой?

Бхупоти взял Чару за подбородок.

— Вот я хорошо знаю тебя. Разве мне для этого понадобилось читать с начала до конца «Мегхнадбодх» [1] или «Кобиконкон Чонди» [2].

Бхупоти гордился тем, что он не понимает поэзии. Тем не менее, даже не прочитав как следует произведений Омола, он почувствовал к нему в глубине души какое-то уважение. «Пусть в его работе нет особого смысла, но я при всем старании не смог бы так ловко нанизывать слова, как это делает он. Вот уже не предполагал, что у Омола такие способности», — думал Бхупоти.

Бхупоти считал, что у него нет эстетических склонностей, но это не значило, что он был скуп в отношении литературы. Он давал бедным авторам деньги на напечатание книг, предупреждая о том, что не должно быть никаких посвящений ему. Он покупал все еженедельные и месячные журналы на бенгальском языке, приобретал все выходившие в свет книги, вне зависимости от того, можно было их читать или нет.

---

[1] «Мегхнадбодх» — поэма бенгальского поэта XIX века, Мохушудхона Дотто.

[2] «Кобиконкон Чонди» — поэма известного средневекового поэта Бенгалии Мукундарама Кобиконкона.

— Я их и так не читаю, а если еще и не куплю, то совершу такой грех, который нельзя будет искупить, — говорил он.

Так как он не читал книг, то у него не было оснований сердиться на авторов плохо написанных произведений и его библиотека бенгальских книг все росла и росла.

Омол часто помогал Бхупоти править корректуру. На этот раз он вошел в комнату со связкой рукописей, чтобы показать, как неразборчиво пишет какой-то автор.

Бхупоти, засмеявшись, сказал:

— Омол, я знаю, ты можешь великолепно описывать луну в месяце ашаре или же цветение пальм в месяце бхадро — я ничего не имею против этого — я никогда не ограничивал чужую свободу. Зачем же меня лишать свободы? Твоя ботхан [1] не успокоится, пока не заставит меня прочесть твои произведения. За что меня так мучают?

Омол засмеялся.

— Если бы я знал, ботхан, что ты будешь использовать мои сочинения как средство для того, чтобы изводить Бхупоти, я бы никогда не стал их писать.

Омол в душе ругал Чару за то, что она показала его любимое произведение Бхупоти, не смыслившему в литературе, и тем самым поставила его в неловкое положение. Чару моментально это почувствовала, и ей стало грустно. Она попыталась переменить тему разговора и сказала:

— Нужно женить твоего брата, вот тогда больше не придется терпеть его поэтические излияния.

— Теперешние молодые люди не так глупы, как мы. Насколько они сильны в поэзии, настолько же разбираются и в жизни. Поэтому я никак не могу уговорить твоего деверя жениться, — возразил Бхупоти.

Когда Чару ушла, Бхупоти сказал Омолу:

— Знаешь, Омол, мне столько приходится возиться с газетой, что бедняжка Чару все время сидит одна. Делать ей совершенно нечего, иногда она мельком заглянет сюда, в редакцию, и снова уходит. Как мне быть, Омол? Знаешь, было бы хорошо, если б ты немного подзанялся с ней, ей очень полезно послушать переводы из англий-

---

[1] Ботхан — госпожа

ских поэтов, да они ей и понравятся. У Чару тонкий вкус к литературе.

— Конечно, я помогу ей. По-моему, если она еще немного позанимается, то сама сможет прекрасно писать.

Бхупоти засмеялся:

— Таких надежд я не питаю, но во всяком случае Чару гораздо лучше меня разбирается в бенгальской литературе.

— У нее исключительная сила воображения, какую не встретишь среди женщин.

— Могу засвидетельствовать, что и у мужчин редко бывает такая одаренность. Ну хорошо, если ты сможешь выучить свою ботхан, то с меня причитается.

— А что я получу?

— Отыщу вторую такую ботхан и подарю ее тебе.

— Ну вот, придется и с ней заниматься. Что ж мне так и провести весь свой век учителем?

Сводные братья были современными молодыми людьми и высказывали свое мнение свободно.

IV

Омол получил некоторую известность в кругах бенгальской читающей публики и ходит гоголем. Раньше он был обыкновенным студентом, а теперь он имеет вес в обществе, читает на собраниях свои произведения, редакторы и их уполномоченные заходят к нему на квартиру, его приглашают в дома, просят председательствовать или присутствовать на разных собраниях. Родственники и слуги Бхупоти тоже резко изменили к нему отношение.

Омол очень любил жевать бетель. Монду, которая занималась его приготовлением, очень раздражало, что Омол зря переводит столько бетеля. Одним из любимых развлечений Омола и Чару было воровать бетель у Монды. Надо сказать, что веселые проделки этих утонченных воров Монде совсем не доставляли удовольствия. Более того, она с явным неодобрением глядела на Омола. Уже одно то, что из-за Омола приходилось больше хлопотать по хозяйству, вызывало ее недовольство. Чару покровительствовала Омолу, и поэтому Монда не осмеливалась открыто высказывать свое недовольство, но при

каждом удобном случае она проявляла пренебрежение к Омолу и тайком нашептывала про него слугам всякие сплетни. Слуги охотно ее поддерживали.

Возвышение Омола произвело сильное впечатление на Монду. Прежнего Омола уже не было. Исчезла его робкая скромность, он сам получил право пренебрегать другими. Мужчина, который получит место в обществе и смело и решительно утверждает себя в нем, легко привлекает внимание женщины. Стоило Монде увидеть, что Омол стал пользоваться всеобщим уважением, как она сама стала смотреть на него снизу вверх. Блеск славы на юном лице Омола очаровал Монду; она как бы увидела молодого человека в новом свете.

Теперь у него не было никакой необходимости красть бетель. Это было еще одной потерей для Чару. Кончились веселые заговоры, бетель сам шел к Омолу и был у него теперь в избытке.

Более того, возникла серьезная угроза исчезновения еще одного удовольствия — раньше они всяческими уловками не пускали Монду в свой клуб из двух членов, а теперь это стало почти невозможно. Монде не нравилось, что Омол считал своим единственным другом и ценителем Чару. Она стала с процентами возмещать свое прежнее невнимание. Стоило Омолу и Чару встретиться вместе, как она была уже тут как тут. Чару было очень трудно улучить момент, чтобы, пользуясь ее отсутствием, посмеяться над такой неожиданной переменой в Монде.

Не стоит говорить о том, что незваный приход Монды обычно совсем не так раздражал Омола, как Чару. В глубине души его радовало, что женщина, которая раньше им пренебрегала, стала теперь обращать на него внимание.

Когда Чару, увидев Монду, огорченно говорила:

— Смотри, она уже идет, — Омол отвечал:

— Тебя, я вижу, это беспокоит.

Раньше они всегда высказывали неудовольствие, если кто-нибудь нарушал их уединение, и вдруг Омол неожиданно отказался от этой традиции. Теперь, когда Монданини подходила к ним, Омол как бы из приличия спрашивал:

— Монда-ботхан, ты не заметила сегодня следов грабежа в своем ящике с бетелем?

— Зачем тебе его таскать, — ты можешь брать, когда захочешь.

— О, так брать его гораздо приятнее.

— Продолжайте читать то, что вы читали. Почему вы остановились? Я очень люблю слушать.

Прежде Монда никогда не гналась за славой усердной слушательницы, но времена меняются.

Чару была против того, чтобы Омол читал свои произведения Монде, не понимавшей в литературе, но Омол ничего не имел против.

— Омол принес критический разбор «Дневника Комолаканто» [1], разве это тебе... — говорила Чару.

— Я, конечно, глупая, но разве я не смогу понять ни строчки? — отвечала Монда.

Омолу вспомнился один недавний случай. Чару и Монда играли в карты, когда он зашел со своей тетрадкой. Ему очень хотелось прочесть свою работу Чару, и он нервничал от того, что игра не прерывалась. Наконец, он не выдержал и сказал:

— Ну, вы играйте, а я пойду почитаю Окхилу-бабу.

Чару уцепилась за край чадора Омола:

— Посиди, куда ты идешь. Монда проиграла, игра закончилась.

— Начинаются, видимо, ваши занятия? Я уйду, — сказала Монда.

Чару из вежливости предложила:

— Зачем? Посиди, послушай.

— Нет, друзья, я ничего не смыслю в этой вашей чепухе, меня от нее клонит ко сну. — И она ушла, раздраженная тем, что игру пришлось несвоевременно прервать.

— А сегодня эта же самая Монда захотела слушать критический разбор.

— Конечно, Монда-ботхан, для меня большая удача, что ты хочешь меня послушать. — Он перевернул страницу, намереваясь начать снова, там было много удачных мест, и он не хотел их опускать.

Чару поспешно сказала:

— Омол, дорогой, ты обещал принести несколько старых журналов из библиотеки.

— Но не сегодня же.

---

[1] «Дневник Комолаканто» — произведение известного бенгальского писателя Бонкима Чондро Чоттопадхая (1838—1894).

— Нет, именно сегодня — ты, наверное, забыл.

— Как забыл. Ты же говорила...

— Ну, ладно, можешь не приносить. Читай. А я пойду пошлю Пореша в библиотеку.

Чару встала.

Омол понял, что вышла неприятность. Монда же про себя отметила отношение к себе Чару и сразу прониклась к ней неприязнью. И когда после ухода Чару Омол заколебался — уходить ему или оставаться, Монда, слегка усмехнувшись, сказала:

— Иди, иди, мой друг, поступись самолюбием. А то Чару рассердится. У тебя будут неприятности, если ты станешь читать для меня.

Теперь Омолу было очень трудно встать. Сердясь на Чару, он поправил тетрадку и, сказав: «Какие могут быть неприятности», — приготовился читать.

Монда положила руки на тетрадь

— Не нужно, мой дорогой, не читай, — и ушла, сдерживая слезы.

V

Чару ушла в гости. Монда одна сидела в комнате и заплетала косу, когда вошел Омол. Ему, конечно, было известно, что Чару нет дома, и Монда это знала. Засмеявшись, она сказала:

— Увы, Омол-бабу, ты видишь совсем не того, кого ты искал. Такова уж твоя судьба.

— Если справа и слева лежат пути соломы, то осла одинаково тянет в обе стороны, — отшутился Омол и сел на кушетку.

— Монда-ботхан, расскажи мне, как живут у вас дома.

Омол собирал материалы для своих произведений и с интересом слушал все, что бы ему ни рассказывали. Поэтому он больше не относился с пренебрежением и к Монде. Его интересовали и психология Монды и история ее жизни — где она появилась на свет, как выглядят ее родные места, как прошло ее детство, когда она вышла замуж. Он стал обо всем ее расспрашивать. Никто еще так не интересовался мало примечательной судьбой Монды. Она с радостью повествовала о себе, изредка приговаривая:

— Ну и разболталась же я, мне этого совсем не следовало делать.

— Да говори же, мне обо всем хочется знать, — возражал Омол.

Монда рассказала о кривом сборщике налогов, служившем у ее отца. Он однажды поссорился со своей второй женой и объявил голодовку. Но не выдержал и начал тайком кушать в их доме, пока его случайно не застигла жена. Внимательно слушавший Омол от души рассмеялся. Но как раз в это время в комнату вошла Чару.

Нить рассказа оборвалась. Чару ясно поняла, что ее появление заморозило непринужденную беседу, которую вели Монда и Омол.

— Ботхан, как рано ты вернулась, — сказал Омол Чару.

— Да, я вижу, что слишком рано, — ответила Чару и собралась уходить.

— Ты очень хорошо сделала — я принес новую книгу Монмотха Дотто — «Птицы в сумерках», чтобы почитать тебе, и беспокоился — не зная, когда ты вернешься.

— Сейчас я не могу, я занята.

— Что тебе нужно делать, скажи, я помогу тебе.

Чару знала о том, что Омол собирался принести новую книгу. Она неумеренно хвалила сочинения Монмотха Дотто, чтобы возбудить зависть у Омола, и знала, что Омол будет читать ей эти произведения, нарочито их искажая. Поэтому она не находила себе места в гостях от нетерпения и, несмотря на все уговоры, рано ушла, сославшись на нездоровье. А теперь она твердила себе, что сделала глупость, ей надо было остаться там.

А какова Монда? Сидит одна в комнате с Омолом и хохочет во все горло. Что скажут люди? Но Чару было очень трудно упрекнуть Монду. Ведь та могла привести очень похожий пример. Правда, Чару одно, а Монда другое. Чару вдохновляла Омола на творчество, изучала с ним литературу, а Монда? Разве у нее были все эти оправдания? Она, без сомнения, плела сети, в которые хотела завлечь неопытного юношу. Долг Чару — спасти беднягу Омола от этой страшной угрозы. Но как объяснить Омолу, с каким огнем он играет? Дашь ему понять, а соблазна от этого будет еще больше, и все получится совсем не так, как нужно.

Несчастный Умапоти! Он день и ночь помогает мужу Чару с газетой, а жена его тем временем готовится совратить Омола. Дада слишком беспечен. Он безгранично доверяет Монде. Нет, Чару не может оставаться равнодушной, когда все это происходит на ее глазах. Это было бы слишком непорядочно.

Все беды начались с тех пор, как Омол принялся писать и приобрел имя, прежде он был совсем другим. А именно она, Чару, явилась причиной того, что он стал сочинять. Несчастливым был момент, когда она толкнула его на путь творчества. Разве она имеет теперь такое же, как и раньше, влияние на Омола? Теперь он вкусил славы, у него много поклонников и потерять одного из них для него ничего не значит.

Чару решила, что все несчастье заключается в том, что Омол выскользнул из ее рук и попал в руки общества. Теперь Чару не была для него равноправным товарищем — как же, он писатель, а она читательница. Нужно как-то это исправить.

О, неопытный Омол, коварная Монда, несчастный Умапоти!

VI

Шел месяц ашар. Небо затянуло тучами; в комнате было темно, и поэтому Чару устроилась писать у открытого окна.

Она не заметила, как беззвучно Омол подошел. Он прочел то, что Чару писала в мягком свете пасмурных сумерек. Рядом с ней лежало несколько печатных работ Омола, они были единственным образцом для Чару.

— И ты утверждаешь, что не умеешь писать!

Чару вздрогнула, неожиданно услышав звук голоса Омола, и поспешно спрятала тетрадку.

— Ты нехорошо поступаешь, — сказал Омол.

— А ты зачем подглядываешь?

— Но ведь ты не показываешь.

Чару схватила тетрадку, готовясь ее порвать. Омол проворно вырвал тетрадь.

— Если ты прочтешь, я поссорюсь с тобой на всю жизнь.

— А если ты не дашь мне прочесть, я с тобой в ссоре на всю жизнь.

— Что хочешь делай со мной, дорогой, только не читай.

Но Чару все-таки пришлось подчиниться. Ей очень хотелось показать свои сочинения Омолу, но она не ожидала, что ей будет так стыдно это сделать. Когда после долгих уговоров Омол получил разрешение прочесть ее работу, руки и ноги ее от неловкости стали холодными, как лед.

— Я принесу тебе бетель, — проговорила она и убежала в соседнюю комнату.

Омол дочитал до конца, пошел к Чару и сказал:

— Чудесно написано.

Чару даже забыла положить в бетель сок.

— Уходи. Не смей шутить. Отдай тетрадку.

— Тетрадь я тебе не отдам, я перепишу это и пошлю в газету.

— В газету? Ни в коем случае!

Чару стала шуметь, но Омол не подчинялся.

Он без конца повторял и клялся, что работа подходит для газеты, и Чару пришла в отчаяние.

— С тобой невозможно справиться. Что попало к тебе в руки, ты уже не отдашь.

— Нужно показать Бхупоти, — сказал Омол.

Чару бросила возиться с бетелем, вскочила со скамейки и снова попыталась вырвать тетрадь.

— Не смей этого делать! Если ты ему скажешь о моих сочинениях, я больше не напишу ни одной буквы.

— Ботхан, ты ничего не понимаешь. Дада прямо тебе все скажет, он будет очень доволен.

— Пусть даже так.

— А мое одобрение совсем не нужно, не так ли?

Чару дала себе слово, что будет писать, — она должна поразить Омола. Она не успокоится, пока не покажет, какая разница существует между ней и Омолом.

Все, что она писала, она тут же рвала на куски. Ее сочинения слишком сильно напоминали работы Омола. Сравнивая, она замечала, что отдельные части ее работы почти дословно были заимствованы из произведения Омола. И именно эти части были хороши, а остальное выглядело сырым, необработанным материалом.

Омол, конечно, посмеется над такими опусами. Представив себе эту картину, она рвала на мелкие клочки

написанное и швыряла в пруд — чтобы ни одна строчка даже случайно не попала в руки Омола.

Сначала ее сочинение называлось «Тучи в срабоне» Ей казалось, что она написала что-то новое, пропитанное свежим чувством. Но вдруг пришла в голову мысль, что все это лишь перепевы «Луны в ашаре» Омола.

«О друг, луна, почему ты, как вор, прячешься в тучах», — писал Омол.

А у Чару говорилось:

«О подруга, тучка, откуда ты появилась и куда бежишь, украв луну и спрятав ее в складках своего сари».

Чару никак не могла избавиться от влияния работ Омола и в конце концов решила писать на совсем иную тему. Она перестала думать о луне, тучах, цветах, птицах и т. п. и написала сочинение под названием «Капитола». В ее родной деревне на берегу тенистого пруда стоял храм богини Кали. В детстве вид храма внушал ей страх и любопытство, она вспомнила старинные истории, повествовавшие о величии грозной богини. Все это она описала. Начало ее сочинения было сделано в стиле Омола и изобиловало пышными поэтическими выражениями, но дальше повествование лилось просто и легко и отражало сельские обычаи, язык, привычки.

Вот это сочинение и попало в руки к Омолу. Начало ему очень понравилось, а дальше Чару, видимо, не хватило поэтического настроения. Что ж, для первой работы сочинение заслуживает самой высокой оценки.

— Милый, давай издавать ежемесячный журнал, — сказала вдруг Чару.

— Для такого дела нужна уйма денег.

— А наш журнал не потребует никаких расходов. Мы не будем его печатать, а перепишем от руки. Кроме твоих и моих сочинений, там ничего больше не будет публиковаться, читать его мы никому не дадим. Издавать будем два экземпляра — один для тебя и один для меня.

Раньше Омол был бы восхищен таким предложением, но теперь он утратил вкус к секретам. Никакое произведение не доставило бы ему удовольствия, если бы не было возможности его обнародовать. Но он сделал вид, что не утратил прежних склонностей, и сказал:

— Да, это было бы очень интересно.

— Дай мне слово, что, кроме нашего журнала, ты никуда не будешь давать свои сочинения.

— То́гда редакторы меня убьют.

— Ты думаешь, и у меня нет смертоносного оружия?

На этом и порешили. Два редактора, два писателя и два читателя образовали один комитет. Омол предложил назвать журнал «Чарунатх», Чару настаивала на заголовке «Омола».

Новое дело заставило Чару позабыть неприятности прошлых дней. Монде, как и всем остальным, вход в новый журнал был заказан.

VII

— Чару, я никогда не думал, что ты станешь писательницей, — сказал как-то Бхупоти, зайдя к жене.

Чару вздрогнула и, покраснев, воскликнула:

— Я — писательница? Кто тебе сказал? Никогда не была ею!

— Однако ты поймана с поличным. — Бхупоти вытащил из кармана номер журнала «Шорорухо». Там были опубликованы все произведения, которые были скрытым богатством и предназначались для рукописного ежемесячного журнала. Чару показалось, что кто-то выпустил из клетки ее любимых птиц. Она забыла даже о чувстве неловкости перед Бхупоти и почувствовала, как в ней растет гнев против предателя Омола.

— А теперь посмотри сюда, — прибавил Бхупоти и разложил перед ней номер газеты «Бишно-бондху». В нем была опубликована статья «О стилях в современной бенгальской литературе».

Чару отодвинула газету.

— Зачем я буду читать эту статью!

Ее душил гнев, она больше ни о чем не могла думать.

Бхупоти настаивал:

— Ты должна прочесть.

У Чару не оставалось другого выхода, как взять статью, которая была написана очень резко. Автор критиковал напыщенность слога некоторых современных прозаиков. Особенно едким насмешкам он подвергал сочинения Монмотха Дотто и Омола и приводил им в

пример молодую писательницу Шрамоти Чарубалу, одобряя неподдельную простоту и ясность языка ее произведений, непринужденность стиля и мастерство в создании образов. Автор добавлял, что единственный выход для Омола и компании — успешно следовать этому стилю, иначе их несомненно ждет окончательный провал.

— Это называется нанести поражение учителю, — смеясь, сказал Бхупоти.

Удовольствие от положительного отзыва на ее первые сочинения сразу же сменились чувством боли. Стоило манящему нектару одобрения коснуться ее ушей, как он сразу же вызвал неприятное чувство, и душа ее восстала против всяких похвал.

Чару поняла, что Омол решил ее поразить, опубликовав в журнале ее произведения. А когда они вышли в свет, он решил дождаться одобрительной рецензии, показать ей, усмирить тем самым гнев Чару и вдохновить ее на дальнейшую работу.

Почему же Омол не пришел с воодушевлением показать ей эту рецензию? Он спрятал эту газету, потому что там нанесен удар ему самому, и он вовсе не хотел показывать ее Чару.

Чару ради развлечения создала маленькую, тщательно скрытую от посторонних глаз литературную пещерку, но каменный град похвал вот-вот готов был завалить ее и уничтожить.

Когда Бхупоти ушел, она взобралась на кушетку и долго сидела, не двигаясь. Перед ней лежали номера журналов «Шорорухо» и «Бишшобондху».

Омол с тетрадкой в руках вошел в комнату и тихо подкрался сзади к Чару — он хотел ее в шутку напугать. Но Чару сидела, углубившись в чтение упомянутых статей.

Омол, все так же тихо ступая, вышел из комнаты. «Чару вне себя от радости, что похвалили ее произведения и обругали мои, — подумал он. Горькое чувство охватило его. — Чару прочитала глупую рецензию и решила, что она возвысилась над своим учителем — в этом никакого сомнения, — подумал Омол, сердясь на Чару все больше и больше. Чару должна была изорвать газету в клочки и бросить ее в печку».

В сердцах Омол пошел к Монде и позвал, остановившись в дверях:

— Монда, ботхан.

— Входи, дорогой, входи. Сколько тебя не видела. Чем я обязана такому счастью?

— Хочешь послушать мое новое сочинение?

— Сколько раз ты мне уже обещал почитать, но так до сих пор ничего и не прочитал. Не нужно, милый, а то опять кое-кто появится и рассердится, и у тебя будут неприятности, и я...

Омол твердым голосом возразил:

— Кто рассердится? Почему? Ладно, увидим, а пока что послушай.

Монда охотно подчинилась. Омол торжественно, громким голосом начал читать.

Произведения Омола были совсем чужды Монде, она не могла уловить в них никакого смысла. Поэтому она, изобразив на лице улыбку, слушала их с особым вниманием. А воодушевленный Омол читал все громче и громче:

— «Обхимонья еще во чреве матери выучился идти только вперед, он не знал, что такое отступление. Так и река катит свои воды через каменное чрево пещеры и не умеет поворачивать назад. О речной поток, о молодость, о время, о мир, вы всегда смотрите только вперед и никогда не поворачиваете на дорогу, где рассыпаны украшенные золотом осколки воспоминаний. Одна только человеческая душа способна оглядываться назад, а бесконечная вселенная никогда не смотрит в ту сторону».

В это время у дверей комнаты Монда заметила чью-то тень, но, притворившись, что она ничего не видит, Монда с глубоким вниманием продолжала слушать Омола.

Тень быстро исчезла.

Чару долго ждала, что Омол придет к ней, чтобы поругать газету «Бишшобондху», и собиралась сама как следует поругать Омола за то, что он нарушил слово и опубликовал ее сочинения в журнале.

Время шло, Омол все не появлялся. Чару держала в руках сочинение, которое Омол хотел послушать.

Вдруг ей показалось, что голос Омола доносится как будто из комнаты Монды. Чару вскочила как ужаленная. Стараясь не делать шума, она подошла к двери. Раньше она не слышала вещи, которую Омол сейчас читал Монде.

Омол декламировал:

— «Одна только человеческая душа способна оглядываться назад, а бесконечная вселенная никогда не смотрит в ту сторону».

Чару не могла уйти так же бесшумно, как пришла. Несколько ударов, обрушившихся сегодня на нее один за другим, совершенно лишили ее спокойствия. Ей хотелось кричать на весь дом, что Монда ни слова не понимает в сочинениях Омола, а Омол, словно круглый дурак, читает ей, лишь бы иметь слушателей. Она ничего не сказала, но выразила свой гнев тем, что с шумом ушла в свою комнату, громко хлопнув дверью.

Омол на момент остановился. Монда, смеясь, намекнула на то, что это была Чару. «Ну и тиран, наша ботхан, — подумал про себя Омол. — Разве я ее раб и без ее согласия не могу ничего делать? Разве я не имею права читать свои произведения никому, кроме нее? Что за насилие?!» И он стал читать еще громче. Окончив, он нарочно прошел мимо дверей Чару. Чару слышала шум его шагов, но он даже не остановился. От гнева и горя Чару не могла плакать. Она достала свою новую работу и порвала ее в клочки. В какую злую минуту она затеяла всю эту игру в литературу!

VIII

Сумерки. С балкона доносится нежный запах жасмина. На небе сквозь облака просвечивают звезды. Сегодня Чару не причесывалась, не переодевалась. Она сидела у окна в темной комнате. Легкий ветерок шевелил ее волосы, из глаз безостановочно струились слезы — почему, она так и не могла понять.

Неожиданно в комнату вошел Бхупоти. Лицо его было печально, на душе у него было тяжело. В это время он обычно никогда не приходил. Необходимость писать статьи для газеты и править корректуру заставляла его большей частью приходить поздно. А сегодня он пришел к Чару раньше, надеясь успокоиться хоть у нее.

Лампа погасла. В слабом свете сумерек у окна белела фигура Чару. Бхупоти медленно подошел к ней. Чару не обернулась на звук его шагов, она сидела неподвижно, как в обмороке. Удивленный Бхупоти позвал ее:

— Чару.

Услышав голос мужа, она очнулась и поспешно вскочила. Погладив ее голову, Бхупоти нежно спросил:

— Почему ты тут сидишь одна в темноте? Где Монда?

То, чего Чару ждала весь день, не сбылось. Она так надеялась, что Омол придет просить прощения, а вместо него пришел Бхупоти. Его неожиданная ласка заставила ее потерять самообладание — она залилась слезами.

Бхупоти охватила острая жалость.

— Чару, — участливо спросил он, — что с тобой, Чару?

Ей было очень трудно объяснить, что случилось. Как она могла пожаловаться на то, что Омол пошел со своей новой работой не к ней, а к Монде. Муж только засмеялся бы, услышав это. Чару была не в состоянии найти в этом ничтожном происшествии действительную причину своего горя. Боль только усиливалась от того, что Чару не могла понять, почему она так страдает без видимой причины.

— Ну, скажи же, Чару, что случилось. Я чем-нибудь провинился перед тобой? Ты же знаешь, как страшно я занят из-за всяких хлопот с газетой. И если я чем-нибудь огорчил тебя, то это произошло помимо моей воли.

Вопросы Бхупоти не требовали ответов. Чару казалось, что станет легче, если муж оставит ее одну.

Бхупоти, не получив ответа, еще раз ласково сказал:

— Я виноват в том, что не могу постоянно быть с тобой. Больше я не стану так поступать. Теперь я не буду день и ночь возиться с газетой. Я сделаю все, что ты захочешь.

— Дело не в этом, — нетерпеливо сказала Чару.

— А в чем же? — спросил Бхупоти, сев на кушетку.

Чару больше не могла сдерживать своего раздражения.

— Оставь меня, поговорим вечером.

Бхупоти на минуту растерялся, потом сказал:

— Ну ладно, оставим пока этот разговор, — и медленно вышел из комнаты. Он так ничего и не сказал о своих неприятностях.

Чару поняла, что причинила боль мужу, и решила его вернуть. Она никак не могла решить, что ему

сказать. Жалость сжимала ее сердце, но чем она могла успокоить мужа?

Поздний вечер. Чару с особой тщательностью приготовила мужу поужинать и села на стул, обмахивая себя веером. Послышался голос Монды, которая громко звала слугу

— Броз! Эй, Броз!

Когда Броз откликнулся, Монда спросила:

— Омол уже покушал?

— Да.

— А ты так и не отнес ему бетель, — сказала Монда и принялась вовсю бранить слугу.

Тут вошел Бхупоти Чару продолжала обмахивать себя веером.

Чару дала себе слово быть сегодня веселой с мужем. Она заранее обдумала, как будет с ним беседовать. Но разговор Монды со слугой сорвал все ее приготовления; во время ужина она не смогла сказать ни слова. Бхупоти же сам был печален и невнимателен. Он плохо кушал, так что Чару даже раз спросила:

— Ты почему ничего не ешь?

— Почему? Я кушаю, — рассеянно возразил Бхупоти.

В спальне Бхупоти спросил Чару:

— О чем ты собиралась мне рассказать?

Чару ответила:

— Понимаешь, с некоторых пор мне не нравится поведение Монды. Я больше не могу выносить ее присутствия.

— А что она делает?

— Она так себя ведет с Омолом, что просто стыдно смотреть.

Бхупоти рассмеялся.

— Ты с ума сошла! Омол ведь ребенок, да к тому же старомодно воспитанный.

— Ты следишь за тем, что делается во внешнем мире, и совсем не замечаешь того, что творится в семье. При всех обстоятельствах я очень беспокоюсь о бедняге Умапоти. Монда не обращает внимания на то, кушал он или нет. Зато, если Омолу хоть чуть-чуть не хватило бетеля, она затевает ссоры со слугами.

— Остается только сказать, что вы, женщины, слишком подозрительны.

Чару рассердилась.

— Ладно, пусть мы слишком подозрительны, но я тебе говорю, что не потерплю в нашем доме таких безобразий!

Все это необоснованное раздражение Чару вызвало в душе Бхупоти улыбку и даже радость. Верная супруга бдительно следит своим недоверчивым оком за тем, чтобы семья была священной, чтобы ее не коснулась никакая даже воображаемая грязь. В этом есть и прелесть и величие.

Бхупоти с нежностью и уважением поцеловал жену в лоб.

— Не нужно затевать скандала из-за всего этого. Умапоти уезжает в Моймоншингхо — он будет там работать адвокатом. Жену он, конечно, возьмет с собой.

Чтобы прекратить этот неприятный разговор, Бхупоти взял со стола тетрадку.

— Почитай мне свои сочинения, Чару.

Чару вырвала тетрадку.

— Они тебе не понравятся, зачем ты шутишь?

Бхупоти несколько уязвили эти слова. Но он скрыл свои чувства и, смеясь, сказал:

— Ладно, я больше не буду шутить. Я так смирно буду слушать, что тебе покажется, будто я уснул.

Но Бхупоти так и не услышал ни слова, а тетрадка была запрятана подальше.

IX

Бхупоти не сказал Чару всего. Дело в том, что Умапоти был управляющим делами газеты Бхупоти. Он собирал деньги с подписчиков, возмещая расходы по продаже газеты, платил жалованье служащим.

Однажды, совсем неожиданно на имя Бхупоти пришло письмо, сильно его поразившее. Оказывается, он был должен две тысячи семьсот рупий. Бхупоти вызвал своего управляющего.

— Как это могло случиться, Умапод. Я ведь отослал эти деньги через тебя. Долг никак не может превышать четырехсот, пятисот рупий.

— Конечно, они ошиблись, — ответил Умапод.

Но скрывать это дело больше было нельзя. Оказывается, Умапод уже долгое время его обманывал не

только в делах, связанных с газетой. Он задолжал многим торговцам, выдавая обязательства от имени своего хозяина, построил кирпичный дом в деревне и расходы на материал возместил в основном за счет денег из кассы газеты.

Когда его уличили, он грубо заявил Бхупоти:

— Я же никуда не убегаю. Постепенно я возмещу свой долг за счет жалованья. Пусть я не буду зваться Умаподом, если за мной останется хоть четверть...

Это заявление, конечно, не могло успокоить Бхупоти. Его глубоко огорчил не столько материальный ущерб, сколько вероломство друга. Бхупоти показалось, что он шагнул в пропасть. И как раз в этот день он в необычное время пошел на женскую половину. Ему показалось в тот момент, что это единственное место в мире, где можно верить людям, и его со всей силой потянуло туда, где в темной комнате сидела Чару, погруженная в свое горе. На следующий день Умапод готовился к отъезду в Моймоншингхо. Он хотел уехать прежде, чем дадут о себе знать кредиторы с рынка. Презрение к вероломному другу мешало Бхупоти с ним поговорить, и это было Умаподу только на руку.

В этот момент к ним зашел Омол.

— Монда-батхан, что случилось? Зачем ты собираешь вещи?

— Да вот, милый, приходится уезжать. Не вечно же нам сидеть здесь.

— А куда вы уезжаете?

— Домой.

— Зачем? Разве здесь плохо?

— Мне-то не плохо, я жила в вашей семье очень счастливо. А вот кое-кому это причинило неудобство, — она кивнула в сторону комнаты Чару.

Омол сразу стал серьезным и замолчал.

— Какой позор, — добавила Монда. — Что подумает господин.

Омол больше не стал разбираться во всей этой истории. Он решил, что Чару сказала мужу что-то такое, чего совсем не следовало говорить.

Омол вышел из дому и зашагал по улицам. Ему не хотелось больше возвращаться. Раз дада поверил тому, что сказала Чару, и считает его виновным, он должен уйти в том же направлении, что и Монда. Уход Монды—

это одновременно и распоряжение об изгнании его, Омола. Ему только не сказали это открыто. Он не должен больше оставаться в этом доме ни минуты. Нельзя лишь допустить, чтобы дада имел о нем неправильное представление. Столько времени он пользовался гостеприимством Бхупоти, ничем не нарушая его безраздельного доверия, и как он может уехать теперь, не сказав Бхупоти, что ни в чем не виноват перед ним.

А Бхупоти в это время сидел у себя, охватив голову руками, и думал о неблагодарности родственников, настойчивости кредиторов, запутанных делах и пустой кассе. Никто не разделял с ним этого несчастья — и он готовился один сражаться и со своим горем и со своими долгами.

Омол влетел в комнату как буря. Бхупоти вздрогнул и оторвался от своих невеселых дум.

— В чем дело, Омол? — Он решил, что Омол пришел к нему, чтобы сообщить еще какую-нибудь дурную весть.

— Дада, у тебя есть какие-нибудь причины сомневаться во мне? — спросил Омол.

— Сомневаться? В тебе? — сказал пораженный Бхупоти. Но про себя подумал: «Мир так устроен, что я не удивлюсь, если мне придется подозревать в чем-нибудь даже Омола».

— Ботхан говорила тебе что-нибудь плохое о моем поведении?

«Ах, так вот в чем дело», — подумал Бхупоти, и у него отлегло от сердца. «Оскорбленное чувство. Можно испытать самые серьезные неприятности и все равно придется даже в самую трудную минуту разбираться в таких пустяках».

В другое время Бхупоти лишь посмеялся бы над Омолом, но сегодня ему было не до этого.

— Ты с ума сошел?

Омол продолжал настаивать.

— Ботхан, что-нибудь говорила.

— Если она сказала мне, что любит тебя. Разве из-за этого стоит сердиться.

— Мне нужно теперь уехать и искать себе работу.

Бхупоти стал сердиться:

— Омол, к чему все это ребячество? Сейчас тебе нужно учиться, работать ты будешь потом.

Недовольный Омол ушел, а Бхупоти начал проверять списки поступлений от подписчиков и книги расходов и доходов за последние три года.

X

Омол решил, что нужно поговорить с Чару. Он повторял про себя все те резкие слова, которые он собирался сказать ботхан.

А Чару, после того как Монда уехала, решила сама вызвать Омола и успокоить его. Позвать его можно было лишь под предлогом чтения нового произведения. Поняв, что ему не нравятся ее самостоятельные работы, она в подражение сочинениям Омола написала сочинение «Свет молодой луны».

В своем произведении Чару осуждала полную луну за то, что она слишком ярко светит. «Свет молодого месяца, — писала Чару, — постепенно пронизывает бездомную тьму новолуния, ни один луч не пропадает даром; поэтому блеск полной луны бледнеет перед слабым светом молодого месяца и т. п.». Произведения Омола светят всем и слепят, а Чару так не поступает — своим сочинением о новолунии и полнолунии Чару хотела намекнуть именно на это.

Бхупоти в это время в поисках выхода для уплаты самых неотложных долгов отправился к своему большому другу — Мотилалу. Когда-то, в трудную минуту, Бхупоти одолжил ему несколько тысяч рупий; а теперь он сам был в трудном положении и поэтому был вынужден просить Мотилала вернуть ему эти деньги. Мотилал отдыхал после купания и, обмахивая себя веером, выписывал бисерным подчерком на листе бумаги все имена Дурги. Он сердечно приветствовал друга:

— Тебя что-то совсем не видно.

Но как только речь зашла о деньгах, выражение его лица моментально изменилось.

— О каких деньгах ты говоришь? Разве я у тебя что-нибудь брал?

Бхупоти напомнил, когда он ссудил ему эти деньги.

— Но тот срок, в который ты можешь требовать их уплаты, давно прошел, — сказал Мотилал.

Как будто весь мир кругом стал иным для Бхупоти.

Его стала бить нервная дрожь, когда перед ним открылась страшная сторона жизни, которая до сих пор была от него скрыта. И как человек, застигнутый наводнением, бежит к тому месту, которое ему кажется самым высоким, так и Бхупоти пошел из жуткого мира во внутренние покои своего дома, на женскую половину. «Что бы там ни было, — думал он, — а Чару меня никогда не предаст».

Чару сидела на кушетке и, положив на колени подушку, на которой лежала тетрадка, была поглощена своим сочинением. Она опомнилась, когда Бхупоти подошел совсем близко, и быстро спрятала тетрадку под ноги.

Когда у нас болит душа, то малейший удар причиняет сильную боль. Бхупоти до глубины души уязвило то, что Чару с ненужной поспешностью убрала тетрадку при его появлении.

Бхупоти медленно сел на кушетку рядом с Чару. Чару несколько растерялась оттого, что ей неожиданно помешали писать и что ей пришлось так поспешно спрятать свою работу. Она не знала, что ей сказать.

Сегодня Бхупоти ничего не мог дать Чару, не мог сам начать разговор. Он пришел к Чару с пустыми руками, как проситель. Его наболевшую душу излечило бы самое незначительное, робкое проявление любви и заботы.

Но Чару не могла найти этого волшебного ключика, который понадобился так внезапно. Неловкое молчание делало тишину в доме еще более тягостной.

Так они молча сидели некоторое время. Бхупоти глубоко вздохнул, встал с кушетки и медленно вышел из комнаты.

Омол тем временем шел к Чару, повторяя про себя суровые слова, которые он собирался ей сказать. По дороге он встретил Бхупоти и сразу же заметил его бледное, изменившееся лицо.

Встревоженный, он остановился и спросил:

— Дада, что с тобой, ты заболел?

От ласкового голоса Омола комок невыплаканных слез застрял в горле Бхупоти. Он не мог сказать ни слова, потом усилием воли справился с собой:

— Ничего, Омол, со мной ничего. Как твои сочинения, вышло в свет что-нибудь новенькое?

Все злые слова, которые копил в душе Омол для Чару, куда-то исчезли. Он быстро прошел к Чару.

— Ботхан, скажи, что случилось с Бхупоти?

— Я ничего не могла понять. Наверное, его газету ругали в какой-нибудь статье.

Омол покачал головой.

Чару почувствовала облегчение от того, что Омол пришел без приглашения и непринужденно начал разговор. Она заговорила о своем новом сочинении:

— Я сегодня написала «Свет молодого месяца». Он только что смотрел мою работу.

Чару думала, что Омол, конечно, будет к ней приставать с просьбой показать ее сочинение. Она вертела тетрадку в руках. Но Омол посмотрел твердым взглядом в лицо Чару. Неизвестно, что он прочел в ее лице. Он стал сразу серьезным и встал с кушетки. Так смотрит пораженный путник, идущий по горной дороге, когда ему неожиданно застилает путь туман, клочья которого скрывают глубокие впадины.

Омол, не сказав ни слова, вышел из комнаты. Чару так и не поняла, чем объяснить такой неожиданный поступок Омола.

XI

На следующий день Бхупоти опять пришел на женскую половину раньше чем обычно и позвал Чару.

— Знаешь Чару, есть возможность очень удачно женить Омола.

— Что сделать удачно? — рассеянно спросила Чару.

— Женить.

— Что ж, разве я против этого?

Бхупоти громко рассмеялся.

— Я еще не спрашивал Омола о том, как ты относишься к этому. Все равно и у меня есть определенные требования, от которых я легко не откажусь.

— Что ты говоришь! Как будто бы речь идет о твоей женитьбе. — Чару покраснела.

— Зачем же я пришел с тобой советоваться? Я ведь не рассчитываю получить бакшиш.

— Омол женится. Ну и прекрасно. В чем же задержка?

— Рогхунатх-бабу, адвокат из Бурдвана, хочет выдать за него свою дочь и послать его учиться в Англию.

Пораженная Чару спросила:

— В Англию?

— Да, в Англию.

— Омол едет в Англию? Интересно. Отлично, прекрасно. Но тебе надо с ним поговорить.

— Не лучше ли будет, если прежде ты с ним поговоришь?

— Да я уже ему тысячу раз об этом говорила. Он меня не слушает. Я не смогу его убедить.

— Ты думаешь, он не согласится?

— Я, как могла, старалась уговорить его жениться, но тщетно.

— На этот раз ему не следует отказываться. У меня сейчас большие материальные затруднения, много долгов, и я уже не смогу ему помогать так, как прежде.

Бхупоти позвал Омола.

— Адвокат из Бурдвана, Рагхунатх, — сказал он, — предложил выдать за тебя свою дочь. А потом он хочет послать тебя в Англию. Каково твое мнение на этот счет?

— Если вы одобряете, у меня нет никаких возражений.

И Бхупоти и Чару были поражены. Они оба не думали, что он сразу же даст согласие.

Чару насмешливо сказала:

— Оказывается, достаточно одного одобрения дяди. Вот как он меня слушался. Почему же все это время не было заметно, что ты так почитаешь дядю?

Ничего не ответив, Омол принужденно засмеялся. Чару попыталась его расшевелить и с еще большим жаром сказала:

— Конечно, он делает по своему желанию. Только зачем, Омол, ты столько времени делал вид, что не хочешь жениться. Разве зазорно скрывать свой аппетит, если голоден?

Бхупоти поддержал Чару.

— Омол все это время подавлял свой голод ради тебя, чтобы ты не стала завидовать его невесте.

Чару опять покраснела и стала протестовать:

— Завидовать? Я? Никогда! Нехорошо с твоей стороны так говорить.

— Глядите, нельзя пошутить с собственной женой.

— Мне такие шутки не нравятся.

— Ладно, я серьезно провинился, прости. В общем, вопрос о женитьбе решен?

— Да, — ответил Омол.

— Разве ты не можешь подождать с ответом по крайней мере до тех пор, пока не посмотришь на невесту? Вот уж никак нельзя было думать, глядя на тебя раньше, что ты дошел до такого состояния, — сказала Чару.

Бхупоти добавил:

— Омол, если ты хочешь посмотреть на невесту, я могу это устроить. Я слышал, что она красива.

— Нет никакой необходимости ее видеть, — ответил Омол.

— Зачем ты его слушаешь? — возразила Чару. — Разве можно жениться, не видев невесту? Если он не хочет, то надо хоть нам с ней повидаться.

— Нет, дада, зря медлить с этим делом совершенно ни к чему.

— А зачем спешить, разве у тебя будет разрыв сердца, если ты задержишься? Омол, ты уже, наверное, одел свадебную диадему? Вдруг кто-нибудь украдет твою принцессу, — сказала Чару.

Шутки Чару совершенно не действовали на Омола, но она продолжала:

— Вероятно, тебе хочется поскорей сбежать за границу? Разве мы удерживали тебя здесь или мучили. Нынешняя молодежь не успокоится, пока не оденется в европейские шляпу и пальто. Когда ты вернешься, дорогой, то, наверное, не будешь замечать таких черномазых, как мы.

— Зачем же мне еще ехать в Англию?

Бхупоти засмеялся.

— Пересекать семь морей, чтобы забыть о черномазых! Но ты не бойся, Чару, мы никуда не денемся, и он не останется без черных почитателей.

Довольный Бхупоти послал письмо в Бурдван. Скоро был назначен и день свадьбы.

XII

Тем временем газету пришлось совсем закрыть — у Бхупоти не было больше средств на ее издание.

В один миг пришлось отказаться от служения тому огромному нечто, которое носит название общества, слу-

жению которому Бхупоти долгие годы отдавал всего себя. Вся привычная деятельность, занимавшая его внимание в течение двенадцати лет, внезапно погрузилась в какую-то водную пучину. Бхупоти был к этому совершенно не готов. Куда он мог теперь, неожиданно наткнувшись на неодолимое препятствие, направить всю свою энергию. Эта энергия ждала Бхупоти, как голодный ребенок-сирота, и он привел ее к себе на женскую половину к доброй, заботливой женщине.

О чем думала в этот момент эта женщина?

— Нет ничего удивительного в том, что Омол женится. Это даже к лучшему. Но почему он без всякого колебания решился оставить нашу семью, в которой он жил столько времени? Уйти в чужой дом и жениться! Столько времени мы о нем заботились, и, как только представилась возможность уйти от нас, он с готовностью согласился, как будто бы только и ждал этой возможности! А на словах он был так ласков. Как ошибаешься в людях! Кто мог думать, что сердце человека, который умеет так писать, окажется пустым?

Сравнивая себя, свою способность чувствовать, с Омолом, Чару безуспешно пыталась вызвать в себе презрение к нему. Непрестанная боль в сердце жгла, как раскаленная игла, и, заставляя умолкнуть самолюбие, твердила:

«Омол не сегодня-завтра уедет, в эти дни я его не увижу, и у меня не будет возможности ликвидировать недоразумение, которое возникло между нами».

Каждую минуту Чару ждала, что Омол придет сам,— ведь не может вся их дружба в один миг превратиться в прах — но Омол не приходил. Наконец, до дня отъезда осталось совсем немного и Чару решилась позвать его.

Омол обещал прийти позже. Чару ждала его, сидя в кресле на балконе. С утра было пасмурно и душно. Чару привела в порядок свою прическу и вяло махала веером.

Наступил вечер, а Омола все не было. Чару была уже не в состоянии пошевелить рукой и отложила веер. Сердце ее разрывалось от гнева и горя. «Что из того, что он не придет?» — пыталась она себя успокоить, но тщетно — шум шагов за дверью заставлял ее каждый раз вздрагивать и прислушиваться. На храмовых часах пробило

одиннадцать. Скоро после купания должен был прийти ужинать Бхупоти. Если Омол сейчас придет, им останется всего полчаса. Любой ценой нужно ликвидировать эту немую ссору — так расставаться нельзя. Неужели Омол растопчет всю старую дружбу, дружбу сверстников, близких родственников, все их чувства, легкие ссоры, нежные капризы, доверчивые беседы в тенистой беседке и уедет надолго, бесконечно далеко... Неужели ему не будет грустно и в его душе не останется ни капли сожаления об их ушедшей дружбе?

Оставшиеся полчаса подходили к концу. Чару распустила волосы и нервно перебирала прядь. Она больше не могла сдержать слез.

Вошел слуга:

— Госпожа, нужно достать кувшин для хозяина.

Чару вытащила ключи от кладовой и швырнула их к ногам слуги. Он ушел удивленный.

Клубок подступил к горлу Чару, она задыхалась.

В обычное время пришел улыбающийся Бхупоти. Чару с веером в руках села за стол и заметила Омола. Она не смотрела в его сторону.

— Ботхан, ты меня звала? — спросил Омол.

— Нет, сейчас ты мне не нужен.

— Тогда я пойду, мне нужно укладываться.

Чару, сверкнув глазами, посмотрела Омолу в лицо:

— Уходи!

Омол тоже взглянул в глаза Чару и ушел.

После ужина Бхупоти сел рядом с Чару. Сегодня он очень устал от возни с долговыми расписками и бухгалтерскими книгами — и его огорчало, что он не сможет подольше побыть с Чару.

— Сегодня столько дела, я не смогу долго сидеть, — сказал он.

— Тогда иди.

Бхупоти решил, что Чару обиделась.

— Нет, у меня еще есть немного времени, я пока отдохну, — сказал он и снова сел. Он заметил, что жена сегодня очень печальна. Ему было очень жаль Чару, но он никак не мог завязать разговор. Наконец, Бхупоти сказал:

— Омол завтра уезжает, некоторое время тебе будет очень одиноко.

Чару ничего не ответила и быстро выбежала из комнаты — как будто ей нужно было что-то принести. Бхупоти еще посидел немного и, не дождавшись Чару, ушел.

Чару заметила, взглянув сегодня на Омола, что он очень похудел за эти несколько дней, с лица его исчезла веселое выражение. Это ее и радовало и огорчало. Теперь она не сомневалась в том, что его печалит предстоящая разлука. Но почему он так себя ведет? Почему он держится так отчужденно и враждебно в эти последние дни.

Ворочаясь на постели, она вдруг вздрогнула, вспомнив о Монде. Может быть, он ее любит? Монда уехала, и поэтому Омол так себя... фу! Неужели Омол такой. Такой ничтожный и грязный? Любит замужнюю женщину? Нет, невозможно. Она пыталась отбросить подозрения, но они терзали ее все с большей силой.

Наконец, наступил момент прощания. Погода по-прежнему была плохой. Омол дрожащим голосом сказал:

— Ботхан, мне пора ехать. Ты теперь следи за дадой. У него сейчас очень трудное положение, и его некому успокоить, кроме тебя.

Омол заметил угнетенное и грустное лицо Бхупоти и сумел выяснить в чем дело и узнать о его затруднениях. Он молчал, думая о том, что Бхупоти сам, молча борется со своими несчастьями, ни у кого не прося помощи и сочувствия и не беспокоя в эту тяжелую минуту никого из своих родственников, которым он столько помогал.

Мысли о своем отношении к Чару заставляли его краснеть до кончиков ушей. «Пусть провалятся все эти луны в месяце ашаре и погаснет свет молодого месяца, но я стану адвокатом, и если смогу тогда помочь даде, то, значит, я мужчина».

Всю ночь Чару не спала и думала о том, что она скажет Омолу напоследок. Она будет гордо улыбаться и говорить с веселым безразличием. Она всячески мысленно отшлифовывала эти прощальные слова. Но в последний момент Чару смогла только сказать:

— Будешь писать, Омол?

Омол поклонился до земли, а Чару убежала в спальню и заперла дверь.

XIII

Бхупоти ездил в Бурдван, был на свадьбе Омола, проводил его за границу и вернулся домой.

Доверчивому Бхупоти пришлось за последнее время испытать столько ударов, что он проникся каким-то безразличием к событиям внешнего мира. Всякого рода собрания и заседания внушали ему теперь отвращение.

«Сколько времени я обманывал себя всем этим, — думал он, — лучшие дни жизни прошли впустую, я их бесполезно растрачивал. Хорошо, что газета прекратила свое существование. Я по крайней мере стал свободен».

Как птица в сумерки возвращается к своему гнезду, так и Бхупоти, оставив свою многолетнюю деятельность, пришел на женскую половину к Чару. Он твердо сказал себе:

«Баста. Теперь я больше никуда не пойду. Мое место здесь. Бумажный корабль, на котором я плыл столько времени, пошел ко дну, теперь я буду отдавать все свое время семье».

Очевидно, у Бхупоти было общепринятое представление о том, что права на жену даются сами собой, и она светит, как Полярная звезда, — ее не гасит ни ветер, ни недостаток масла. Ему и в голову не приходила мысль о том, нужно ли проверять во время внешних бурь — крепко ли держатся устои внутренних покоев, или дали трещину.

Итак, Бхупоти вечером вернулся из Бурдвана, быстро умылся и рано сел ужинать. Он не задерживался, так как был уверен, что Чару очень хочется поскорее узнать подробности свадьбы и отъезда Омола. Покушав, он пошел в спальню и докурил длинную трубку. Чару там не было, видимо она была занята домашними делами.

Накурившись, усталый Бхупоти уснул. Но через некоторое время очнулся от забытья — его волновала мысль о Чару. Наконец, он не выдержал и позвал ее.

— Ты что же сегодня так запоздала? — спросил Бхупоти.

— Да, я сегодня задержалась.

Бхупоти ждал, пока Чару станет его расспрашивать. Но никаких вопросов не последовало. Это огорчило Бхупоти. Разве Чару не любила Омола? Сколько времени она провела с Омолом, пока он был здесь, и, стоило ему уехать, как она сразу же о нем забыла! Такое странное

поведение вызвало в нем подозрение — возможно, Чару вообще не способна глубоко чувствовать, может только развлекаться, но не любить. Женщине не пристало быть такой сухой.

Бхупоти радовался дружбе Омола и Чару. Наблюдать ребяческие ссоры и переживания, игры и беседы этих двух молодых существ доставляло ему большое удовольствие. Заботы Чару об Омоле вызывали в нем чувство удовлетворения, он видел в этом доказательство нежности и доброты ее души. Сегодня, пораженный, он думал, что все это, вероятно, не шло из глубины сердца. А если это так, то где ему самому искать пристанища?

Немного подождав, Бхупоти сам завел разговор:

— Чару, у тебя все в порядке? Ты не больна?

Она коротко ответила:

— Здорова.

— Знаешь, свадьба Омола уже закончилась.

Бхупоти замолчал. Чару не могла выговорить ни одного подходящего к случаю слова; ее охватило какое-то отупение.

Бхупоти по своей природе никогда ни на что остро не реагировал, но его расстроил отъезд Омола, и ему было странно видеть, что Чару отнеслась к этому с полным равнодушием. Ему хотелось, чтобы она переживала отъезд Омола так же, как и он сам, и если бы они вместе поговорили на эту тему, то, вероятно, стало бы легче.

— А девушка, знаешь, такая красивая! Чару, ты спишь?

— Нет.

— Бедняга Омол уехал один. Когда его усаживали в поезд, он ревел, как ребенок; глядя на него, и я, несмотря на всю свою солидность, не мог удержаться от слез. В купе было двое англичан, их очень позабавили наши слезы.

Чару, которая уже улеглась в темной спальне, почему-то вскочила с постели. Встревоженный Бхупоти спросил:

— Тебе нездоровится?

Ответа не последовало. Бхупоти, услышав с балкона приглушенный плач, в испуге побежал к ней. Чару лежала ничком на полу и пыталась сдержать слезы. Такой взрыв горя озадачил Бхупоти.

«Да, плохо знал я свою Чару, — подумал он. — У нее такой замкнутый характер, что даже со мной она не станет делиться своими переживаниями. Такие люди и любят глубоко и страдают очень сильно».

Бхупоти понял, что Чару не способна, как обыкновенные женщины, на внешнее, показное проявление своего горя. Он сам никогда не был свидетелем взрыва ее чувств и только сегодня понял, что они скрываются в глубине ее сердца, понял, как глубоко и тонко может она переживать, и это открытие вызвало у него глубокую радость.

Он сел рядом с женой и, не говоря ни слова, нежно обнял ее. Как ее успокоить, он не знал. Он не понимал, что когда человек всеми силами борется со своим горем, то свидетель может быть неприятен.

XIV

Газеты больше не было, и Бхупоти стал задумываться над своим будущим. Он решил, что больше не будет обольщать себя несбыточными надеждами и тратить время на бесплодные усилия; теперь он целиком посвятит себя домашним делам, будет заниматься с Чару.

Самое большое счастье то, которое просто и красиво, которое легко взять. Оно всегда прекрасно и чисто. И только когда зажжешь его светильник в уединенном уголке жизни, в своей семье, только тогда можно обрести покой. Улыбка, веселый рассказ, все те мелочи, которые приносят друг другу удовольствие, — на них не нужно чрезмерных усилий, зато они приносят чудесную, бесконечную радость.

Однако со временем Бхупоти убедился, что обрести «простое» счастье не так-то легко. Если за него ничем не заплачено и оно не дается само собой, то его не обретешь.

Бхупоти никак не мог по-настоящему приблизиться к Чару. Он винил в этом самого себя — двенадцать лет провозился с газетой и утратил способность беседовать с женой. Вечером Бхупоти с радостью приходил к Чару, но дальше нескольких слов разговор не шел, и Бхупоти мучительно думал, о чем же ему говорить с женой. Ему становилось стыдно за себя перед Чару. Беседовать с

женой, — какие пустяки, ведь это так легко. Но для глупца это, оказывается, трудно.

Он думал, что вечера с женой будут проходить в нежных беседах, шутках, забавах. На деле получилось совсем не так — после натянутого молчания он порывался уйти, но не мог — что бы тогда подумала Чару.

Он пытался найти выход в игре в карты.

— Сыграем, Чару.

— Хорошо,— без всякого воодушевления отвечала она, делала ошибки и быстро проигрывала. Такая игра, разумеется, не приносила никакого удовольствия.

Наконец, ему пришла в голову мысль снова вызвать Монду.

— Чару, не пригласить ли нам Монду, ты ведь совсем одна.

Чару вспыхнула:

— Нет, Монда мне не нужна.

Бхупоти рассмеялся. Он был доволен. Верная жена не терпит ни малейшего отклонения от добродетели.

А Чару, справившись с непроизвольным чувством отвращения, подумала о том, что, может быть, приезд Монды несколько развлечет Бхупоти. Чару было очень больно, что она не может дать мужу того счастья, которое он хотел бы от нее получить. Ей даже стало страшно, когда она увидела, что Бхупоти всеми силами хочет найти с ней счастье,— а у нее в душе нет ничего, кроме пустоты... Сколько времени все это будет продолжаться? Почему бы Бхупоти не обратить внимание на что-нибудь другое, на новую газету, например? До сих пор Чару никогда не приходилось ни развлекать мужа, ни заботиться о нем, он ничего от нее не требовал, не считал ее самым главным и нужным в своей жизни. А сейчас вдруг стал думать только о ней, как будто в жизни больше ничего и нет. Но Чару не знала, как сделать так, чтобы Бхупоти был доволен жизнью, да если бы и знала, то ей нелегко было бы ему помочь.

Если бы Бхупоти стал обращать свое внимание на жену постепенно, то, может быть, найти общий язык не было бы так трудно. Но как, испытав сама полный крах, могла она наполнить чашу нищего просителя?

— Знаешь, все же пригласи к нам Монду. Тебе будет немного веселее.

— Мне? Веселее? Совсем этого не нужно.

Бхупоти был очен огорчен. «Я, наверное, совсем сухой человек и не могу дать Чару счастье», — думал он.

Тогда он взялся за литературу. Друзья, заходившие к нему, дивились: Бхупоти читает Теннисона[1], Байрона, рассказы Бонкима[2], и отпускали по его адресу шуточки.

— Друзья, и бамбук цветет, только никому не известно, когда он зацветет,— отвечал им Бхупоти.

Однажды вечером Бхупоти пришел в спальню и долго мялся, потом сказал Чару:

— Почитать тебе?

— Читай.

— А что?

— Что хочешь.

Не видя особого энтузиазма со стороны Чару, Бхупоти несколько поник. Но потом набрался мужества и сказал:

— Я переведу тебе отрывок из Теннисона.

— Хорошо.

Но все было испорчено. От робости и нерешительности он плохо читал, неточно переводил. Пустой взгляд Чару говорил о том, что ее мысли заняты чем-то другим. Нет, стихами не заполнишь досуга этих вечерних часов. Сделав две-три неудачные попытки, Бхупоти отказался от мысли заниматься с женой литературой.

XV

Сильный удар в первый момент парализует чувствительность нервов, и человек не ощущает боли. В первые дни разлуки Чару не сознавала того, что Омола уже нет около нее. Но с течением времени она чувствовала все больше и больше пустоту, вызванную его отъездом. Это ужасное открытие сначала ошеломило ее. Ей показалось, что из тенистой рощи она перенеслась в пустыню и границы этой пустыни расширяются с каждым днем. Раньше она об этом и не подозревала.

По утрам у нее начинало болеть сердце — она вспоминала, что Омола больше нет. Приготовляя на балконе бетель, она, не переставая, думала о том, что Омол боль-

---

[1] Теннисон — английский поэт (1809—1892).

[2] Бонким, то есть Бонким Чондро Чоттопадхая.

ше не придет. Приготовив по рассеянности слишком много бетеля, она вздрагивала: для кого она это сделала,— ведь Омола нет. Она открывала кладовую и думала: зачем, ведь кормить больше некого. Крайние комнаты женской половины напоминали ей о том, что Омол больше не вернется сюда из колледжа. Ей незачем было ждать новой книги, стихотворения, шутки. Не для кого было больше шить, писать, покупать хорошие вещи.

Чару сама не могла понять, почему она так страдает. Ее пугала эта непрестанная, невыносимая боль в сердце. «Отчего я так мучаюсь? — думала она.— Кем мне был Омол, почему его отсутствие причиняет такую боль? Что со мной творится, ведь уже прошло столько времени? Все люди — слуги, носильщики на улице — спокойны, а я?.. О боги, за что я обречена на такие муки?»

Но страдания не проходили — воспоминания об Омоле не оставляли ее. От Бхупоти не было помощи,— этот добрый глупец сам жалел об отъезде Омола и только растравлял ей рану.

Чару пришлось признать свое поражение. Она устала бороться с собой, и воспоминание об Омоле окончательно завладели ею. В конце концов они сделались предметом ее тайной гордости, они стали самым прекрасным, что было в ее жизни.

Когда у нее не было домашних дел, она запиралась в спальне и вспоминала мельчайшие детали своих встреч с Омолом. Зарывшись лицом в подушку, она твердила в изнеможении: «Омол, Омол, Омол!» Ей казалось, что из-за океана до нее доносилось: «Ботхан, что, ботхан?»

Чару закрывала мокрые от слез глаза и отвечала:

— Омол, почему ты рассердился и уехал. Я ведь ни в чем не виновата. Если бы ты по-хорошему со мной простился, я бы, вероятно, так не мучилась.

Чару разговоривала с ним так, как будто бы он стоял перед ней:

— Омол, я никогда тебя не забуду, ни на день, ни на минуту. Ты лучшее, что у меня есть в жизни, я всегда буду тебя боготворить.

В глубине своих повседневных дел Чару выкопала темную пещеру, где построила храм своего безысходного горя, украсив его слезами. В этом храме никто не имел никаких прав, даже муж. Это было для нее самое тайное,

самое желанное место в мире. Она оставляла у входа все условности, входила туда с обнаженной душой, а выходя наружу, вновь надевала маску и шла на арену жизни. Там все шло своим чередом, люди по-прежнему веселились, занимались своими делами.

XVI

Чару перестала бороться с собой, и ее охватило чувство невыразимой печали и полного успокоения. Теперь она всецело отдалась заботам о муже.

Ночью, когда он спал, она, охваченная чувством поклонения, иногда даже прижималась головой к его ногам.

Она не оставляла невыполненным ни одного желания мужа, тщательно следила за домом. Зная, как огорчало Бхупоти малейшее невнимание к людям, о которых он заботился и которым покровительствовал, Чару всячески старалась сделать так, чтобы его гости и подопечные остались довольны.

Вечером она кормила мужа и только после этого ела сама, затем шла отдыхать.

Ласка и забота вернули потерпевшему неудачу Бхупоти молодость. Казалось, он только сейчас женился, сейчас, спустя столько времени...

Настроение и внешний вид его резко изменились. Он весь расцвел, а все житейские невзгоды отодвинулись куда-то далеко. Как выздоравливающий после долгой болезни постепенно ощущает в себе прилив новых сил, так и в душе Бхупоти, наконец, открылись неиссякаемые родники чувств.

Теперь, прячась не только от друзей, но даже и от Чару, он читал один стихи. Только теперь, потеряв газету и испытав много горя, он открыл для себя свою жену.

— Чару, почему ты совсем забросила свои литературные занятия? — спросил он однажды у нее.

— Кому они нужны...

— Кроме шуток, я не вижу среди современных бенгальских писателей никого, кто бы мог сравниться с тобой. Я полностью согласен с той статьей в «Бишшобондху».

— Ах, оставь.

— Посмотри же сама,— сказал Бхупоти и, вытащив экземпляр «Шорорухо», стал сопоставлять язык Омола и Чару. Кровь прилила к лицу Чару, она вырвала журнал и спрятала его в своем сари.

Бхупоти решил, что Чару не вернется к творчеству, пока у нее не будет товарища по литературному труду; «Отлично,— думал он,— значит — мне нужно тренироваться в этом деле до тех пор, пока я не смогу сам вдохновлять Чару».

Он теперь не работал и проводил дни, непрестанно листая словарь, исправляя и переписывая свои сочинения. Он так старался и затрачивал столько сил, что даже сам почувствовал какое-то влечение к подобного рода работе и доверие к своим способностям.

Наконец, заставив своего знакомого переписать его работу, он показал ее жене.

— Один из моих друзей,— сказал он,— взялся за литературный труд. Я в этом ничего не смыслю, возьми посмотри. Интересно, понравится тебе или нет.

Со страхом вручив Чару тетрадь, Бхупоти ушел. Но Чару, разумеется, разгадала уловку своего бесхитростного мужа.

Она прочла то, что было написано в тетради, обратила внимание на содержание и манеру изложения. Увы! Чару так старалась почитать своего мужа, а он совершает ребяческие поступки и тем самым отклоняет ее жертву. Зачем он так стремится заслужить ее похвалу? Если бы он ничего для нее не делал, не старался всеми силами вызвать ее расположение, ей было бы легче служить ему. Чару больше всего хотелось, чтобы он ни в чем не оказался ниже ее.

Она закрыла тетрадь, облокотилась на подушку и долго смотрела вдаль, вспоминая о том, как Омол всегда приносил ей свои новые сочинения.

Вечером Бхупоти, изнывая от нетерпения, поливал цветы на балконе около спальни, не осмеливаясь спросить жену о том, как ей понравилось сочинение его «друга».

Чару начала сама:

— Это первые сочинения твоего знакомого?

— Да.

— Очень хорошо написано, даже не верится, что это первая работа.

Довольный Бхупоти стал теперь думать над тем, как ему открыть имя истинного автора.

Тетрадь его начала заполняться с ужасающей быстротой. И он не замедлил открыть свое инкогнито.

XVII

Чару постоянно держала в памяти дни, когда обычно приходят письма из-за границы. Первое письмо на имя Бхупоти пришло из Адена. В нем Омол посылал ей привет. Такие же приветы были переданы и в письмах, посланных из Суэца и с Мальты.

Сколько Чару ни перечитывала письма Омола к Бхупоти, кроме привета, там не было ни слова о ней.

Самой же Чару Омол не прислал ни одного письма. Невнимание Омола уничтожило тот навес мирной печали, под которым Чару пыталась укрыться. Опять сердце, казалось, готово было разорваться от боли.

И во всем уже налаженном домашнем хозяйстве началось землетрясение.

Проснувшись однажды среди ночи, Бхупоти обнаружил, что Чару нет в постели. Он нашел ее в одной из комнат на южной стороне у окна. Увидев мужа, она вскочила и торопливо проговорила:

— В комнате очень душно, я пошла подышать воздухом.

Встревоженный Бхупоти, боясь, как бы Чару не заболела, приспособил у постели вентилятор.

— Да я прекрасно себя чувствую, зачем ты зря беспокоишься,— смеясь, говорила Чару.

Но, чтобы так смеяться, ей нужно было напрягать все свои душевные силы.

Наконец, Омол приехал в Англию. Чару решила, что если у него не было возможности послать ей в дороге отдельное письмо, то, прибыв на место, он непременно напишет ей. Но время шло, а письма все не было.

В день прихода почты Чару, каким бы делом или разговором ни занималась, думала только об одном. Но она боялась спрашивать у Бхупоти — он мог ответить: «Тебе писем нет».

Но однажды, в тот день, когда доставляют письма, Бхупоти медленно вошел в комнату и, улыбаясь, сказал:

— А у меня кое-что есть. Хочешь посмотреть?

Чару взволнованно ответила:

— Конечно, ну, покажи же.

Бхупоти в шутку отказался. Чару пыталась рассмотреть, что он прячет, но ей это не удавалось.

Бхупоти дразнил ее все больше и больше, он вертел пакет у нее перед лицом, и она никак не могла его схватить.

Наконец, Чару всерьез обиделась, села на кушетку и заплакала.

Бхупоти был очень доволен, видя такое нетерпение Чару. Он достал тетрадку со своими сочинениями, положил ее Чару на колени и сказал:

— На, возьми — и не сердись на меня.

XVIII

Хотя Омол и сообщил, что он очень занят учебой и не сможет поэтому часто писать, все же, когда в день доставки почты от него не было письма, словно тысячи игл вонзались в сердце Чару.

Вечером среди разговора Чару с видимым безразличием, спокойным голосом сказала мужу:

— Надо бы послать в Англию телеграмму, узнать что с Омолом, как его здоровье.

— Да ведь от него было письмо две недели назад, он сейчас, наверное, по горло занят учебой.

— А, ну тогда не нужно. Я подумала, что он там, за границей, вдруг заболел...

— Да нет, если б он заболел, то сообщил бы. А телеграмма стоит недешево.

— Разве? Я думала одну-две рупии.

— Да нет же, примерно около ста рупий.

— Ну тогда, конечно, не стоит ее посылать.

Дня через два Чару сказала Бхупоти:

— У моей сестры должен родиться ребенок, ты бы проведал ее.

— А что с ней, она заболела?

— Да нет, но если б ты их навестил, они были бы очень рады.

Бхупоти сел в экипаж и поехал в сторону Хоры. По пути он застрял — множество телег преградило дорогу.

В это время знакомый телеграфист вручил ему телеграмму. Бхупоти испугался, увидев, что она из Англии. Он подумал, что Омол заболел. Но телеграмма гласила: здоров.

Что это значит? Посмотрев внимательнее, Бхупоти увидел, что телеграмма в Англию была послана с оплаченным ответом.

Он не поехал в Ховру и вернулся домой. Чару побледнела как полотно, увидев в руках мужа телеграмму.

— Я ничего не понимаю,— сказал Бхупоти.

В конце концов Чару рассказала ему, что заложила свои драгоценности, получила деньги и отправила телеграмму.

«Но зачем нужно было это делать? — подумал Бхупоти». Если б она меня попросила как следует, я отправил бы телеграмму, а тайком, через слуг, закладывать украшения — нет, это никуда не годится».

Постепенно в душу Бхупоти стал закрадываться вопрос — почему Чару так волновалась? Неясные подозрения мучили его все больше и больше. Он не хотел о них думать, гнал эти мысли прочь, но боль в сердце не проходила.

XIX

Омол здоров и ничего о себе не сообщает. За что такое жестокое пренебрежение? Чару мучительно хотелось задать Омолу этот единственный вопрос, но между ними лежал океан, и не было никакой возможности его пересечь.

Какая жестокая, какая непоправимая разлука! Она не дает ни малейшей возможности что-либо исправить.

Чару потеряла всякую власть над собой. Хозяйство она забросила, слуги в доме стали воровать. Люди заметили ее несчастный вид и начали сплетничать по ее адресу, но она ничего не замечала.

В конце концов она дошла до такого состояния, что вздрагивала без всякой причины, среди разговора вдруг начинала плакать и уходила, бледнела при одном упоминании имени Омола.

Бхупоти, наконец, все понял и задумался о том, о чем никогда раньше не думал,— мир стал для него старым, бесчувственным и изношенным. Ему было стыдно вспо-

минать о том времени, когда он был ослеплен ложной радостью. «Глупая обезьяна, которая не может отличить бриллианта от искусственного камня, — думал он, — только она могла так ошибиться».

Вспомнив заботливые слова Чару, он остро ощутил их фальшь и, повторяя про себя: «Дурак, дурак, дурак!», бил себя тростью. Однажды он вспомнил про свои сочинения, которые дались ему с таким трудом. Как будто земля разверзлась у него под ногами! Как слон, подгоняемый железной палкой, он ринулся к Чару.

— Где моя тетрадь?

— У меня,— ответила Чару.

— Дай ее мне.

Чару пекла ему в это время пирог с яйцом.

— Тебе она сейчас нужна?

— Да, сейчас.

Чару отставила сковородку и вытащила тетрадь из шкафа. Бхупоти вырвал ее из рук Чару и швырнул в печку.

Озадаченная Чару попыталась вытащить ее из огня.

— Что ты делаешь? — спросила она Бхупоти. Но он схватил ее за руку и прорычал:

— Оставь!

Чару остановилась в изумлении. Тетрадь быстро превратилась в пепел.

Тогда она поняла в чем дело и, глубоко вздохнув, медленно вышла из комнаты. Пирог так и остался недопеченным.

Бхупоти не собирался уничтожать тетрадь на глазах Чару. Но тот момент, когда он увидел огонь, кровь бросилась ему в голову, он не мог с собой совладать и предал огню все эти потуги обманутого глупца на глазах у обманщицы.

Когда бумаги сгорели, Бхупоти несколько успокоился. Он вспомнил, как Чару, неся в себе бремя своей вины, в глубокой печали, потупив глаза, ушла из комнаты. Она сама заботливо готовила ему еду — значит, она по-своему его все-таки любила.

Бхупоти прислонился к перилам балкона. «Разве может быть что-либо грустнее в мире,— думал он,— чем все эти постоянные заботы Чару о нем, чем все ее отчаянные попытки скрыть свое состояние. Это не были ухищрения обманщицы. Все эти уловки лишь заставляли еще

сильнее болеть раненую душу и капля за каплей выжимали кровь из ее сердца. Бедная, слабая женщина! Зачем ты все это делала? Мне это не было нужно. Столько времени я жил без любви и все-таки не мог обойтись без нее. В жизни я только правил корректуры и писал статьи. Не нужно было всего этого делать для меня».

Бхупоти постарался вырвать Чару из своей жизни и посмотреть на нее со стороны, как доктор смотрит на опасного больного. Могущественный мир со всех сторон сдавил сердце этой слабой женщины; не было человека, которому она могла бы все рассказать, не было слов, которые она могла бы произнести, не было места, где ее душа могла бы обойтись без маски и кричать от боли во весь голос — ей приходилось нести бремя базысходного, неизлечимого, не отпускающего ни на мгновение горя и каждый день, как обыкновенной женщине, любой ее соседке, выполнять работу по дому.

Бхупоти прошел в спальню. Чару сидела у окна и пристально смотрела на улицу. Он медленно подошел к ней, ничего не сказал и только положил руку ей на голову.

XX

Друзья спрашивали Бхупоти:

— Что случилось? Чем ты так озабочен?

— Да вот, газета...

— Опять газета? Разве тебе необходимо топить в Ганге свою землю и поместье, завернув их в газету?

— Да нет же, я сам больше не буду издавать газету.

— А что же ты будешь делать?

— Буду редактировать газету, которая станет выходить в Майсоре.

— Оставишь дом и уедешь в Майсор?

— Да.

— А Чару едет с тобой?

— Нет, здесь с ней останутся родственники.

— Так тебя не оставила страсть к редактированию?

— Человеку при всех обстоятельствах нужно иметь какую-то страсть.

Когда они расставались, Чару спросила:

— Когда вернешься?

— Если тебе будет одиноко, напиши, я приеду.

Бхупоти попрощался и уже подошел к двери, когда Чару подбежала к нему и, схватив за руку, воскликнула:

— Возьми меня с собой! Не оставляй меня здесь!

Удивленный Бхупоти посмотрел ей в лицо. Рука Чару разжалась. Он оставил ее и вышел на балкон. Он понял, что, подобно раненному стрелой оленю, она хочет бежать из дома, где все ей так живо напоминает об Омоле. «Но она совсем обо мне забыла,— подумал он.— Куда я могу убежать? Разве женщина, непрестанно думающая о другом, сможет позабыть его на чужбине? Там не будет ни друзей, ни знакомых, и каждый день придется проводить время только с ней. Какими ужасными будут вечера, когда придешь усталый с работы, а тебя будет ждать молчаливая, погруженная в свое горе женщина? Сколько времени я смогу прижимать к своей груди человека, у которого в сердце такой мертвый груз. И сколько еще лет мне придется так прожить? Я не смогу выбросить кирпичи и балки рухнувшего дома, мне придется тащить их на себе».

Бхупоти вернулся к Чару.

— Нет, я не могу этого сделать.

Она внезапно стала бледна как бумага и изо всех сил вцепилась руками в кушетку.

— Ладно, Чару, поедем вместе, — сказал Бхупоти.

— Не надо,— ответила она.

1901



Гирлянда любви

Утром было прохладно, но в полдень с юга подул теплый ветер.

Сидя на веранде, Джотин любовался природой. Сквозь деревья сада виднелось поле, залитое щедрыми лучами весеннего солнца. Поле пересекала проселочная дорога, по которой к деревне медленно двигалась какая-то повозка. Возчик обмотал голову полотенцем и лениво тянул песню.

Джотин задумался. Неожиданно сзади раздался веселый женский голос:

— Ты что, Джотин, наверное, вспоминаешь друзей, с которыми встречался в одном из своих прежних рождений?

— Почему ты так говоришь, Потол? Разве я такой несчастный, что мне больше не о ком думать?

— Нечего притворяться! — воскликнула женщина.— Я знаю все, что с тобой случилось в жизни. Как не стыдно, вырос такой большой, а до сих пор так и не привел в дом хоть самую захудалую невесту. Даже у нашего садовника есть жена — он с ней ссорится дважды в день, и вся деревня знает о том, что он женат. А ты глядишь на поле и притворяешься, что мечтаешь о ком-то. Меня не обманешь — мне знакомы твои уловки. Наш садовник ведь никогда не глядит так в поле, прикидываясь, что скучает о ком-то в одиночестве. Во время самой настоящей разлуки он не расставался с серпом, и он вовсе не смотрит так мрачно на мир. И ты, мой дорогой, сейчас видел перед своим умственным взором совсем не лицо невесты. Я-то

ведь знаю — все твое время проходило в работе над трупами в анатомическом театре и зубрежке учебников. Так что нечего смотреть таким рассеянным взором на полуденное небо. Мне не нравятся твои бесполезные трюки, они приводят меня в бешенство.

Джотин сложил умоляюще руки:

— Хватит, хватит, достаточно! Не стыди меня больше!

— Спасибо вашему садовнику. Я постараюсь последовать его примеру. Завтра утром я повешу гирлянду на шею первой девушке, которую встречу, пусть даже это будет лесная девушка. Больше уж я не буду тебе возражать.

— Слово?

— Слово!

— Ну, тогда пойдем.

— Куда?

— Идем же, я тебе говорю.

— Нет, нет, какая это еще коварная мысль вселилась тебе в голову. Я сейчас никуда не пойду.

— Ладно уж, сиди здесь. — И Потол быстро вышла из комнаты.

Но сначала нужно кое-что рассказать читателю.

Джотин и Потол почти ровесники. Потол старше Джотина всего лишь на день, поэтому Джотин отказывался проявлять по отношению к ней какую-либо особую почтительность. В общем, они приходились друг другу кузеном и кузиной. В детстве они часто вместе играли. Потол тщетно жаловалась отцу и дяде, что Джотин не называет ее «диди», но никакие наказания не действовали — он упорно продолжал ее звать Потол.

Потол даже бранилась весело. Никто в семье не мог остановить поток ее остроумных насмешек. Ее не останавливало даже присутствие свекрови. На первых порах это служило причиной длинных разговоров, но постепенно все признали себя побежденными — такой уж у нее характер. Ударами неистощимого веселья Потол сокрушала даже невозмутимость учителя — она не терпела вокруг себя ни одного серьезного, хмурого или надменного лица,— ее шутки, смех, забавные рассказы, казалось, насыщали воздух каким-то электричеством.

Муж Потол, Хоркумар-бабу, был помощником мирового судьи; он недавно оставил место в Бихаре и перешел на работу в Калькутту в акционерное управление.

Боясь чумы, он нанял дом с садом в Бали, пригороде Калькутты, и ездил оттуда на службу. Ему часто приходилось бывать по делам в провинции, и поэтому он собрался уже было выписать из деревни мать и еще нескольких родственников, как вдруг жена пригласила погостить на несколько недель Джотина, только что окончившего медицинский колледж и еще не имевшего ни врачебной практики, ни репутации.

Очутившись после калькуттских улиц в доме, где было столько зелени, Джотин весь первый день сидел на уединенной веранде, предаваясь приятному созерцанию, к которому особенно располагало полуденное солнце месяца фальгуна. Именно в это время на него напала Потол, о чем мы уже рассказывали выше. Когда она ушла, он устроился еще поудобнее и стал перебирать в уме сказки о лесных девушках, которые он слыхал в детстве.

Джотин вздрогнул, неожиданно услышав снова веселый голос Потол. Она вошла, ведя за руку какую-то девушку. Подведя ее к Джотину, Потол сказала:

— Вот тебе лесная девушка!

— Что, диди? — спросила девушка.

— Курани, посмотри на моего брата, каков он из себя, ничего?

Девушка без всякого стеснения начала рассматривать Джотина.

— Ну как, нравится? — спросила Потол.

С самым серьезным видом Курани утвердительно кивнула головой — нравится. Джотин покраснел и вскочил с кресла:

— Фу, Потол, что за детство.

— А ты поступаешь, как взрослый человек! Ты ведь уже не молокосос, а не женат.

Джотин пытался убежать, но Потол преследовала его по пятам:

— Не бойся же, Джотин, не бойся — тебе не придется сейчас же дарить гирлянду — сейчас неблагоприятные для свадьбы месяцы, у тебя еще есть время.

Худенькая девушка, которую Потол назвала Курани, стояла в оцепенении. Ей вот-вот должно было исполниться шестнадцать; ее нельзя было назвать красивой, но лицом она, казалось, напоминала молодого олененка. Грубияны назвали бы ее глупенькой, но это было не

природное отсутствие ума, а просто известная неразвитость, которая не портила ее красоты, а лишь придавала ей некоторое своеобразие.

Утром Хоркумар-бабу вернулся из Калькутты и, увидев Джотина, сказал:

— А Джотин, ты приехал, очень хорошо. Тебе нужно немного попрактиковаться. Ты знаешь, когда мы еще жили на западе, то однажды во время голода взяли к себе на воспитание девочку. Потол зовет ее Курани. Кто-то сказал, что ее родители и она лежат недалеко от нашего бунгало. Когда мы подошли к ним, взрослые были уже мертвы; но девочка еще дышала. Потол приложила много трудов, чтобы ее спасти. Никто не знает, какой она касты, и если поднимается этот вопрос, то Потол обычно отвечает:

— Она — дважды рожденная, умерев однажды, она снова воскресла в нашем доме, и таким образом ее прежняя каста исчезла.

Сначала девочка звала мою жену «мама», но Потол ее ругала. «Нечего называть меня матерью, я твоя диди»

«Если такая большая девочка будет меня звать мама, — говорила мне Потол, — то, значит, я старуха». Не знаю, виновата ли тут голодовка, или еще что-нибудь, но у девушки временами бывают острые колики. Тебе нужно как следует заняться ею. Эй, Тулси, позови сюда Курани.

В это время Курани заплетала волосы, она прибежала к Хоркумару с болтающейся сзади косой и вопросительно посмотрела на нас своими нежными оленьими глазами.

Увидев, что Джотин колеблется, Хоркумар-бабу прибавил:

— Ты зря стесняешься, Джотин. По виду она совсем взрослая, но представь себе зеленый кокос: внутри у него одна вода вместо сока и мякоть еще совсем незрелая. Она еще ничего не понимает, и, пожалуйста, не принимай ее за женщину — это дикий олень.

Джотин приступил к исполнению своих обязанностей врача, но не нашел в ней ничего болезненного.

— Она совершенно здорова, — констатировал он.

В комнату неожиданно вошла Потол.

— Ты, наверное, хочешь проверить, в порядке ли у нее сердце, — сказала она и, поцеловав девушку, добавила, обращаясь к Курани: — Тебе нравится мой братик?

Девушка кивнула головой: «Да».

— Ты выйдешь за него замуж?

Курани вновь утвердительно наклонила голову. Потол и Хоркумар-бабу одновременно расхохотались. Курани, не понимая, в чем смысл шутки, засмеялась вслед за ними.

Джотин покраснел и разволновался:

— Ну, Потол, ты позволяешь себе слишком много, ты нехорошо себя ведешь. Хоркумар-бабу, вы даете своей жене слишком много воли.

Хоркумар-бабу ответил:

— Тогда бы я не имел никакой надежды на то, что она простит мне мои слабости. Но, Джотин, ты совсем не знаешь Курани и поэтому так волнуешься. Так ты, пожалуй, действительно научишь ее чувству стыда. Как ни старайся, ты все равно не сможешь заставить ее съесть плод с древа знания. Все привыкли над ней подшучивать. И если ты, наоборот, будешь держать себя слишком серьезно, то она будет чувствовать себя не в своей тарелке.

— Вот поэтому у меня с Джотином никогда не было согласия, с детства мы только ссоримся — он слишком серьезен, — добавила Потол.

Хоркумар-бабу возразил:

— Ссориться таким образом, наверное, вошло у тебя в привычку?

— Вот и неправду ты говоришь. С тобой ругаться мне неприятно, я и не пытаюсь.

— Я с самого начала признаю себя побежденным.

— Ты многое этим достигаешь. Если бы ты сдался не сразу, то мне бы это доставляло большое удовольствие.

Ночью Джотин открыл в спальне окна — было душно. Он долго не мог уснуть и думал. Какая страшная тень должна была лечь на душу девочки, родители которой умерли у нее на глазах от голода. Как она должна была повзрослеть в эти страшные дни. Разве можно было над ней подшучивать? Всевышний ее пожалел, закрыл покрывалом ее разум. Не дай бог ему подняться — какую жестокую игру судьбы ей придется тогда увидеть!

Сегодня днем Джотин смотрел на ясное весеннее небо, видневшееся сквозь просветы деревьев; все кругом было пропитано нежным ароматом побегов кокосовой

пальмы, и вся вселенная в его душе была окутана туманом этой красоты. Но эта недалекая девушка с оленьими глазами разогнала туман. За поднятым занавесом, за шелестами, шорохами, щебетанием птиц показался огромный реальный мир, изможденный, голодный, измученный жаждой.

На следующий день вечером у Курани был приступ болезни. Потол немедленно вызвала Джотина. Тело девушки онемело, от боли ее свела судорога. Джотин послал за лекарствами и распорядился сейчас же приготовить грелку.

Потол и тут не переставала язвить:

— Ты стал таким важным доктором, а не догадался натереть ей ноги горячим маслом. Не видишь, ступни совсем холодные.

Джотин поспешно стал втирать масло и массировать ноги Курани. Лечение затянулось до самой ночи. Вернувшийся со службы Хоркумар все время справлялся о здоровье девушки. Джотин понял, что отсутствие жены выбило Хоркумара из привычной колеи, — вряд ли иначе он столько бы спрашивал о здоровье больной.

— Иди, Хоркумар волнуется, — сказал он Потол.

— Чего ты вмешиваешься в чужие дела, — возразила Потол. — Не думай, мне совершенно ясно, кто на самом деле волнуется. Тебе только и нужно, чтобы я ушла. Хоть бы иногда ты чувствовал стыд или уж покраснел бы. Кто бы подумал, что у тебя в душе может быть такое.

— Ладно, дело, конечно, твое; только тогда оставайся здесь. Запомни, единственно, что мне нужно,— не слышать тебя. Я, разумеется, ошибся. Хоркумар-бабу, вероятно, наслаждается покоем в одиночестве — такая удача не часто выпадает на его долю.

Когда Курани стало легче и она открыла глаза, Потол сказала:

— Жених твой все время растирал тебе ноги, чтобы ты пришла в себя, наверное поэтому ты столько времени не открывала глаза. Ай-яй-яй! Возьми прах от его ног.

Курани послушно склонилась к ногам Джотина. Тот поспешно выбежал из комнаты.

Назавтра началась систематическая осада Джотина. Когда он кушал, Курани подошла и непринужденно стала отгонять от него мух веером. Чувствуя себя неловко, Джотин сказал:

— Оставь, оставь, не надо.

Запрещение привело Курани в недоумение, она обернулась и, бросив взгляд в сторону двери, ведущей в соседнюю комнату, снова начала махать веером. Джотин в сердцах воскликнул, обращаясь к невидимому собеседнику в соседней комнате:

— Потол, если ты не прекратишь злить меня, я больше ничего не стану есть и сейчас же уйду из-за стола.

Но как только он стал приводить свою угрозу в исполнение, Курани бросила веер. Джотин увидел на неосмысленном лице девушки гримасу страдания, пожалел ее и снова сел на стул. Джотин уже было поверил в то, что девушка ничего не понимает, ничего не чувствует, не может страдать и переживать, и поэтому сегодня удивленно заметил, что такое представление о Курани уже не соответствует действительности. Но никто не мог сказать, когда именно это произошло. Во всяком случае, Курани оставила веер и вышла из комнаты.

На следующий день с утра Джотин расположился на веранде. Закуковал кокиль, спрятанный в листве деревьев, воздух был напоен густым ароматом распускающихся деревьев... Неожиданно он заметил Курани, стоявшую в нерешительности с чашкой чаю. В оленьих глазах был какой-то робкий страх, она не знала, что ей делать, — боялась, что Джотин рассердится за то, что она принесла ему чай. Джотину стало ее жаль, он сам подошел и взял чашку. Как легко можно обидеть по самому пустяковому поводу эту молоденькую газель. Но когда Джотин брал чашку, он увидел в противоположном углу веранды неожиданно появившуюся Потол. Она беззвучно засмеялась и погрозила Джотину кулаком, словно говоря: «Ага, попался!»

Вечером того же дня Джотин читал медицинский журнал. Неожиданно он явственно ощутил аромат цветов и тревожно посмотрел на Курани, вошедшую в комнату с гирляндой, сплетенной из цветов бокула.

«Дело зашло слишком далеко,— подумал он, — больше не следует потакать жестоким шуткам Потол».

— Курани, — сказал он,— разве ты не видишь, что диди смеется над тобой?

Джотин еще не успел закончить фразы, как Курани, испуганная и смущенная, повернулась, чтобы выйти из комнаты. Джотин позвал ее.

— Курани, покажи гирлянду.

На лице девушки отразилась радость, а из соседней комнаты донесся громкий смех.

Наутро Потол снова зашла к Джотину, чтобы посмеяться, но комната была пуста. На листке бумаги было написано: «Сбежал, Джотин».

— О Курани, твой жених убежал. И ты не смогла его удержать, — сказала она девушке, потрепала ее за косу и занялась домашними делами.

Курани постепенно поняла в чем дело. Она постояла на месте, пристально глядя куда-то вперед, потом медленно вошла в комнату Джотина и увидела, что она пуста. Ее вчерашний подарок — гирлянда — лежал на столе.

Прекрасна свежая прохлада весеннего утра. Лучи солнца, смешавшись с тенью, пробились сквозь цветущие деревья на веранду. Задрав хвост кверху, прибежала белка. Разноголосым хором пели птицы и, казалось, никак не могли выговорить всего того, что хотели. В этом голосе мира, среди тени густой листвы и солнечного света, душа переполнялась радостью, все казалось сложной загадкой. Как и почему случилось то, что утро, дом, все вокруг стало таким пустым для той, которая так мало ориентировалась в окружающем ее мире? Кто бросил ее в пропасть неведомого тяжелого страдания и не дал ей ни малейшей возможности понять, что с ней происходило? Кто сможет теперь вернуть ее в мир беззаботной радости, мир бессознательной жизни птиц и животных?

Покончив с домашними делами, Потол отправилась на розыски Курани и нашла ее в опустевшей комнате Джотина. Она лежала на полу, обхватив ножки кровати,— будто припала к стопам пустой постели.

Сосуд с нектаром, скопившимся в ее душе, перевернулся, и нектар зря лился в пустоту. Эта женщина с распущенными волосами, застывшая в отчаянии на полу, казалось — взывала в молчании: «Возьми, о возьми меня!»

Изумленная Потол спросила:

— Что с тобой, Курани?

Курани ничего не ответила и даже не пошевелилась. Когда Потол нагнулась к ней, она услышала рыдания.

«Идиотка, что я наделала, сгубила человека»,— сказала себе Потол и побежала к мужу. Рассказав ему о несчастье с Курани, она добавила:

— И ты хорош, почему ты меня не удержал.

— Я не привык к такому занятию. Неизвестно, что еще тогда получилось бы.

— И это называется муж. Ты разве не можешь удержать меня от неправильных поступков. И зачем только ты позволил мне играть в эту игру.

Потол выбежала из комнаты, бросилась к лежавшей на полу Курани и порывисто ее обняла, приговаривая:

— Моя милая сестричка, что с тобой, ну, расскажи же!

Увы, разве Курани могла сказать про непередаваемую словами тайну, которая была у нее на душе. Страшная боль сжимала ее сердце. Разве она знала, как люди ее называют, может ли кто-нибудь на свете ее испытать. Курани могла только плакать — больше ничем она не могла передать того, что творилось у нее на душе.

— Курани, у тебя очень плохая диди, но и она никогда не думала, что ты ей так веришь. Ей вообще никто никогда не верил. Зачем ты так ошибалась. Курани, ну повернись ко мне, взгляни мне в лицо. Прости меня, сестричка.

Но в душе Курани творилось что-то такое, что не позволяло ей смотреть на Потол. С еще большей силой она сжала ладонями свое лицо, сама толком не понимая в чем дело, она чувствовала смутную злобу против Потол Медленно разжав объятия, Потол встала, подошла к окну и, застыв, как изваяние, стала смотреть на пышную листву деревьев, освещенных весенним солнцем. По щекам ее бежали слезы.

На следующий день Курани исчезла. Потол любила убирать Курани, одевать на нее украшения. Сама она мало обращала на себя внимания, и всю свою страсть к нарядам она вкладывала в заботу о девушке. Сейчас все эти одежды и украшения валялись в беспорядке на полу в комнате Курани, все — даже ручные браслеты и украшения. Она как будто пыталась стереть с себя всякие следы забот Потол-диди.

Хоркумар обратился в полицию с просьбой помочь найти Курани. Но в то время столько людей, напуган-

ных эпидемией чумы, бродило по дорогам, что даже полиции было очень трудно опознать кого-нибудь среди всей этой толпы. Несколько людей было по ошибке задержано, и Хоркумару-бабу пришлось из-за этого пережить немало неприятностей и неловких минут. Наконец, они потеряли всякую надежду найти Курани. Она пришла неведомо откуда и так же незаметно исчезла неизвестно куда.

Джотин после долгих хлопот устроился врачом в больницу, где находились больные чумой. Однажды в полдень, вернувшись после завтрака в больницу, он узнал, что в женское отделение поступила новая больная. Полиция подобрала ее на дороге Джотин пошел ее осмотреть. Лицо больной было закрыто платком. Первым делом он пощупал пульс. Жар был небольшой, но женщина, видимо, очень ослабла. Он снял покрывало. Это была Курани. Джотин знал от Потол об ее исчезновении. Перед его взором в минуты досуга часто вставали эти нежные, как у лани, полные затаенного чувства глаза, излучавшие немую печаль.

А сегодня на нежный лоб девушки, казалось, падала какая-то тень. При виде этого сердце Джотина сжалось. Как мог всевышний, создав эту нежную, как цветок, девушку, бросить ее сперва умирающую от голода, а потом больную неизлечимой болезнью

Сейчас это хрупкое существо, истощенное болезнью, было перед ним. Как она перенесла все эти удары, обрушившиеся на нее за такое короткое время? Джотин, появившись неведомо откуда, вызвал в ее жизни еще один кризис.

Он подавил вздох. Но вместе с печалью он ощущал и какую-то радость. Любовь, которая так редко встречается в мире, любовь, о которой он и не думал, внезапно упала к его ногам, как распустившийся цветок, полный меда. Кто в мире имеет право владеть этим божественным даром, любовью, которая добирается до самых ворот смерти, чтобы упасть там без сознания.

Сидя около Курани, Джотин осторожно поил ее горячим молоком. Наконец, спустя долгое время, она вздохнула и открыла глаза. Ей казалось, что вид этого молодого человека напоминает ей о каком-то давно забытом сне. А когда он положил руку ей на лоб и тихо произнес: «Курани», завеса разорвалась — она вспомнила Джотина.

Прежнее очарование вновь возникло перед ее взором; ее глаза, как легкие тучки на небе, застлала пелена мягкости и нежности.

— Курани, допей молоко до конца,— заботливо сказал Джотин.

Курани слегка приподнялась, внимательно посмотрела на Джотина и стала пить молоко медленными глотками.

Врач не может долгое время находиться около одной и той же больной. Но когда Джотин встал, чтобы идти к другим больным, в глазах Курани отразились страх и отчаяние. Он взял ее за руку:

— Я сейчас вернусь, ты ничего не бойся.

На следующий день Джотин сообщил начальству больницы, что вновь прибывшая больная просто ослабла от голода и ей опасно находиться среди чумных. Он с трудом добился разрешения взять ее из больницы. В тот же вечер он перевез ее к себе домой и написал обо всем Потол.

Кроме врача и больной, в комнате никого больше не было. У изголовья Курани стояла керосиновая лампа, прикрытая красной бумагой, в мягком полумраке тикали стенные часы с маятником. Джотин положил руку на лоб Курани:

— Как ты себя чувствуешь?

Она ничего не ответила и только сильнее прижала его руку к своему лбу.

— Ну как, тебе лучше? — еще раз спросил Джотич.

— Да, — тихо произнесла, полузакрыв глаза, Курани.

— А что у тебя на шее, Курани?

Она торопливо натянула одеяло. Джотин успел увидеть засохшую гирлянду цветов. И сейчас же понял, что это была за гирлянда. Мерно тикали часы. Джотин задумался. Он понял, что Курани в первый раз пытается скрыть свои чувства. Когда она успела превратиться в настоящую женщину? Лучи света разогнали туман, окутавший ее рассудок и сердце, и внезапно научили ее испытывать стыд, страх и боль.

В третьем часу ночи задремавший на стуле Джотин вздрогнул — кто-то открывал дверь. В комнату вошли Потол и Хоркумар-бабу, неся большой саквояж.

— Мы получили твое письмо и уже легли спать, рассчитывая приехать завтра утром,— сказал Хоркумар.—

Но в полночь Потол заволновалась: а вдруг мы не застанем Курани в живых — нужно ехать сейчас же. Она ничего не хотела слышать, мы взяли экипаж и поехали сюда.

— Иди поспи на постели Джотина,— сказала Потол мужу.

Он не заставил себя долго уговаривать, прошел в комнату Джотина и быстро уснул.

Вернувшись, она подозвала кузена:

— Ну как, есть надежда?

Он подошел к Курани, пощупал пульс и отрицательно покачал головой:

— Нет!

— Джотин, скажи правду: ты ее любишь? — спросила она.

Он ничего не ответил, сел рядом с Курани, взял ее за руку и наклонился:

— Курани, Курани!

Она открыла глаза и улыбнулась спокойно и радостно:

— Что, дада-бабу?

— Курани, надень мне на шею твою гирлянду.

Она смотрела на него непонимающими глазами.

— Ты разве не дашь мне твою гирлянду? — спросил Джотин.

Ласковая просьба Джотина пробудила в ней прежнюю обиду.

— Зачем, дада-бабу? — спросила она.

Он взял ее голову обеими руками:

— Я люблю тебя, Курани.

На какой-то момент она как бы оцепенела. Потом из ее глаз градом полились слезы. Джотин стал на колени, склонился к постели и положил ей на руки свою голову. Тогда Курани сняла гирлянду и одела ее на шею Джотину.

Потол подошла к постели больной. .

— Курани,— позвала она.

Исхудавшее лицо девушки залилось краской.

— Что, диди?

Потол взяла ее за руку.

— Ты больше на меня не сердишься, сестра?

Курани нежно посмотрела на нее:

— Нет, диди.

— Джотин, пройди ненадолго в ту комнату,— сказала Потол.

Когда Джотин вышел, Потол раскрыла саквояж и вытащила оттуда наряды и украшения Курани. Стараясь поменьше тревожить больную, она осторожно одела на Курани поверх грязной одежды красное бенаресское сари, потом нанизала на ее руки браслеты и позвала Джотина.

Она усадила Джотина на постель больной и дала ему золотую диадему. Он осторожно надел ее на голову Курани.

Рассвета Курани уже не увидела. Глядя на ее свежее личико, нельзя было сказать, что она умерла — казалось, что она погружена в глубокий, счастливый сон.

Когда мертвое тело должны были выносить, Потол с рыданием бросилась на грудь Курани.

— Сестра, ты теперь счастлива? Смерть была к тебе благосклоннее, чем жизнь.

Джотин смотрел на спокойное нежное лицо покойницы и думал: «Тот, кто взял это сокровище, не лишил меня его».

1902



Исполненное обещание

I

Даже матери не всегда так привязаны к своим детям, как любил Бонгшибодон своего брата Рошика.

Стоило Рошику замешкаться, возвращаясь из школы, как Бонгши, бросив работу, кидался его искать. Он не мог есть сам, не накормив Рошика. А уж если брат заболевал, то Бонгши горько плакал.

Рошик был моложе брата на шестнадцать лет. Он был самым младшим, а Бонгши самым старшим в семье. Но все остальные дети умерли. Остались только эти двое, когда скончалась мать. Рошику был тогда всего один год. Прошло еще два года, и они потеряли отца. Обязанности по воспитанию Рошика целиком легли на плечи Бонгши.

Ткачество было наследственной профессией рода, к которому принадлежал Бонгши. Оно позволило Обхираму Бошаку, прапрадеду Бонгши, построить в деревне храм, в котором до сих пор стоит изваяние Кришны. Но потом из-за моря нагрянул железный дьявол и поразил беспомощный станок огненными стрелами, поселил в домах ткачей духов голода и под свист пара стал играть на трубе свой победный марш.

Но станок цеплялся за жизнь, он не хотел умирать. Несмотря ни на что, челнок до сих пор проворно снует с ниткой в зубах, хотя его старомодные манеры не по душе капризной Лакшми. Железный дьявол хитростью, силой, правдой и неправдой полностью подчинил ее себе.

У Бонгши были некоторые благоприятные возможности. Ему покровительствовали местные господа — Бонгши ткал для них и многочисленных членов их семейств тонкую ткань. Один он не мог справиться с этим делом, и поэтому ему приходилось нанимать помощников. Жениться в тех краях было нелегко — невесты стоили очень дорого,— тем не менее Бонгши мог бы за все это время скопить достаточно денег, чтобы взять в дом девушку без претензий. Если этого не случилось, то только из-за Рошика.

На праздник пуджи для Рошика выписывались наряды, не уступавшие свадебным нарядам принца. Стараясь доставлять Рошику и другие дорогие вещи, в которых тот вовсе не нуждался, Бонгши должен был урезывать себя во всем.

Тем не менее нужно было подумать и о продолжении рода. Бонгши мысленно выбрал себе девушку из подходящей семьи и стал копить деньги. Триста рупий отцу девушки и сто рупий на украшения будет достаточно,— решил он и по грошам стал собирать необходимые деньги.

Денег пока что было мало, но зато и времени впереди было достаточно. Его будущей невесте было всего четыре года, так что в распоряжении Бонгши было во всяком случае лет пять.

Но звезда в гороскопе Бонгши, которая должна была помочь ему скопить деньги, явно смотрела на Рошика и, следовательно, никак не могла выполнить своей задачи.

В деревне Рошик был коноводом всех своих сверстников и младших ребятишек. Человек, растущий в холе и получающий все, что он пожелает, неодолимо притягивает к себе обиженных судьбой. Приблизиться к нему — это как будто в какой-то степени удовлетворить свои желания. Люди льнут к нему вовсе не из-за того, что много получают от этого; если им даже ничего не достается, все равно их жадное воображение несколько успокаивается.

Было бы несправедливо сказать, что только роскошь, окружавшая Рошика, привлекала к нему деревенских детей. Он проявлял такие удивительные способности ко всему, что даже дети из более высоких семей, чем та, к которой принадлежал он, не могли не склоняться перед ним. За что бы он ни взялся, все ему удавалось. От него,

повидимому, не были скрыты знания, накопленные в прежних рождениях, и ему не надо было учиться — он все схватывал на лету.

Способности Рошика снискали ему популярность даже среди взрослых; не только дети, но даже их родители настойчиво просили его сделать то или другое.

Однако большим недостатком мальчика было то, что он не мог долго интересоваться одним и тем же. Как только он овладевал каким-нибудь делом, он его тут же забрасывал и даже сердился, когда ему напоминали об этом. Однажды на праздник девали из Калькутты к местным господам приехали пиротехники. Рошик быстро научился у них делать фейерверк.

Но всего лишь два года праздник калипуджа сопровождался в деревне блестящей иллюминацией. На третий год ракеты и огненные фонтаны больше не взлетали в воздух — Рошика увлек пример молодого музыканта, одетого в чапкан и мантию и носившего медаль, и он усердно разучивал пенджабские мелодии на фисгармонии.

Хотя эта причудливая игра дарований то приближала, то отдаляла мальчика от окружающих, им восхищались еще больше. А о старшем брате уж нечего и говорить. Дивясь тому, какой необыкновенный ребенок родился у них в семье, он решил, что при всех обстоятельствах нужно его вырастить. При этой мысли на глаза Бонгши навертывались слезы, и он молил Кришну взять его раньше Рошика из этого мира.

Когда приходится считаться с вечно меняющимися фантазиями столь одаренного брата, то надежды на скорую женитьбу отодвигаются в туманную даль будущего, а годы жизни тем не менее неумолимо идут.

Когда Бонгши перевалило за тридцать, его сбережения не достигли и ста рупий, и невеста оказалась в доме совсем другого жениха. Бонгши призадумался и сказал себе: «На меня надеяться уже нечего, продолжить род придется Рошику».

Если бы в этой деревне девушки могли бы сами выбирать себе женихов, то нечего было бы вообще заботиться о подыскании невесты для Рошика. Бидху, Тара, Нони, Шоши, Шудха — кого только ни назови — все любили его. Когда Рошику приходила фантазия лепить фигурки из глины, дружба девочек между собой бывала на краю гибели из-за борьбы за право обладать этими

куклами. Одна из девочек, Шойробхи, отличалась необыкновенной скромностью. Она любила наблюдать за тем, как Рошик лепит кукол, и подносила ему, когда это было нужно, глину и палочку. Девочке больше всего хотелось, чтобы Рошик велел ей что-нибудь сделать. Зная, что он любит жевать бетель во время работы, она каждый день заранее готовила его. Когда мастер выставлял перед ней плоды своего труда и предлагал ей выбрать любую куклу, она из робости никак не решалась взять ту, которая ей нравилась, и Рошик дарил ей куклу по своему вкусу.

Когда Рошику надоедало лепить и он брался за фисгармонию, дети обступали его, всем хотелось самим потрогать клавиши. Но Рошик отгонял их грозным окриком. Одна Шойробхи никогда не надоедала ему; одетая в полосатое сари, она, облокотившись на левую руку и наклонившись к Рошику, молча сидела, восторженно смотря на музыканта. Он подзывал ее и предлагал: «Шойри, иди сюда, потрогай клавиши». Но девочка не решалась приблизиться, и тогда Рошик сам брал ее за руку и заставлял нажимать пальцами на клавиши.

Гопал, брат Шойробхи, был одним из самых горячих поклонников Рошика. Он отличался от сестры тем, что его никогда не нужно было упрашивать воспользоваться разрешением. Он сам любил распоряжаться и не отставал, если ему что-либо не разрешали делать, живо интересуясь всем новым. Рошик не любил удовлетворять чужие капризы, но Гопал пользовался некоторыми преимуществами по сравнению с другими мальчиками.

Бонгши решил поженить Рошика и Шойробхи. Но эта семья занимала более высокое положение, и, чтоб достичь цели, нужно было иметь не меньше пятисот рупий.

II

До сих пор Бонгши не просил брата помочь ему в работе. Весь труд он взял на себя, ему доставляло большое удовольствие наблюдать, как Рошик развлекает людей всякими штуками, не приносящими, однако, никакой пользы для дома. А Рошик, в свою очередь, удивлялся, как может брат весь день сидеть за ткацким станком. «Я бы ни за что не мог этого вынести»,— думал он.

Бонгши отказывал себе во всем ради брата, а Рошик считал его поэтому скупым и немного стыдился — с детства он привык считать себя совсем иным человеком, чем его брат. И Бонгши сам поощрял в нем эту черту.

Когда Бонгши отказался от мысли о собственной женитьбе и решил взять в дом невесту для Рошика, эта мысль сразу же целиком завладела его воображением. Каждый месяц оттяжки казался ему тягостным. Как мираж перед умирающим от жажды путником, его мозг не оставляла родостная картина свадьбы Рошика — играет музыка, горят огни, брат в праздничных одеждах.

Но сбережения росли очень медленно. Чем больше он старался, тем дальше, казалось, отодвигался успех. Физические силы отказывались идти в ногу с духовными и часто ему изменяли. Труд становился непосильным. В часы, когда вся деревня спала и только шакалы, как ночные сторожа, перекликались друг с другом, Бонгши работал при тусклом свете маленькой лампы. Много ночей провел он так, и не было в доме никого, кто бы запретил ему это делать. Вдобавок он плохо питался, да и его зимняя одежда совсем уж износилась, многочисленные прорехи, казалось, тайно приглашали голод войти в их отверстия. Обе предыдущие зимы Бонгши говорил себе: «Ну, я как-нибудь уж дотяну этот год, подкоплю еще денег; а когда на будущий год придет в деревню разносчик и принесет зимние одежды, я возьму их у него в долг и еще через год уплачу деньги — к этому времени мой денежный ящик будет полон».

Но благоприятный год все не наступал, а здоровье становилось все хуже и хуже. И вот, наконец, Бонгши сказал брату:

— Я не в состоянии работать один на станке. Тебе тоже придется принять в этом участие.

Рошик ничего не ответил и только скорчил гримасу. Но болезнь вызвала у Бонгши дурное настроение, и он стал упрекать брата:

— Что с тобой будет, если ты бросишь нашу наследственную профессию и будешь без толку шататься целыми днями.

Слова брата были справедливы и правильны. Но Рошику показалось, что никогда в жизни он еще не терпел такой несправедливости. Он не стал есть в этот день дома и пошел удить рыбу у водоворота.

Был тихий зимний полдень, где-то на высоком размытом берегу пела птица шалик, за спиной Рошика, в манговой роще, ворковали голуби, на прибрежном мху расположилась стрекоза, расправила свои длинные прозрачные крылья и безмятежно грелась на солнце. Рошик обещал в этот день Гопалу, что будет учить его играть в латхи[1]. Предвидя, что урок начнется не скоро, Гопал начал играть с червями, которых Рошик приготовил для рыбной ловли и положил в кувшинчик.

Рошик наотмашь ударил его по лицу. Шойробхи сидела, вытянув ноги, на траве у воды и ждала, когда Рошику захочется бетеля. Неожиданно он сказал:

— Шойри, я очень проголодался, не принесешь ли ты мне поесть? Довольная девочка побежала домой и скоро вернулась с полным подолом жареного в патоке риса.

Рошик так и не подходил больше к брату в тот день.

Настроение у Бонгши было очень плохое. Ночью, во сне, он видел отца, а проснувшись, почувствовал себя еще более подавленным. Ему определенно казалось, что отец не находит себе покоя на том свете из-за того, что их род может прекратиться.

Утром Бонгши почти силой усадил Рошика за работу — ведь речь шла не о каком-то приятном или неприятном деле, а о выполнении своего долга перед родом. Рошик стал работать, но дело шло туго — руки его утратили обычную ловкость, нитка поминутно рвалась, и все время уходило на то, чтобы ее завязывать. «Это потому, что у него нет никакой практики, пройдет несколько дней, и руки привыкнут к работе», — думал Бонгши.

Когда Рошик увлекался каким-нибудь делом, его руки сами приспосабливались к этой работе. Но на этот раз он не чувствовал никакого интереса и руки отказывались ему служить. К тому же товарищи, искавшие своего коновода, застали его за этим занятием,— Рошик, как примерный мальчик, был занят работой, которой из поколения в поколение занималась его семья, и это вызвало в нем стыд и злобу. Через одного из его приятелей Бонгши сообщил Рошику, что собирается женить его на Шойробхи. Он надеялся, что приятное известие смягчит сердце брата.

[1] Латхи — палка.

Но его ожидания не оправдались. «Дада воображает, что женитьба на Шойробхи — это предел моих мечтаний», — сказал себе Рошик. Его отношение к Шойробхи резко изменилось, настолько, что она не осмеливалась теперь приносить ему бетель в подоле. Чувствуя что-то неладное, но не понимая в чем дело, кроткая девочка горько плакала. Те маленькие права, которыми она пользовалась, когда Рошик играл на фисгармонии, были утрачены; лишилась она и возможности исполнять его поручения. Жизнь стала казаться ей пустой и полной обмана.

До этих пор повсюду — в лесах и рощах, в храме Кришны, на реке и переправах, в затонах и прудах, на базаре, у кузнецов и плотников — везде Рошик чувствовал себя, как дома; все это было его владением, где он — один или с товарищами — делал что хотел и как хотел. Деревня и усадьбы местных господ составляли для него весь мир, и он никогда не ощущал потребности выйти за его пределы.

Но теперь он почувствовал, что ему тесно в маленькой деревне. Его душа рвалась куда-то в бескрайние дали, на широкий простор. У него было достаточно свободного времени — брат не слишком обременял его работой. Но даже небольшая работа отравляла весь его досуг, и у него не было теперь ни малейшего желания его использовать.

III

Как раз в эти дни одному мальчику из богатой соседской семьи купили велосипед, и он начал учиться на нем ездить. Рошик за короткое время так выучился управлять велосипедом, что он уподобился крыльям, привязанным к его ногам. Как чудесно, какое ощущение свободы, какую радость оно доставляет!

Подобно волшебному колесу Вишну, эта машина без всякого труда преодолевала любое расстояние. Будто вихрь вселился в колеса и бешено мчится со всадником на плечах. Казалось, вернулись времена, описанные в «Рамаяне» и «Махабхарате», когда человек мог иногда пользоваться орудием, принадлежавшим богам.

«Не стоит жить, если не имеешь такого велосипеда, — думал Рошик. — Да и стоит он совсем недорого.

Всего каких-то сто двадцать пять рупий. За такую ничтожную сумму человек приобретает совершенно новые способности».

Хотя Рошик решил не просить ничего больше у брата, но от этого решения пришлось отказаться. Изменилась, правда, сама форма просьбы.

— Дай мне взаймы сто двадцать пять рупий,— сказал он.

Уже некоторое время Рошик ничего не выпрашивал у брата, и это мучило Бонгши еще больше, чем его собственная болезнь. Поэтому его сердце заплясало от радости, когда Рошик обратился к нему. «Пусть все идет к черту, — подумал он, — хватит отказывать себе во всем, дам-ка я ему эти деньги».

Но сейчас же в его голову пришла другая мысль: «А род? Ведь род навсегда угаснет! Что станет, если я отдам эти сто двадцать пять рупий? В долг? Рошик берется отдать сто двадцать пять рупий, взятых взаймы! Если бы это было возможным, я мог бы умереть со спокойной душой».

Бонгши решил быть твердым, как камень, и сказал:

— Ты думаешь, о чем говоришь? Разве я могу достать такие деньги?

Рошик же со своей стороны заявил друзьям:

— Если я этих денег не получу, то не женюсь.

Когда это достигло ушей Бонгши, он заявил:

— Неплохое дело! Это забавно. Оказывается, нужно давать выкуп не только за невесту, но и за жениха. Такого не слыхивал никто из наших предков вплоть до седьмого колена.

После этого Рошик открыто восстал против брата и совсем бросил станок.

— Я болен, — отвечал он, когда его спрашивали, в чем дело. Но болезнь проявлялась только тогда, когда надо было работать на станке. Когда подходило время есть, ее признаков не было заметно.

Бонгши был несколько задет. Он сказал себе: «Ладно, больше никогда я его не попрошу работать», но тем не менее сердился и нервничал. Как раз в тот год вследствие движения «свадеши» [1] и бойкота иностранных товаров, цены и спрос на ткани ручной выделки чрезвы-

---

[1] Движение за развитие национального производства.

чайно возросли. Почти все ткачи, давно уже оставившие станок, вернулись к своему прежнему ремеслу. Ткацкие челноки, как волшебные крысы, впряженные в колесницу бога Ганеши, день и ночь неутомимо сновали в домах бенгальских ткачей, помогая исполнению заветных желаний.

Бонгши волновался, когда станок хотя бы на минуту прекращал свою работу.

Если бы Рошик сейчас помогал ему, они получили бы двухлетнюю прибыль за полгода. Но Рошик не помогал, и больной Бонгши работал, надрываясь изо всех сил.

Рошика почти никогда не было дома. Но вот однажды, под вечер, когда руки уже отказывались работать, а спина ныла от усталости, Бонгши опять услышал мелодию лакнажского напева. Он прислушался и приостановил работу, которая к этому времени из-за его ошибок превратилась в бесполезную трату времени.

Рошик уже некоторое время совсем не прикасался к фисгармонии. Раньше Бонгши радовался и гордился, когда слышал, как Рошик играет на этом инструменте. Но сегодня звуки музыки оказали на Бонгши совсем другое действие. Он оставил станок, вышел во двор и увидел, что Рошик играет для какого-то совершенно незнакомого человека. Усталый, измученный работой и лихорадкой Бонгши заплакал и наговорил брату резкостей, не стесняясь в выражениях.

— И крошки хлеба не возьму я теперь у тебя,— ответил ему Рошик.

— Нечего зря хвастаться, я прекрасно вижу, на что ты способен. Ты можешь только подражать знатным господам, играя на музыкальных инструментах, и разыгрывать из себя наваба. Нельзя так, Рошик,— сказал Бонгши и ушел в дом.

Не в силах работать, он лег на цыновку.

Рошик привел гостя не для того, чтобы развлекать его игрой на фисгармонии. Он хотел поступить на работу в бродячий цирк, приехавший в Тханагор, и, чтобы познакомить одного из членов труппы со своими талантами, проигрывал одни за другими все мотивы. В этот момент и появился старший брат.

До сих пор Бонгши никогда не упрекал брата так сурово. Он сам не понимал, как мог он выговорить та-

кие жестокие слова. Ему казалось, будто их произнес не он, а кто-то другой. После тех горьких упреков, которыми он наградил брата, он больше не считал возможным хранить накопленные деньги. Он почувствовал злобу к этим деньгам, вынудившим его пойти на такое неслыханное дело, да и не дали они ему никакого счастья. Он думал только о том, как дорог ему Рошик. Отчетливо всплывали воспоминания... Вот малыш тщетно пытается выговорить слово «дада», вот он хватает своими шаловливыми ручками нитку на станке, и никах его не отучишь от этого, вот брат раскрывает объятия, и Рошик срывается с чьих-то чужих колен, бежит к нему и прижимается к груди брата, тянет его за спутанные волосы, пытается поймать его нос своим беззубым ротиком... Сердце Бонгши охватила жгучая боль. Он больше не мог лежать. Нежным голосом он окликнул Рошика. Никто не ответил. Тогда он, охваченный ознобом, кое-как слез с цыновки и увидел Рошика, сидевшего в темноте в одиночестве рядом с фисгармонией. Бонгши отвязал с пояса длинный и узкий, как змея, кошель и сдавленным голосом сказал:

— Бери, брат, все эти деньги я копил для тебя — я хотел привести в дом невесту для тебя. Но я не могу делать этого ценой твоих слез, я слишком слаб, мой братик, мой Кришна, — купи себе велосипед или все, что захочешь.

Рошик вскочил и сдавленным голосом поклялся брату, что никогда не притронется к его деньгам.

— Мне нужен велосипед и нужна жена, но я все сделаю на свои деньги, твои мне не нужны! — крикнул он и убежал, не дожидаясь ответа.

После этого между братьями не могло быть никаких разговоров о деньгах, да и вообще никаких разговоров.

IV

Гопал, самый верный из поклонников Рошика, теперь в обиде на него и держится на расстоянии. Он больше не зовет Рошика на рыбную ловлю и отправляется туда один. А о Шойробхи и говорить нечего. Она в ссоре с Рошиком, в ссоре на всю жизнь, только ей никак не представляется возможности дать ему понять, как ужас-

но он ее обидел, — и поэтому на глаза у Шойробхи иногда навертываются непрошенные слезы.

Однажды в полдень Рошик зашел к Гопалу домой, дружески подергал его за уши и пощекотал. Гопал сперва сопротивлялся и даже пытался драться, но быстро сдался, и через минуту оба друга уже вели веселый разговор.

— Хочешь мою фисгармонию? — сказал вдруг Рошик.

Фисгармонию! Какой роскошный подарок! Разве такое возможно в наши времена? Но Гопал, всегда не колеблясь, брал то, что ему нравилось, тем более если ему не препятствовали. Он немедленно завладел фисгармонией и сказал, что теперь ни за что не отдаст ее обратно.

Когда Рошик завел разговор с Гопалом, то был уверен в том, что его услышит еще один человек. Однако сегодня его предвидение не сбывалось. Тогда Рошик прямо сказал:

— Где Шойри? Позови ее.

Гопал пошел за сестрой, но сейчас же вернулся, сказав, что Шойри некогда, она должна сейчас сушить бобы. Рошик усмехнулся про себя и пошел во двор.

— Посмотрим, как она сушит бобы, — сказал он. Ни малейшего следа бори во дворе не было. Шойробхи слышала шум шагов мальчиков, но спрятаться было некуда, она повернулась к ним спиной и уткнулась лицом в глиняную стену двора. Рошик безуспешно пытался повернуть ее к себе:

— Ну, чего ты сердишься, Шойри?

Но она вырвалась и так и осталась стоять лицом к стенке.

Когда-то Рошик вышивал по своему вкусу разноцветными нитками одеяло. Девушки вышивают их по готовым образцам, а Рошик изобретал узор сам.

Пораженная Шойробхи сосредоточенно следила за ним, пока он вышивал, ей казалось, что это будет такое удивительное одеяло, какого еще не видел мир. Когда оно было почти совсем готово, работа надоела Рошику, и он не стал ее заканчивать. Шойробхи очень расстроилась, она без конца просила Рошика не бросать работы. Еще два-три стежка, и одеяло будет готово. Но разве можно было заставить Рошика делать то, что ему не нравилось?

И вот вчера, когда уже прошло столько времени, Рошик за один вечер закончил работу над одеялом.

— Шойри, — сказал он, — я кончил одеяло, посмотри, как хорошо вышло.

Наконец, с трудом ему удалось повернуть к себе лицо Шойробхи. Однако она закрыла его краем сари — по ее щекам текли слезы, разве можно было их показать.

Много пришлось еще потрудиться Рошику, пока прежние отношения с Шойробхи были восстановлены. Когда согласие зашло так далеко, что девочка принесла Рошику бетель, Рошик разостлал одеяло во дворе — сердце девочки замерло от восторга — Рошик окончательно покорил ее. А когда Рошик сказал: «Шойри, это одеяло я вышивал для тебя, я тебе его дарю», — она никак не могла поверить, что такой необыкновенный подарок мог быть предназначен ей. Она не привыкла еще требовать для себя что-нибудь ценное. Гопал начал ее ругать, ему были незнакомы психологические тонкости, и он считал лицемерием не принять вещь, которую хочется иметь. Чтобы время попусту не шло, он свернул одеяло и отнес его в дом.

Итак, размолвка окончилась, и оба — мальчик и девочка — радовались, что их дружба будет продолжаться, как прежде.

В этот день Рошик возобновил приятельские отношения со всеми своими прежними друзьями. Только к брату он не зашел ни разу.

Бонгши лежал в постели, когда утром зашла пожилая вдова, стряпавшая на братьев, и спросила, что сегодня готовить.

— Я плохо себя чувствую, — ответил Бонгши, — и ничего не буду есть, накорми Рошика.

— Рошик сказал, что он дома есть не будет, видимо его куда-то пригласили на обед.

Бонгши глубоко вздохнул, натянул на голову покрывало и отвернулся к стенке.

А Рошик в этот день впервые покинул родную деревню и ушел вместе с цирком.

Была прохладная ночь, на небе светила луна. Все уже разошлись после базарного дня, слышались только голоса тех, кто возвращался сейчас к себе домой, шагая по тропинкам, протоптанным среди полей. Вот

возница уснул в телеге, укутавшись в теплый халат, и волы сами шли к месту, где их ждал отдых. Над коровниками курился дым от соломы и, охлаждаясь в безветренном зимнем воздухе, медленно опускался клубами на бамбуковые заросли.

Но когда Рошик и его спутники достигли опушки леса и вдали исчезли освещенные слабым лунным светом густые деревья родной деревни, мальчик затосковал.

Еще можно было вернуться обратно, но оскорбленное самолюбие не позволяло это сделать. «Я ничего не зарабатываю и ем хлеб брата, — думал Рошик, — при всех обстоятельствах нужно смыть это пятно и вернуться в родную деревню на велосипеде, купленном на собственные деньги».

Позади остались родные пруды и причалы, поля, где особенно остро чувствуется аромат горчичного растения, манговые рощи, где жужжат пчелы, позади остались игры и дружба, а впереди были неведомый чужой мир и неизвестная судьба.

V

Рошик всегда думал, что трудно работать только на станке, а любая другая работа гораздо легче. Он думал, что у него не будет никаких забот, когда он вырвется из узкого круга своей семьи, и поэтому он выехал из деревни в самом радостном настроении. Он и не представлял, сколько ему предстоит трудностей и препятствий, как много нужно затратить усилий и времени, чтобы добиться успеха. Когда стоишь на месте, отдаленная гора представляется близкой — кажется, что за каких-нибудь полчаса можно добраться до ее вершины. Так и Рошик думал, что стоит ему выехать из деревни, как он быстро и легко добьется необыкновенного успеха. Он никому не сказал о том, куда он едет. «Я сам принесу в деревню весть о своем возвращении», — мечтал юноша.

Однако когда Рошик приступил к настоящему делу, то убедился в том, что только добровольная работа приносит то уважение и симпатии окружающих, которыми он прежде пользовался. А вот работа по необходимости — совсем другое дело. Тут уже не до чувств и не до милосердия.

Когда человек сам себе хозяин, то он работает по собственному желанию и работа у него спорится. Интерес к ней вызывает удивительную ловкость, умение и наполняет душу радостью. А когда работаешь ради денег, никакого интереса не может быть. Люди, которые трудятся по необходимости, дышат воздухом неопределенных мечтаний. Лодка их жизни требует только непрерывных ударов веслами, только работы.

Цирк казался Рошику очень интересным местом, пока он был зрителем. Но когда он попал за кулисы, иллюзия исчезла. Мы вздыхаем с облегчением, избавившись от того, что некогда доставляло нам удовольствие. Но когда что-нибудь перестает нам нравиться и вместе с тем продолжает изо дня в день назойливо повторяться,— это становится самой противной вещью в мире.

Жизнь в цирке казалась Рошику все более скучной и пресной. Он часто вспоминал теперь о родной деревне. Когда он просыпался ночью, ему в темноте чудилось, что он лежит рядом с братом; через несколько мгновений он приходил в себя и понимал, что брат далеко.

В холодные ночи Рошик вспоминал о том, как Бонгши осторожно укрывал его своей одеждой, боясь как бы он не простудился. А когда он по ночам мерз здесь, в чужом доме, ему мерещилось, что брат придет и укроет его; он ждал брата и сердился, что его так долго нет.

Он просыпался. Брата рядом не было. И Рошик думал, что Бонгши, наверное, сейчас ворочается на постели и мучается от того, что не может укрыть в такую холодную ночь младшего брата своей одеждой.

«Завтра же отправлюсь домой»,— думал Рошик.

Но утром, поднявшись с постели, он вновь упрямо повторял:

— Нет, я должен скопить деньги на свадьбу и вернуться домой на собственном велосипеде. Иначе я недостоин называться мужчиной и носить имя Рошика.

Однажды руководитель труппы обрушился на Рошика с грубой бранью и обозвал его подлым ткачом. В тот же день юноша, оставив в уплату своего долга свой жалкий скарб, покинул цирк. Весь этот день он ничего не ел. Вечером он увидел коров, безмятежно пасшихся на берегу реки, и позавидовал им. «Для всех птиц и зверей,— подумал он,— земля — родная мать: она кормит их из своих рук и кладет им готовые куски в рот, а люди для

нее пасынки. Кругом расстилаются широкие поля, но ничего не найдешь на них съедобного».

Рошик подошел к берегу реки и, наполняя ладони водой, жадно напился.

«У реки нет никаких забот, — думал Рошик, — она не знает ни голода, ни нужды, ни труда; у нее нет дома, но она не чувствует в нем никакой необходимости. Приближается темная ночь, а река бесцельно бежит куда-то вперед».

Он сидел на берегу, погруженный в свои думы и устремив свой взор на реку, которая несла мимо него свои воды. Иногда ему казалось, что единственный способ достичь покоя — это сбросить тяжелое бремя человеческой жизни, броситься в свободный беззаботный поток и слиться с ним воедино.

Пока Рошик так размышлял, к берегу подошел юноша, сбросил на землю мешок, который он тащил на себе, и сел рядом с Рошиком. Вытащив из узелка молотый рис, он принялся размачивать его в воде, готовясь к тра пезе.

Рошик раньше никогда не видел таких людей. Юноша был бос, поверх дхоти у него был наброшен сюртук, на голове — тюрбан. Рошик понял, что этот молодой человек из хорошей семьи; неясно было, однако, почему он тащил эту ношу, как какой-нибудь носильщик.

Молодые люди познакомились и стали беседовать. Рошику выпала возможность съесть моченого риса столько, сколько ему хотелось.

Его новый знакомый оказался студентом калькуттского колледжа. Оказывается, он заготовлял ткани кустарной выработки для магазина национальных товаров, открытого студентами в связи с движением свадеши. Имя его было Шубодх, и он принадлежал к касте брахманов. Его не останавливали никакие препятствия, в нем не чувствовалось ни малейшей робости. День он провел на базаре и теперь, вечером, пришел сюда поужинать.

Рошику стало очень стыдно за свой образ жизни. Вместе с тем ему представилось, что он нашел выход из безнадежного, казалось, положения. Он понял, что нет ничего зазорного в том, чтобы таскать мешки и ходить босиком. Перед ним сразу открылись широкие жизненные перспективы. «Зачем только я голодал сегодня, — подумал

он, — ведь при желании я тоже мог бы таскать поклажу».

Шубход опять собирался взвалить на плечи свой мешок. Рошик решительно запротестовал.

— Я ведь ткач,— сказал он,— и я буду нести ваш груз, а вы отведите меня в Калькутту.

До сих пор Рошик никогда не признавался в том, что он происходит из рода ткачей, но сегодня он сказал об этом без всякого стеснения.

Шубход даже подпрыгнул от восторга:

— Так ты ткач! Их-то я и ищу. Теперь они на вес золота, и мы никак не можем найти преподавателя для ткацкой школы — никто не соглашается идти к нам.

Итак, Рошик в Калькутте в роли учителя в ткацкой школе. Теперь, за вычетом расходов на стол и квартиру, у него кое-что оставалось, и он мог начать копить деньги. Но все же колеса его будущего велосипеда были едва различимы в туманной дали будущего, а гирлянды для невесты вовсе не было видно.

А тем временем ткацкая школа после внезапного расцвета так же неожиданно захирела. Пока господа заседали в комитетах, все шло прекрасно, но стоило только приступить к делу, как началась неразбериха. Из самых разных мест выписывали станки, но они ткали такую невозможную дрянь, что сколько комитетчики ни заседали, они не могли даже решить, в какую мусорную яму можно выбросить весь этот хлам и как разделаться со всем этим предприятием.

Рошик больше не мог терпеть. Всей душой он рвался домой. Воспоминания о родных краях преследовали его неотвязно. Мельчайшие детали деревенской жизни казались теперь ему прекрасными — полупомешанный сын местного жреца, рыжий теленок соседей, корни большой смоковницы и пальмы, которые переплелись, как призовые борцы, возле тропинки у реки, заброшенная избушка, стоявшая в тени деревьев, забитые в землю колышки из бамбука, на которых сушились рыболовные сети. Зимородки, молча сидевшие на колышках, песни, доносившиеся по вечерам из рыбацких поселков, тенистые деревенские дороги и неподвижный воздух, напоенный ароматами, такими различными в разные времена года; преданные друзья, непоседливый Гопал и милая большеглазая Шойробхи, приносившая ему бетель в подоле. Все эти воспо-

минания, картины, запахи, звуки, любовь, привязанность, грусть — с каждым днем все больше и больше заполняли сердце Рошика. А те большие способности, которые проявились у Рошика, пока он был в деревне, теперь исчезли и здесь были никому не нужны.

Ручная работа не могла конкурировать с машинным производством. А работа учителя оказалась одним обманом и совершенно не удовлетворяла Рошика. Блеск театра манил его, как огонь бабочку, и чуть не привел к гибели — спасла лишь твердая решимость скопить деньги. А одна из всех дорог мира была для него совсем закрыта,— дорога, которая вела в родную деревню. Поэтому его так мучило желание вернуться домой.

Сначала Рошик возлагал большие надежды на ткацкую школу, но потом, когда его надежды не оправдались, когда он даже не смог получить своего жалования за два месяца, он больше не мог себя сдерживать. Его все больше и больше охватывало стремление преодолеть чувство стыда, вернуться под кровлю брата с опущенной головой, признаться, что он напрасно на целый год ушел из дому.

Настроение Рошика портилось с каждым днем, а тут еще по соседству торжественно отпраздновали свадьбу. Вечером, когда прибыл жених, раздались громкие звуки музыки. А ночью Рошику снилось, что это он, одетый в свадебное красное чели, с тиарой на голове, почему-то стоит около деревни, скрываясь в бамбуковых зарослях.

Деревенские дети дразнят Шойробхи — гляди, твой жених приехал, а она плачет с досады. Рошик пытается подбежать к ребятишкам и наказать их, но платье его запуталось в кустарнике, тиара застряла в ветках, и он никак не может выбраться из зарослей.

Когда Рошик проснулся, ему стало очень стыдно. Невеста была для него выбрана, а он не мог взять ее в дом — это было самое неприятное доказательство того, что он не настоящий мужчина. Нет, ни в коем случае нельзя было возвращаться домой и терпеть такое унижение.

VI

В сухое время года на небе целыми днями не бывает ни единого облачка. Если даже оно и появится, то дело обходится без дождя, а если дождь и пойдет, то не

намочит землю. Но в период дождей стоит появиться в уголке неба облачку, как сейчас же все небо оказывается затянутым тучами и земля затопляется непрекращающимися потоками ливня.

Так случилось и с Рошиком.

Джанки Нонди, очень богатый человек, однажды узнал о чем-то его заинтересовавшем. Вскоре его экипаж можно было видеть около помещения ткацкой школы. Он о чем-то кратко поговорил с начальником, а на следующий день Рошик покинул пансион и занял комнату в большом трехэтажном доме Нонди-бабу.

Род Нонди вел большие дела, они были связаны с английскими компаниями и занимались посредничеством, и Рошик никак не мог понять, с какой стати ему без всяких просьб дали место с очень приличным жалованием в такой фирме. На подобные места людей никогда не нужно искать — они сами находятся, а когда их берут на такую работу,— за ними не ухаживают. Рошик успел понять за это время, сколько он стоит, и поэтому, когда Джанки-бабу взял его к себе в дом, стал кормить, поить и опекать его, Рошик никак не мог постичь, почему он явился предметом таких необыкновенных забот. Ему оставалось только видеть причину своей удачи в благоприятном для него сочетании звезд и планет. В действительности, однако, звезда его счастья находилась вовсе не так далеко.

Необходимо вкратце рассказать об этом. Джанки-бабу не всегда жил так, как сейчас. Когда-то он, испытывая острую нужду, учился в колледже. Его однокурсник, Хоромохон Бошу, его лучший друг, был членом общества Брахмо Самадж[1]. Ведение дел в посредническом агентстве было давним занятием семьи Бошу. Их покровитель, один английский торговец, очень любил отца Хоромохона и втянул его в это дело, а затем Хоромохон привлек к участию в деле и своего друга Джанки.

В ранней молодости, будучи бедняком, Джанки был не менее ревностным сторонником социальных реформ, чем Хоромохон. Поэтому после смерти отца он не стал выдавать сестру замуж, а, отклонив все предложения, заставил ее учиться. Сестра таким образом вышла из брачного

---

[1] Брахмо Самадж — религиозно-философское общество, основанное в 1828 году.

возраста, и ее замужество в кругу касты ткачей, к которой принадлежала семья, стало невозможным. Выручил Хоромохон, принадлежавший к касте кайястха. Он сам женился на сестре Джанки.

Прошло много лет. Умер и Хоромохон, умерла и его жена. Почти все дело перешло в руки Джанки. Со временем он смог переехать из наемного дома в собственный трехэтажный; верно служившие хозяину никелевые часы были с позором изгнаны и заменены золотыми. Новые часы, подобно любимой жене, всегда были у сердца хозяина.

Теперь, когда кошелек был полон, все увлечения горестной юности казались Джанки ребячеством. Он хотел любыми средствами вычеркнуть эту главу из истории своего рода и вернуться в свою касту. Он твердо решил выдать дочь замуж за человека из своей касты. Несколько женихов, привлеченные богатством невесты, давали свое согласие, но когда об этом узнавали их родственники, они нарочно поднимали шум, и свадьба расстраивалась. Джанки был согласен взять необразованного зятя, видимо он не боялся даже счастье всей жизни дочери принести в жертву богине общественного положения.

Вот тут-то он и услышал об учителе ткацкой школы. Оказывается, он принадлежал к роду тханагорских Бошаков — а имя их предка Обхирама Бошака было хорошо известно. Сейчас они обеднели, но ведь семья Бошаков была более родовитой, чем семья Нонди.

Хозяйке Рошик понравился, даже когда она смотрела на него издалека.

— Какое у него образование? — спросила она у мужа.

— Это не имеет для нас значения. Наоборот, чересчур образованные люди теперь весьма неохотно подчиняются требованиям индуизма.

— А как у него с деньгами?

— Он порядком в них нуждается. Это нам на пользу.

— Но придется звать родственников? — вновь спросила жена.

— Нет, спасибо, я уж много раз это делал. Родственники всегда с охотой приходили, но свадьба всякий раз расстраивалась. Я решил сперва сыграть свадьбу, а потом уж вести приятные разговоры с родственниками.

Рошик день и ночь думал о возвращении в деревню. Но ему никак не приходило в голову, каким необыкновенным способом можно было бы вдруг быстро собрать нужную сумму денег. И когда совершенно неожиданно явился и выход из положения и обеспеченность, он, разумеется, не собирался зевать и терять время. Когда Джанки-бабу спросил у Рошика, не желает ли он известить о свадьбе своего брата, молодой человек ответил:

— Нет, в этом нет никакой необходимости.

«Когда все свершится, вот тогда-то он удивит брата,— думал Рошик. — Разве так уж плохо, если брат непосредственно убедится, на что он способен».

Свадьбу сыграли в положенное время. В качестве свадебного подарка среди других вещей первым делом должен был быть велосипед — таково было требование Рошика.

VII

Был конец месяца магх. На полях цвел лен. В домах варили сахарный тростник, и повсюду чувствовался его запах, амбары были наполнены рисом и бобами, кули сухой соломы высились около коровников. На противоположном берегу реки, на пастбищах, пастухи соорудили шалаши и жили там, наблюдая за скотом. Перевозчики на реке остались почти совсем без работы — вода спала, и люди, засучив подолы платьев, переходили реку вброд.

Рошик, помимо рубашки с воротником, носил тщательно заправленное в складки щегольское дхоти; поверх был наброшен черный плащ из тонкого сукна; цветные носки и модные английские ботинки из блестящей черной кожи дополняли картину. Он быстро ехал на велосипеде по окружному шоссе; на немощеных улицах деревни ему пришлось сбавить скорость. Обитатели родной деревни не узнали его в такой одежде; он же ни с кем не вступал в разговоры — ему хотелось, раньше чем его узнают другие, показаться брату. Но уже около дома его заметили дети. Неподалеку был дом семьи Шойробхи — дети побежали туда с криком:

— Приехал жених Шойробхи, приехал жених Шойробхи!

Гопал был дома, но прежде чем он успел выбежать из дома, велосипед уже стоял около дома Рошика.

Спустились сумерки. В комнате было темно, на двери высел замок. Пустой, брошенный дом, казалось, молча горько плакал: «Дома никого нет, дома никого нет».

Сердце Рошика сжалось от нестерпимой боли, в глазах потемнело. Ноги дрожали, он ухватился за запертую дверь. Откуда-то издалека доносился звон храмовых часов, казалось, он доносил до Рошика звуки торжественного прощания с какой-то безвозвратно ушедшей жизнью. Глиняные стены, соломенная крыша, запертая дверь, живая изгородь вокруг дома, наклонившаяся финиковая пальма — все, что он видел перед собой, казалось, не существовало в действительности, а было лишь картиной утраченного прошлого.

К нему подошел Гопал. Бледный Рошик посмотрел ему в лицо. Гопал, ничего не ответив, потупил глаза. Рошик с воплем закричал:

— Нет больше брата! — и, обессилев, сел около двери. Гопал сел рядом с ним.

— Рошик. дада, друг, идем к нам, идем.

Рошик вырвал руку и упал на землю.

— Дада, дада, дада! — рыдая, кричал он. Но брат, который всегда выбегал на шум его шагов, не откликался.

Наконец, отцу Гопала удалось уговорить Рошика зайти к ним. Подойдя к дому, Рошик сейчас же заметил, что Шойробхи осторожно прислоняет к стене какой-то предмет, завернутый в вышитое им когда-то одеяло. Услышав шум шагов людей, она убежала в дом и исчезла. Подойдя поближе, Рошик увидел, что в одеяло завернут велосипед. Он сейчас же все понял. Рыдание сдавило ему грудь, спазмы не давали выхода слезам.

Когда Рошик ушел из дому, Бонгши стал работать день и ночь без всякого отдыха и сумел скопить денег и на велосипед и на свадьбу. Ни о чем другом он не мог думать. Как усталая лошадь бежит, напрягая все свои силы, и, достигнув цели, падает мертвой, так свалился и Бонгши в тот день, когда он собрал всю нужную для свадьбы сумму и получил с почты заказанный велосипед. Руки его опустились в изнеможении, и станок остановился. Он позвал отца Гопала и, сжимая ему руки, сказал:

— Подождите Рошика еще год. Вот деньги на свадьбу. А когда он придет, отдайте ему велосипед и скажите,

чтобы он не сердился на брата за то, что тот не смог дать ему машину тогда, когда он просил.

Уходя из дому, Рошик дал клятву ничего не брать у брата. Провидение услышало эту жестокую клятву. Вернувшись, Рошик увидел, что дары брата давно уже ждут его, но взять их он не имел возможности. Рошику неудержимо захотелось бросить все и отдать свою жизнь станку, на котором Бонгши ткал ткань своей жизни для того, чтобы пожертвовать ее Рошику. Увы — он не мог этого сделать — его жизнь была уже навсегда положена на алтарь богатства в Калькутте...

1902



Письмо женщины

Припадаю к стопам твоим!

Сегодня исполнилось пятнадцать лет со дня нашей свадьбы, но до сих пор я тебе ни разу не писала — в этом не было необходимости. Мы всегда были рядом, и нам вполне хватало того, что мы говорили друг другу.

Но сегодня я здесь, в Пури, а ты — у себя на работе в конторе. Ты привязан к Калькутте, как улитка к своему домику. Эта связь крепко опутала тебя целиком, — весь твой ум и душу. Поэтому ты и не взял отпуска. Так было угодно богам, это они позаботились о том, чтобы освободить меня.

Я была средней невесткой в доме твоего отца. Но сегодня, стоя здесь, на берегу океана, после пятнадцати лет жизни с тобой, я поняла, что у меня другой путь. Поэтому я и осмелилась написать. Это письмо уже не средней невестки.

В детстве, когда лишь небо, которое предопределило мои отношения с тобой, могло знать о моем пути, я и брат заболели тропической лихорадкой. Брат мой умер, а я выздоровела. Все женщины в деревне говорили тогда: «Мринала выздоровела потому, что она девочка! Будь она мальчиком, ей бы не выжить».

Да, Яма прекрасно разбирается в своем деле: он забирает себе то, что дороже.

И я не умерла. Я жива! Я и пишу для того, чтобы вы все поняли это.

Мне было двенадцать лет, когда твой дядя и твой друг Нирод приехали к нам выбирать тебе невесту. Я жила в глухой деревне,— там даже днем слышен вой

шакалов. Чтобы добраться до нас от станции, нужно трястись двенадцать миль на деревенской повозке, а потом еще три мили ехать в паланкине. Пришлось им тогда помучиться! А наша бенгальская деревенская еда — эту насмешку над едой твой дядя помнит и до сих пор.

Жена твоего старшего брата была очень некрасива, и твоя мать решила восполнить этот пробел в семье за счет средней невестки. Если не это, зачем бы приехали твои родственники в нашу деревню? Ахилию [1] или еще что-нибудь в этом роде в Бенгалии ведь искать не приходится — они приходят сами.

В тот день у отца дрожали руки, а мать без конца повторяла имя Дурги. Как смогут они, деревенские жители, умилостивить городское божество. Вся надежда на красоту девушки! О, она не горда, она согласится на любую цену, которую за нее предложат. Да и как ей гордиться? Будь девушка хоть в тысячу раз красивее, стыд и смущение не дадут ей сказать и слова.

Страх домашних, страх всех деревенских камней сдавил мне сердце. Казалось, все силы неба и все силы земли сторожили в тот день двенадцатилетнюю девочку, чтобы выставить ее напоказ перед глазами двух судей. В мире не было места, где я могла бы укрыться от этих глаз! И вот заплакала флейта, вознося до небес печальные звуки, и я ушла в вашу семью.

Тщательно обсудив все мои недостатки, женщины согласились, что, в общем, я действительно красивее других. Когда об этом услышала жена твоего старшего брата, лицо ее омрачилось. Но кому нужна была моя красота? Она бы ценилась вами, если бы ее создал из ила Ганга какой-нибудь пандит. Но мою красоту создал Брама, и для вашего общества она не имела значения.

Вам всем не потребовалось много времени, чтобы забыть о моей красоте, но вам приходилось на каждом шагу вспоминать о моем уме. Мой природный ум не могли уничтожить ни кухня, ни работа по дому, — он сохранился до сих пор. Это всегда беспокоило мою мать: ведь ум для женщины — одно только зло! Если тот, кому следует мириться с обстоятельствами, признает лишь разум, он будет спотыкаться на каждом шагу и в конце концов

---

[1] **Ахилия** — болезнь, вызванная понижением кислотности в организме.

разобьет свою жизнь. Но что я могла сделать? Не спрашивая меня, боги дали мне больше ума, чем это требовалось для средней невестки. Кому же могла я его вернуть? Вы все издевались надо мной, называя меня джьята[1], но я вас простила, потому что грубость — это признак слабости.

У меня было одно занятие, не предусмотренное в вашем доме, — я украдкой писала стихи, никто из вас об этом не знал. Пусть мои стихи ничего не стоят, но их не могли сковать стены вашего дома, и в них я была свободна, в них я была сама собой. Вам всем не нравилось, если что-нибудь выходило за рамки того, что требуется от средней невестки, но этого вы не могли себе даже представить. Никто из вас не догадывался, что пятнадцать лет под одной с вами крышей жила поэтесса.

Первое впечатление и самое яркое мое воспоминание о вашем доме — это коровник рядом с лестницей в женскую половину. Коровы могли проходить в него только через двор. Там же, в углу двора, стояла кормушка для скота. По утрам у слуг всегда много дела, и каждое утро коровы толклись у кормушки и пережевывали жвачку. У меня, глядя на них, сердце надрывалось. Ведь я деревенская женщина! Когда я попала к вам в город, эти две коровы и три теленка были для меня самыми близкими существами. Вначале я сама не ела, чтобы только накормить их. Но вскоре мои новые, склонные к шуткам родственники заметили, как я привязалась к коровам, и начали сомневаться в моей касте.

Потом у меня родилась девочка, но сразу же умерла. Она и меня звала за собой. Если бы она осталась жива, она дала бы мне жизнь и все великое, что есть в ней, всю ее правду. Тогда я была бы не средней невесткой, ой, я стала бы матерью! А мать принадлежит не только своей семье, но всему миру. Я приняла страдания, чтобы сделаться матерью, но не получила свободы.

Я помню, как к вам пришел врач англичанин. Он был удивлен видом вашего жилья, но комната, в которой я родила, его возмутила. Еще бы! С наружной стороны вашего дома разбит сад. В передних комнатах нет недостатка в обстановке. Зато внутренняя половина, словно обратная сторона шкуры, бесстыдно обнаженная, без укра-

---

[1] Джьята — старший брат.

шений, без красоты. Свет сюда едва проникает, а ветер пробирается украдкой, как вор; мусор, который заносится со двора, не выметают; пятна и грязь не сходят со стола и стен... Но в одном доктор ошибся: он думал, что от этого мы страдаем. Наоборот! Невнимание похоже на пепел: снаружи он холоден, но зато в глубине хранит тепло. Когда теряется уважение к себе, невнимание кажется справедливым и не причиняет боли. Женщине и в голову не придет, что от этого можно страдать. Невнимание к женщине в вашем доме — благо для нее! Если вы захотите причинить женщине боль, вспомните о ней, и ее страдания от этого только увеличатся.

Как бы там ни было, я никогда не думала, что от невнимания можно страдать. Во время родов я лежала при смерти, но мне не было страшно. Что для меня жизнь? Из-за чего мне бояться смерти? Тяжело умирать тем, кто окружен любовью и заботой, они крепко привязываются к жизни. Если бы Яма позвал меня, я тогда так же легко пошла бы к нему, как легко проходят сквозь землю корни травы. Где только не умирают бенгальские женщины!

Но что было бы толку в моей смерти? Стыдно умирать, когда это так легко!

Моя девочка прожила недолго — зажглась, как вечерняя звездочка, и погасла. А я вновь занялась обычной работой, коровами и телятами. Так бы и прошла моя жизнь, и наступил бы конец, и не было бы нужды писать вот это письмо. Но ветер заносит на камни дворца семечко дерева ошотх, потом появляется росток, и в конце концов этот росток разрывает каменную грудь. Так в застывший уклад вашего дома залетела маленькая крупица жизни, и в семье начался разлад.

Бинду, сестра старшей невестки, спасаясь после смерти матери от притеснений двоюродных братьев, пришла в наш дом, к своей диди. «Надо же случиться такой неприятности!» — думали вы все. Но у меня скверный характер, — что поделаешь! Когда я увидела ваше раздражение, вся душа моя потянулась к этой бездомной девочке. Прийти в дом к чужим, вопреки их желанию — что может быть труднее и оскорбительнее для человека. И разве можно оттолкнуть того, кому пришлось это сделать?

Я понимала положение старшей невестки. Она очень любила сестру и поэтому взяла ее к себе. Но когда она увидела недовольство мужа, то стала вести себя так,

словно приход сестры был для нее величайшим несчастьем, и делала вид, что готова на все, лишь бы как-нибудь от нее избавиться. Она не смела открыто проявлять нежность к несчастной девочке, потому что любила мужа, как собственную жизнь.

Все это причиняло мне острую боль. Я видела, что старшая невестка нарочно, чтобы другие видели, плохо кормит и одевает Бинду и обращается с ней, как со служанкой. Это заставляло меня не только страдать, — мне было стыдно. Ведь она старалась показать всем, что вашей семье удалось обманным путем весьма выгодно заполучить Бинду, — смотрите, мол, все! Работает она много, а расходов на нее почти никаких!

У старшей невестки не было ничего, кроме благородного происходжения, — ни денег, ни красоты. Ты прекрасно знаешь, с каким трудом умолили свекра согласиться на эту свадьбу. Диди и сама считала себя виноватой перед вами всеми и старалась держаться как можно скромнее. Она занимала в вашем доме так мало места!

Но ее хороший пример — для нас плохие последствия. Я не могла во всем ограничивать себя до невозможного. И как бы я ни уважала человека, я не могу ради него хорошее считать плохим — ты в этом сам не раз убеждался. И я взяла Бинду к себе.

— Средняя невестка испортит девочку из бедной семьи, — говорила диди. Она стала всем жаловаться на меня, точно я совершила какой-то дурной поступок. Но я твердо знала, что в душе она радовалась: теперь тяжесть ошибки легла на мои плечи. Не смея сама высказывать нежность к сестре, она почувствовала облегчение, когда стала проявлять ее через меня.

Старшая невестка старалась приуменьшить возраст Бинду на несколько лет. Но если бы сказать кому-нибудь по секрету, что Бинду было не меньше четырнадцати, — спорить никто бы не стал. Ты помнишь, какая она была дурнушка — и если бы она разбила лицо о стол, люди стали бы беспокоиться не о ней, а о столе. У нее не было ни отца, ни матери, следовательно — некому было выдать ее замуж. Да и кто захотел бы на ней жениться?

Бинду пришла ко мне, полная страха. Она словно боялась осквернить меня. Она вела себя так, словно не имела права появляться на свет: вечно жалась в сторонке —

лишь бы не попадаться людям на глаза. Ведь даже в отцовском доме двоюродные братья не могли найти угла для Бинду! Она была никому не нужна! Ненужные, лишние вещи легко находят себе место в комнатах потому, что люди о них забывают. Но ненужная женщина — это другое дело. Во-первых, она ненужная, а во-вторых, ее невозможно забыть. Поэтому ей нет места даже в мусорной яме. Другое дело, что двоюродные братья Бинду сами не очень нужны для этого мира. Я, право, не стала бы утверждать обратного. Но им было виднее.

Вот почему Бинду дрожала от страха, когда я привела ее к себе. Это меня расстроило. Очень осторожно я объяснила ей, что она может жить только у меня.

Но моя комната не была только моей комнатой. И задача оказалась не из легких.

Через несколько дней на теле Бинду выступили какие-то красные пятна — может быть, это была потница, может быть, что-нибудь другое. Но все в доме закричали, что это оспа. Ведь это — Бинду!

Пришел неопытный врач, который жил в том же квартале, и предложил подождать еще два дня,— пока ничего определенного он сказать не мог. Но никто не хотел ждать. Бинду готова была умереть со стыда. А я заявила, что оспа это или нет, но я скорее соглашусь жить вместе с Бинду в мусорной яме, чем позволю что-нибудь с ней сделать. Вы все готовы были избить меня, и только сестра Бинду, притворившись рассерженной, предложила отправить несчастную девочку в больницу. Но к тому времени все красные пятна на теле Бинду исчезли, и это еще больше вас всех встревожило. Вы утверждали, что это могла быть только оспа. Ведь это же Бинду!

У неизбалованного заботой человека вырабатывается одно качество: организм его крепнет, болезни его обходят, и дороги к смерти для него закрыты. Поэтому болезнь лишь поиграла с Бинду, и ничего серьезного не произошло. Но мне стало ясно, что приютить у себя самого ненужного человека труднее всего на свете. И чем бесприютнее человек, тем больше терниев на его пути.

Когда Бинду перестала меня бояться, стряслась новая беда. Она так меня полюбила, что мне стало страшно. Я ни в ком еще не встречала такой любви. Правда, я читала в книгах, что такая любовь возникает между мужчиной и женщиной.

Долгое время никто не напоминал мне о моей красоте — некому было! А теперь мою красоту заметила эта некрасивая девочка. Ей никогда не надоедало смотреть на меня. Она говорила:

— Диди, ведь никто, кроме меня, не видит, какая ты красивая!

Она обижалась до слез, когда я сама заплетала себе косы.

Она любила касаться моих волос и перебирать их.

Мне не для чего было особенно наряжаться — разве что нас приглашали куда-нибудь. Но Бинду неутомимо каждый день хоть немного меня наряжала. Девочка совсем потеряла рассудок.

На дворе, куда выходит женская половина, не было ни клочка земли. Лишь в северной части двора, у стены, на краю канавы, выросло каким-то чудом одинокое дерево. Когда я увидела, что почки на нем покраснели, я поняла: для корней дерева наступила весна. Когда я почувствовала, как осветилась душа этой заброшенной девочки, я поняла — и в ее душе повеял ветер весны. Но из какого блаженного края? Ведь не из соседнего же переулка!

Меня встревожила сила ее любви. Не раз я сердилась на Бинду, она и слышать ничего не хотела. Но в ее любви я увидела то, чего раньше никогда не замечала: самое себя, мою свободолюбивую душу.

Вам всем досаждала моя привязанность к Бинду, мои заботы об этой девушке. Не было конца вашим упрекам и брани! И когда у меня из комнаты украли браслет, вы все без стыда намекнули, что дело не обошлось без Бинду. Когда во время беспорядков полиция разыскивала по домам участников движения свадеши, вы все начали говорить, что Бинду не иначе как шпионка, подосланная полицией. Доказательств не было никаких. Но ведь это же Бинду!

Слуги в вашем доме не хотели для нее ничего делать, и когда кому-нибудь из них приказывали обслужить Бинду, девушка цепенела от смущения. Поэтому мои расходы на нее возрастали: я наняла отдельную служанку. Это всех обозлило. И ты сам, увидев как-то одежду, которую я купила для Бинду, пришел в такой гнев, что прекратил выдавать мне деньги на мелкие расходы. Тогда

я купила ей дхоти из грубой небеленой материи за пять шики[1].

Теперь я сама мыла посуду под краном во дворе, скормив предварительно остатки пищи и риса телятам. Нельзя сказать, что ты очень огорчился, когда однажды застал меня за этим занятием. Если я была несчастна, то это вовсе не означало, что и ты был несчастен, — до сегодняшнего дня такая простая истина не приходила мне в голову.

Бинду росла, и одновременно возрастал ваш гнев на нее. Естественное явление ее роста почему-то вызывало у всех неестественное озлобление. До сих пор меня удивляет одно: почему вы ее не выгнали? Впрочем, я прекрасно понимаю причину: втайне вы боялись меня. Брама дал мне ум, — в глубине души вы не могли его не уважать.

Когда не удалось избавиться от Бинду собственными силами, вы решили обратиться за помощью к посторонним. Бинду нашли жениха.

— Теперь все в порядке, — говорила старшая невестка, — Кали сохранила честь нашего рода.

Я не видела жениха и слышала только то, что, в общем, он хорош.

Бинду плакала, обнимая мои ноги:

— Диди, зачем нужно выдавать меня замуж?

— Бинду, не бойся, — уговаривала я ее, — я слышала, что твой жених — неплохой человек.

— Если он и хороший, то за что он может меня полюбить?

Родственники жениха не заговаривали о смотринах, и это успокоило старшую сестру.

Ни днем, ни ночью не переставала Бинду лить слезы. Я знаю по себе, как ей было тяжело. Я много воевала в вашей семье из-за этой девушки, но у меня не хватило смелости помешать ее свадьбе. Я не могла этого сделать. А что бы с ней стало, если бы я умерла? Ведь она девушка, и к тому же девушка темнокожая. У кого ей тогда жить? Что с ней тогда будет? Нет, лучше об этом не думать, — как подумаешь — сердце разрывается.

— Диди, — сказала мне как-то Бинду, — до свадьбы осталось пять дней, что, если я умру за это время?

---

[1] Шики — четверть рупии.

Я выбранила ее, но — видит небо, — если бы Бинду ушла тогда без страданий из жизни, у меня бы камень упал с души.

Накануне свадьбы Бинду пришла к сестре и взмолилась:

— Диди, я буду жить у вас в коровнике, буду делать все, что мне прикажут! Я припадаю к твоим ногам, не прогоняй меня!

Последнее время диди частенько украдкой плакала, и в тот день она плакала тоже. Но ведь, кроме сердца, есть и закон!

— Знаешь, Бинду, — сказала она, — муж для женщины — это все: и жизнь и свобода. А потом, если уготовано судьбой несчастье, его все равно не избежать.

Да, иного исхода не было: Бинду должна была выйти замуж, а там будь что будет.

Я хотела, чтобы свадьба состоялась у нас, но все заявили, что это невозможно, — свадьба будет в доме жениха — таков у них обычай.

Я поняла: ваш бог не позволяет вам тратиться на свадьбу Бинду. И мне пришлось замолчать. Но одной вещи никто из вас не знал,— я хотела сказать о ней диди, но промолчала, потому что она умерла бы со страха — украдкой я украсила Бинду некоторыми из своих драгоценностей. Я думаю, диди все-таки видела это, но сделала вид, что не замечает. Будьте справедливы: простите ей этот поступок!

Перед уходом Бинду обняла меня:

— Диди, вы меня совсем оставляете?

— Нет, Бинду, что бы с тобой ни случилось, я никогда тебя не оставлю.

Прошло три дня. Незадолго до этого арендатор из вашего поместья прислал барана на мясо. Я спасла его от прожорливости родственников и поместила внизу, в кладовке для угля. По утрам я кормила его сама. Вначале я полагалась на слуг, но они больше думали о том, чтобы им поесть самим, чем о корме для барана.

На четвертый день, когда я пришла утром в кладовку, я увидела Бинду, неподвижно сидящую в углу. Заметив меня, она разрыдалась.

Ее муж оказался сумасшедшим.

— Неужели это правда, Бинду?

— Разве я могла бы сказать такую неправду, диди?

Он сумасшедший. Свекор не соглашался на свадьбу, но он боится свекрови, как Ямы. Он еще до свадьбы уехал в Бенарес. Свекровь женила сына...

Я опустилась на кучу угля. Женщина не пожалела женщину!

— Она женщина, и больше ничего, — твердо сказала свекровь, — пусть мальчик и сумасшедший, но он — мужчина.

Муж Бинду не все время терял рассудок. Но иногда он так возбуждался, что его приходилось запирать. В первую ночь после свадьбы он вел себя нормально, а на другой день его охватило безумие. В полдень Бинду ела рис с латунной тарелки. Вдруг муж выхватил у нее тарелку и швырнул во двор. Он пришел в бешенство, вообразив, что Бинду — сама королева Рашмони и что слуги украли ее золотое блюдо и дали ей рис на своей тарелке!

Бинду чуть не умерла со страху. Когда ночью свекровь приказала ей идти к мужу, сердце у нее совсем упало. Но если свекровь рассердится, ее не убедишь никакими разумными доводами. Она тоже сумасшедшая, только еще опасней, потому что все считают ее здравомыслящей. И Бинду пришлось пойти наверх, каменея от ужаса. Поздно ночью, когда муж заснул, она тайком, осторожно выбралась из дому и убежала ко мне. Подробно описывать все это незачем.

От гнева и возмущения у меня кровь закипела в жилах.

— Если они пошли на такой обман, эта свадьба не может считаться законной, — сказала я. — Бинду, ты будешь жить у меня, как раньше, и я посмотрю, посмеет ли кто-нибудь взять тебя.

Но вы все тогда подняли крик.

— Бинду лжет!

— Она никогда не лжет!

— Откуда ты знаешь?

— Я точно знаю!

Вы попытались меня запугать:

— Если люди из дома свекра Бинду обратятся в полицию, мы попадем в беду!

— Суд не станет их слушать, — говорила я, — Бинду обманом выдали замуж за сумасшедшего.

— Ты, что ж, думаешь идти из-за этого в суд? Зачем это нам нужно?

— Я продам свои украшения и сама сделаю, что смогу.

— И сама пойдешь к адвокату?

Я замолчала. Я могла биться головой о стену, но что я еще могла сделать?!

В это время пришел старший брат мужа Бинду и поднял во дворе шум. Он угрожал, что пожалуется в полицейский участок.

Я не знаю, откуда взялась у меня сила, но я не могла из страха перед полицией отдать в руки палача ту, которая прибежала ко мне, спасаясь от смерти.

— Хорошо, — сказала я, — пусть идут в полицию!

Я решила запереть Бинду у себя в комнате, но нигде не могла ее отыскать. Пока я говорила, она сама вышла к деверю: она поняла, что, если останется здесь, у меня будут неприятности.

Время от времени Бинду убегала из дома свекра, но этим только увеличивала свои страдания. Свекровь говорила: «Ведь не съел же ее мальчик! В этом мире нет недостатка в плохих мужьях, по сравнению с ними мой сын — золото».

— Несчастная ее судьба, — говорила старшая невестка, — но что я могу сделать? Мужчина или скотина, но ведь он — муж!

Говоря о верности жены, вы часто повторяете историю о прокаженном, которого жена на руках принесла в публичный дом. Вы, мужчины, не испытываете ни малейшей неловкости, рассказывая об этой гнусности. Поэтому вы и возмущались поведением Бинду. В вас нет стыда!

Я деревенская женщина, и я попала в ваш дом. Но вынести все, что здесь требуют от женщины, и считать хорошим все, что вам привычно, — я не могу. Зачем только Брама дал мне столько ума?!

Я твердо знала, что Бинду больше не придет к нам в дом, даже если я умру. Но накануне свадьбы я обещала, что никогда ее не брошу.

В Калькутте учится мой младший брат Шорот. Вы все знаете, с каким воодушевлением он участвует в каждом деле, где нужны добровольцы, — морит крыс в чумных районах или борется с наводнением от разлива Дамодара, — из-за этого он уже два раза проваливался на экзаменах. Но это нисколько его не охладило. Так вот, я позвала брата и сказала ему:

— Шорот, сделай так, чтобы я могла получать известия о Бинду. Сама она не осмелится мне писать, а если и напишет, я все равно не получу ее письма.

Шорот бы больше обрадовался, если бы я попросила его украсть Бинду или проломить голову ее сумасшедшему мужу!

Когда я разговаривала с Шоротом, ты вошел в комнату и спросил:

— Опять какое-нибудь несчастье? Что еще случилось?

— То, что я попала к вам в дом, но в этом ты сам виноват.

— Если Бинду придет, то, конечно, я ее спрячу.

— Ты опять где-нибудь спрятала Бинду? Но не беспокойся, она не придет.

Присутствие Шорота еще больше усилило твои подозрения. Я знала, тебе не нравилось, что Шорот посещает нас. Вы все боялись, что за ним следит полиция: еще попадет он в какое-нибудь политическое дело и запутает вас! Поэтому я не делала ему даже бхайпото[1] и до сих пор не приглашала его к себе.

Ты сказал, что Бинду снова убежала и что ее деверь опять пришел за ней. У меня сердце разрывалось от горя, я понимала, какие муки приходилось терпеть бедной девочке, и в то же время ничего не могла для нее сделать.

Шорот ушел, но вечером он вернулся и сообщил мне:

— Бинду убежала к братьям. Они обозлились и немедленно отправили ее обратно в дом свекра. До сих пор ругаются. Подумать только! — пришлось из-за девчонки потратиться — нанять лошадей!

И тут пришла ваша кхурима[2] и сказала, что отправляется на богомолье в Пури. Я заявила, что тоже поеду с ней.

Вы все так обрадовались моей внезапной склонности к религии, что тотчас согласились. Кроме того, все боялись, что если я останусь в Калькутте, то снова наделаю хлопот из-за Бинду. Со мной и так неприятностей не оберешься!

---

[1] Бхайпото — особая церемония, заключающаяся в том, что сестра делает брату на лбу метку сандаловой пастой. Эта церемония повторяется ежегодно и означает пожелание счастливой жизни и здоровья.

[2] Кхурима — тетка отца

Я должна была ехать во вторник, но к отъезду все было готово уже в воскресенье. Тогда я позвала Шорота.

— Как хочешь, — сказала я, — но во вторник ты должен привезти Бинду к поезду, который пойдет на Пури.

Лицо Шорота просветлело.

— Не бойся, сестра, — ответил он, — я провожу ее в поезде до самого Пури — пусть она увидит Джаганнатха! [1]

А вечером в тот же день Шорот снова пришел. Когда я взглянула на его лицо, в груди у меня что-то оборвалось.

— В чем дело, Шорот? Что случилось?

— Нет, — ответил Шорот, — ничего...

— Разве Бинду не согласна? — продолжала я допытываться.

— Теперь ей не надо соглашаться. Вчера ночью она покончила с собой. Она подожгла на себе одежду. Я разговаривал с их племянником: он сказал, что Бинду оставила тебе письмо, но они его уничтожили.

Ну вот и все. Отмучилась моя Бинду.

Ревнители обычаев негодовали: что это за новая мода — кончать с жизнью, поджигая на себе одежду!

Все родственники в доме твердили, что это сплошная комедия. Пусть так. Но почему огонь этой комедии поражает только сари бенгальских женщин, а не коча [2] бенгальских мужчин? Об этом стоит подумать.

Поистине печальная у Бинду судьба! Пока она была жива, она не славилась ни красотой, ни другими качествами; пришла смерть, и здесь она не выбрала такого способа умереть, который заставил бы мужчин восхищаться ею. Даже смерть Бинду раздражала людей.

Диди украдкой плакала в своей комнате. Но в ее слезах было некоторое успокоение. Что бы ни было, теперь все кончилось. Бинду умерла, и все. А кто знает, что бы с ней было, останься она жива!

А потом я уехала в Пури. Бинду теперь никуда уже не надо ехать, но мне надо.

Я не испытывала в вашем доме того, что люди называют тяжелой жизнью. Я не знала недостатка ни в пище,

---

[1] **Джаганнатх** — изображение бога Вишну в городе Пури (штат Орисса).

[2] **Коча** — мужская одежда

ни в одежде. Пусть твой старший брат был плох,— у тебя в характере нет таких черт, из-за которых я могла бы роптать на бога. Если бы ты даже и был таким, как дада, то и тогда, возможно, я, верная жена, винила бы не мужа, а бога — как старшая невестка. Поэтому я не хочу жаловаться, я пишу не для этого.

Но больше я не вернусь в ваш дом № 27 в переулке Макхона Борала. Я видела Бинду, я видела, как живут женщины в ваших семьях. Больше мне не нужно.

Правда, потом я поняла, что хотя Бинду и женщина,— небо ее не оставило. Как бы вы на нее ни злились, ваш гнев отныне бессилен. Она выше своей несчастной жизни! У вас не такие длинные ноги, чтобы вы могли топтать Бинду, как раньше. Смерть выше вас! В этой смерти Бинду велика! В ней она не только бенгальская женщина, не только сестра своих братьев, не только безвестная жена сумасшедшего мужа — в ней она бессмертна!

Когда прозвучала флейта смерти, успокоив разбитое сердце этой девочки, грудь мою словно пронзила стрела. Я спросила бога:

— Почему самым маленьким людям на этом свете живется труднее всех? Почему этот маленький дом в переулке, окруженный оградой со всех сторон, страшен? Почему, как бы я ни протягивала руки за каплей нектара из чаши бытия, я до сих пор не могла переступить порог внутренней половины? Почему в твоем мире я должна медленно умирать за этой ненавистной кирпичной оградой? Как бессмысленна моя жизнь! Как бессмысленны установленные в ней законы, принятые обычаи, все эти разговоры, сплетни, скандалы! Неужели победа останется за этой ловушкой страданий, а твой мир радости потерпит поражение?

Но вот зазвучала флейта смерти — и где она, стена, воздвигнутая каменщиками? Где колючая ограда, построенная вашими страшными законами? За какой проступок, за какое оскорбление вы смеете держать человека в тюрьме? Смотрите, вон в руках смерти развевается знамя всепобеждающей жизни! Средняя невестка, не бойся! Не понадобится и мгновения, чтобы цепи твои рассыпались на куски!

Я больше не боюсь ваших угроз! Сегодня передо мной голубой океан, а надо мной — облака ашара.

Я жила, окутанная тьмой ваших законов. На какой-то миг пришла Бинду, и через маленький просвет в этой тьме я увидела себя. Своей смертью эта женщина разорвала все путы. Теперь, выйдя на свет, я вижу, что только здесь я могу сохранить чувство собственного достоинства. Тот прекрасный, которому понравилась я, пренебрегаемая всеми, теперь ясно видит меня. Средней невестки больше не существует.

Ты, может быть, думаешь, что я собираюсь покончить с собой? Не бойся, я не сыграю с тобой этой старой избитой шутки! Мирабай[1] тоже была женщина, и ее оковы не были слабее моих, но ей не понадобилось искать смерти. Мирабай пела в своей песне:

Пусть отвернулся от Миры отец.
Пусть отвернулась мать.
Пусть отвернулись все, она остается тверда!
Пусть будет теперь, что будет!

Эти слова возвращают к жизни.

Да, я буду жить! Я спасена.

Покинувшая дом ваш

Мриная.

1914

---

[1] Мирабай — средневековая поэтесса и певица.



Прощальная ночь

I

— Тетя!

— Спи, Джотин; ведь совсем поздно.

— Ну и что из этого? Чем ночь у меня отличается от дня? Я вот думал о том, что нужно было бы уехать к отцу; да, кстати, где он живет?..

— В Шитарампуре.

— Ах, да, в Шитарампуре. Вот пусть Мони и поедет туда. Хватит ей ухаживать за больным. У нее самой слабое здоровье.

— Вы только его послушайте! Муж болен, а жена бросит его и поедет к отцу.

— Разве она знает, о чем говорят доктора?

— Ей не надо знать, она сама видит. Стоило мне намекнуть ей о поездке к отцу, как она страшно расстроилась и даже заплакала.

Нужно сказать, что тетка несколько исказила истину. На самом деле разговор между ней и Мони был совсем иным.

— Милая, что нового в вашей семье? Ты, наверное, получила известие — я видела здесь Онатха, а он ведь твой двоюродный брат.

— Да. Мама сообщила, что в эту пятницу у моей сестрички будет день онно-прошоно[1]. Я думаю, что...

— Верно, дитя мое, пошли ей золотое ожерелье. Ты этим прежде всего порадуешь свою мать.

---

[1] Онно-прошоно — день, когда грудному ребенку впервые дают рис.

— А я считаю, что мне нужно поехать самой. Я ведь ни разу не видела своей маленькой сестренки, а мне так хочется взглянуть на нее.

— Что ты сказала? Ты собираешься оставить Джотина одного? Разве ты не знаешь, о чем говорят доктора?

— Но ведь доктор как раз сказал, что ничего особенного...

— Пусть даже так, все равно, как ты можешь думать об отъезде, пока он в таком состоянии?

— Вы понимаете, у меня раньше никогда не было сестры, а братьев целых три. Девочку наши так любят... Если я не приеду, мама очень...

— Дитя мое, я никогда не могла понять твоей матери. Зато я хорошо знаю, что отец будет очень недоволен, если ты в такое время уедешь от Джотина.

— Вы напишите, тетя, ему несколько строк о том, что ничего тревожного сейчас нет, и если я поеду к ним, то ..

— Я прекрасно знаю, что твой отъезд ничего не изменит. Но имей в виду, уж если я соберусь писать твоему отцу, то откровенно выскажу ему все, что у меня на душе.

— Не надо, не пишите. Я пойду к мужу и попрошу его, чтобы он...

— Ну, милая, я многое терпела. Но, если ты пойдешь к Джотину с такой просьбой, не жди от меня снисхождения. А отец знает тебя слишком хорошо, его ты не обманешь.

Тетка ушла. Настроение у Мони было испорчено, и она бросилась на постель.

В это время к ней зашла приятельница из соседнего дома.

— Что с тобой, чего ты злишься? — спросила она у Мони.

— Ты только подумай. Подходит день онно-прошоно моей сестры, а они меня не пускают.

— О чем ты говоришь, дорогая, какая может быть поездка, когда твой муж так болен?

— Я все равно ничего не делаю и ничего не могу сделать. В доме царит такая тягостная тишина. Я больше не в состоянии все это выносить, говорю тебе откровенно.

— Во всяком случае, ты искренний человек.

— Да, я не умею притворяться на людях, как все вы,

и не стану забиваться в угол дома и делать страдальческие гримасы только ради того, чтобы обо мне кто-то дурно не подумал.

— Ну и что же ты думаешь делать?

— Я поеду. Никто меня не удержит.

— Ты решительная женщина. Однако мне пора идти.

II

Известие о том, что Мони плакала от одной мысли о поездке домой, взволновала Джотина. Он приподнялся, подложил себе под спину подушку и вновь откинулся.

— Тетя, открой, пожалуйста, пошире окно, а света зажигать не нужно, он только мешает.

Тихая ночь, как вечная странница, молча вошла в комнату. Древние звезды, свидетели стольких смертей, смотрели на Джотина.

На необъятном фоне темной ночи Джотин видел лицо Мони. Ее большие глаза были наполнены слезами, и, казалось, слезы эти никогда не высохнут.

Увидев, что Джотин долго молчит, маши[1] успокоилась. Она решила, что он уснул.

Неожиданно он воскликнул:

— Тетя, вы все думали, что Мони непостоянна, что ей у нас в доме не по душе! Но теперь ты видишь!..

— Да, друг мой, я ошибалась, человека узнаешь только в минуту испытания.

— Тетя!

— Джотин, друг мой, ты бы заснул.

— Дай же мне немного подумать, поговорить. И не сердись на меня.

— Ну хорошо, говори, Джотин.

— Вот, например, как много нужно времени, чтобы понять самого себя. Когда-то я думал, что никто из нас не может завоевать расположение Мони, и молча сносил это. А вы все тогда...

— Не говори так, друг мой, я тоже страдала из-за этого.

— Человеческая душа — не комок глины, подобрать ее — еще не значит взять себе. Я чувствовал, что Мони

[1] Маши — сестра жены, тетка по материнской линии.

сама себя не знала, и думал, что когда какое-нибудь потрясение откроет ее собственную душу, тогда ..

— Верно, Джотин.

— Поэтому я никогда не обращал внимания на ее ребяческие капризы.

Маши ничего не ответила — она лишь подавила вздох. Сколько раз она видела, как Джотин ночевал на веранде и мок под дождем, но в спальню не заходил; сколько раз он, лежа с головной болью в постели, думал только о том, чтобы Мони подошла к нему и положила руку на его лоб, а Мони в это время вместе с подругами вовсю готовилась к походу в театр. Маши приходила к нему в такие минуты с опахалом, а он сердито отсылал ее прочь, и она понимала, какая мука скрывалась в этом раздражении. Сколько раз ей хотелось сказать Джотину: «Друг мой, не обращай так много внимания на этого ребенка, человеку нужно поплакать, чтобы понять жизнь».

Но всего этого говорить нельзя, никто вас не поймет

Джотин воздвиг у себя в душе алтарь женщине и посадил на него Мони. И ему было нелегко примириться с мыслью, что сосуд с волшебным напитком женской любви ему не достанется и протянутая им чаша останется пустой. Поэтому поклонение продолжалось, приносились жертвы, и не исчезала надежда снискать, наконец, милость богини.

Маши опять стало казаться, что Джотин уснул. Но в это время он воскликнул:

— Знаю, ты думаешь, что я не могу быть счастлив с Мони, и поэтому сердишься на нее. Но, тетя, счастье похоже на далекие звезды, оно не уничтожает всю темноту, а лишь светит временами из трещин. Мы делаем в жизни множество ошибок, многого не понимаем, и все же иногда откуда-то через щели к нам попадает свет с какого-то иного неба. Вот откуда идет та радость, которая наполняет сегодня всю мою душу.

Маши стала нежно гладить лоб Джотина. Слез ее в темноте не было видно.

— Я думаю о том, как она молода и что с ней будет...

— Молода, Джотин? Она уже достаточно взрослая, да и мы тоже, друг мой. И вообще, так ли уж нужно счастье?

— Тетя, но я как раз ухожу в то время, когда душа Мони пробуждается.

— Зачем ты так мучаешься, Джотин? Разве мало того, что ее сердце начало просыпаться?

Внезапно Джотин вспомнил песню, которую пел когда-то давно один странствующий певец:

О мое сердце, ты не проснулось,
Когда твой избранник подошел к твоим дверям.
Ты проснулось при звуке его удаляющихся шагов,
О, ты проснулось во мраке.

— Тетя, который час?

— Скоро девять.

— Всего только девять. Я думал, что уже часа два или три. Полночь для меня наступает с закатом солнца. Зачем же ты тогда беспокоишься, что я не сплю?

— Ты же помнишь, как долго ты вчера разговаривал и не мог потом уснуть. Сегодня ты должен заснуть пораньше.

— Мони спит?

— Нет, она готовит тебе еду, а потом пойдет спать.

— Скажи, тетя, разве Мони?..

— Да она готовит всю еду для тебя, не знает ни минуты отдыха.

— А я думал, что Мони...

— Женщине разве нужно учиться всему этому. Если необходимо, она сама до всего доходит.

— У рыбного супа, который я ел сегодня в полдень, был удивительно нежный вкус. Я думал, что это ты его приготовила.

— Как бы не так! Разве Мони даст мне что-нибудь делать? Она сама стирает твои полотенца, знает, что ты не выносишь грязь. Ах, если бы ты мог поглядеть на гостиную — она дважды в день ее протирает так, что все сверкает. Если бы я ее пускала в твою комнату, то от нее нельзя было бы защититься. А она только этого и добивается.

— Значит, ее здоровье...

— Доктора говорят, что ее не нужно пускать слишком часто к больному. Она слишком нервна и, видя твои страдания, легко может сама заболеть.

— Тетя, как же ты ее удерживаешь?

— Приходится все время ходить и рассказывать ей о тебе — это мне дополнительная работа.

Звезды сверкали на небе, как слезинки на чьих-то ласковых глазах. Джотин с благодарностью склонился перед жизнью, которая готовилась его покинуть. Со спокойной и светлой верой он встречал свой конец, без колебаний вложив свою руку в протянутую из тьмы руку смерти.

Внезапно он очнулся и с легким жестом нетерпения сказал:

— Тетя, если Мони не спит, нельзя ли ее ненадолго...

— Сейчас, дорогой мой, сейчас позову.

— Я ее долго не задержу, минут пять. Мне нужно ей кое-что сказать.

Маши тяжело вздохнула и пошла звать Мони. Сердце у Джотина учащенно забилось. До сих пор ему не удавалось поговорить с Мони по душе. Их инструменты были настроены в разном тоне, и нелегко было заставить звучать их в унисон. Сколько раз ревниво мучался Джотин, заслышав издалека, как весело Мони болтает и хохочет со своими подругами! Джотин винил самого себя — отчего он не умеет, как они, болтать о пустяках. Да и не то чтобы он не умел — с другими Джотин мог разговаривать о всякой ерунде. Но легкий разговор, который принят в мужском обществе, мало пригоден для общества женщин. На серьезные темы можно говорить долго и одному, не считаясь с тем, слушает и понимает ли тебя собеседник, а вот в легком разговоре необходимо участие обеих сторон. Флейта, конечно, может звучать в одиночестве, но если нет слушателя, аплодировать некому. Как часто он сидел с Мони на цыновке на открытой веранде и напряженно пытался завязать разговор. После нескольких натянутых фраз нить беседы обрывалась и за молчанием чувствовалась острая неловкость и стыд. Джотин понимал, что Мони очень хочется убежать, и желал появления кого-нибудь третьего, ибо если вдвоем разговаривать трудно, то втроем легко.

Джотин стал обдумывать, что сказать, когда придет Мони. Но что он ни придумывал — все было как-то натянуто и неестественно и явно не годилось. Джотин стал опасаться того, что пять минут свидания снова пройдут зря. А времени для таких свиданий у него в жизни осталось очень мало.

III

— Что это, милая, ты куда собралась?

— В Шитарампур.

— Как? Кто же тебя будет сопровождать?

— Я поеду с Онатхом.

— Хорошо, мое счастье, поезжай, я тебя не стану удерживать — но только не сегодня.

— Уже куплен билет и забронировано купе.

— Какое это имеет значение? Такая потеря нас не разорит. Поезжай завтра утром, но не сегодня.

— Тетя, я не верю в ваши неблагоприятные дни. Ну что будет, если я сегодня уеду?

— Джотин звал тебя, он хотел тебе что-то сказать.

— Прекрасно, у меня еще есть время, я пойду к нему.

— Только не смей говорить ему, что уезжаешь.

— Хорошо, я ничего не скажу, только я не могу долго сидеть. Завтра онно-прошон, и я не могу опоздать.

— О милая, ну послушай же меня хоть раз в жизни. Посиди спокойно с Джотином сегодня и не спеши.

— Что же мне делать? Поезд не будет меня ждать. Онатх ушел и вернется через десять минут, чтобы взять меня с собой. Это время я могу с ним посидеть.

— Нет, тогда поезжай. Я не пущу тебя к нему, раз у тебя такое настроение. Эх ты несчастная! Человек, которого ты так мучаешь, готов всем тебе пожертвовать, он не сегодня-завтра уйдет из этого мира. Но, говорю тебе, до конца своей жизни ты еще вспомнишь этот день. Когда-нибудь ты поймешь, что на свете есть бог.

— Тетя, к чему все эти проклятия.

— О боже, зачем была рождена эта девочка. И я совершила большой грех — не смогла удержаться.

Подождав немного, маши вернулась к больному. Она надеялась, что Джотин заснул, пока она ходила за Мони. Но как только она вошла в комнату, Джотин зашевелился на постели.

— Подумайте только, какое происшествие, — воскликнула маши.

— Что случилось? Мони не пришла? Почему ты так долго ходила, тетя?

— Я застала ее в слезах — она горевала, что дала подгореть молоку, которое она кипятила для тебя. Я пробовала ее утешить: «Ну чего ты волнуешься, молока можно достать сколько угодно». Но она никак не могла успокоиться — как это она могла допустить такую небрежность — ведь молоко предназначалось для тебя Только после долгих уговоров мне удалось заставить ее не думать об этом и уложить в постель. Я уж не стала ее приводить сегодня. Пусть лучше поспит.

Джотин был очень огорчен тем, что Мони не пришла, но вместе с тем он почувствовал какое-то облегчение. Он боялся, что реальная Мони разрушит тот прекрасный образ, который он создал в своей душе. Так уже много раз бывало. Его сердце переполняла радость — ведь нежное сердечко Мони мучилось от мысли, что она испортила его молоко.

— Тетя!

— Что, мой друг?

— Я хорошо знаю, что дни мои сочтены. Но я ничуть не жалею. Ты не грусти из-за меня.

— Нет, мой друг, я не грущу. Я знаю, что благо не обязательно жизнь, это может быть и смерть.

— Тетя, я признаюсь тебе — смерть мне кажется прекрасной.

Джотин смотрел на темное небо, ему чудилось, что его Мони приняла облик смерти. Она блистала нетленной юностью, была женой, хозяйкой дома и матерью. Она — сама красота, само счастье. Звезды над ее распущенными волосами были подобны гирляндам цветов, дарованных ей Лакшми в знак своего благословения. Казалось, они вновь, как в день помолвки, встретились под этим покрывалом темноты; она глядела на него с огромного темного неба глазами, полными любви. Маленькая Мони, хозяйка дома, стала олицетворением всего разнообразия вселенной, она восседала на престоле из звезд, там, где встречаются — жизнь и смерть. Все вокруг в этой ночи, казалось, было наполнено каким-то чувством благоговения, как водой в священном колодце.

Джотин, сложив ладони, думал про себя:

«Наконец, спали покровы и разорвалась завеса этой непроницаемой тьмы. Как долго ты меня терзала, — ты, украшение вселенной, ее красота. Но больше ты уже не будешь играть моими чувствами».

IV

— Тетя, я страдаю, но совсем не так, как ты думаешь. Страдание как бы постепенно отделяется от моего «я». Оно, как баржа, было привязано к кораблю моей жизни. Но сегодня канат лопнул, и вот оно уплывает от меня все дальше и дальше... Я еще его чувствую, но оно уже как будто не мое. Да, я совсем не видел Мони уже два дня.

— Джотин, дай я подложу тебе другую подушку.

— Мне кажется, тетя, Мони куда-то уехала. Как та баржа с моим горем.

— Мой милый, попей гранатового сока, у тебя, наверное, все горло пересохло.

— Я вчера написал завещание, но забыл, показывал ли я его тебе.

— Джотин, а зачем его мне показывать?

— Когда не стало матери, у меня ведь ничего не было. Ты меня вырастила и воспитала. Вот почему я и сказал...

— О чем ты говоришь? У меня всего и было что этот дом, да небольшое состояние. Все остальное ты сам заработал.

— А этот дом?

— Дом? Ведь ты столько к нему пристроил, что теперь и не найдешь, где был мой дом.

— Мони в глубине души тебя...

— Разве я не знаю этого? Постарайся уснуть, Джотин.

— Я все завещал Мони, но все остается твоим, тетя. Она никогда тебя не ослушается.

— Мой милый, зачем ты так об этом беспокоишься?

— Я обязан тебе всем. Когда ты увидишь мое завещание, не думай, что я...

— О чем ты говоришь, Джотин? Разве меня занимает, завещал ты Мони свое состояние или нет? Разве у меня такая скверная душа? Я знаю, что самое большое счастье для тебя — отдать все Мони.

— Но я тебе...

— Слушай, Джотин, я, кажется, с тобой поссорюсь. Ты меня покидаешь и хочешь утешить деньгами?

— О тетя, если бы я тебе мог дать что-либо большее, чем деньги?!

— Ты и дал мне, Джотин, с избытком. Ты наполнил мой пустой дом. Это счастье я заслужила, видимо, целым рядом прежних рождений. Столько времени мое сердце было полно, и если теперь я больше ничего не буду получать, я не стану жаловаться. Отдай Мони все: дом, имущество, экипажи, землю. Для меня это бремя слишком тяжело.

— Ты уже больше ничем не интересуешься, вряд ли тебе что-нибудь доставит удовольствие, а Мони еще так молода...

— Не надо так говорить. Ты можешь завещать ей состояние, но что касается развлечений...

— Но почему бы ей не развлечься!

— Нет! Нет! Она не сможет! Ей больше ничего не будет доставлять удовольствия. Горло ее пересохнет и станет, как дерево, все ей будет неприятно.

Джотин умолк. Он не мог решить, хорошо это или плохо, жалеть ему или радоваться, что мир потеряет для Мони все свое обаяние, когда его не станет.

Звезды как будто шептали его сердцу: «Это так. Мы тысячи лет глядим на мир и хорошо знаем, что вся эта житейская суета — всего лишь заблуждение».

Джотин глубоко вздохнул и сказал:

— Мы не можем оставить после себя того, что действительно нужно оставить.

— Разве ты ей мало оставляешь, дитя мое? Неужели она никогда не поймет, какую ценность имеет все то имущество, которое ты ей даришь? Я молюсь, чтобы творец дал ей силу понять значение твоего дара.

— Дай мне еще гранатового сока, у меня горло пересохло. Я не помню, Мони вчера приходила?

— Конечно, приходила. Ты спал в это время. Она долго обмахивала тебя опахалом, а потом пошла отнести прачке твое белье.

— Как странно! Наверное, именно в это время мне снился сон, что Мони хочет войти ко мне в комнату. Дверь была слегка приоткрыта, она пыталась открыть ее шире, но дверь не поддавалась. Да, тетя. Вы все слишком скрытничаете, ей надо сказать, что я умираю. А то она не вынесет моей смерти.

— Друг мой, дай я укрою твои ноги теплой шалью. Они совсем окоченели.

— Нет, нет, тетя. Я не хочу ничем больше накрываться.

— Знаешь, Джотин, эту шаль соткала для тебя Мони. Сколько ночей она недосыпала, работая над этой шалью. Она только вчера ее кончила.

Джотин потрогал шаль пальцами. Нежность шерсти показалась ему олицетворением нежности сердца Мони. То, что она пряла ее ночами, как бы накладывало на эту ткань печать ее любви. Она не была соткана просто из шерсти, в нее были вплетены прикосновения ее нежных пальцев. И когда маши укрыла шалью его ноги, Джотину показалось, что Мони все эти ночи неусыпно ухаживала за ним.

— Но, тетя, я думаю, что Мони не умеет ткать — ей очень не нравилось это занятие.

— При желании нетрудно выучиться. Пришлось ей все показывать — многое здесь соткано неправильно.

— Ну и пусть неправильно, разве в этом дело? Эту работу ведь не нужно посылать на парижскую выставку. Она будет прекрасно греть мне ноги, несмотря на все недостатки.

Сознание того, что в работе Мони есть много недостатков, доставляло Джотину особое удовольствие. Бедняжка Мони, не знала, как приступить к работе, все время путалась, портила пряжу и тем не менее терпеливо, ночь за ночью, продолжала ткать — как это было трогательно и прекрасно! Он еще раз с нежностью потрогал шаль.

— Тетя, доктор внизу?

— Да, Джотин, он сегодня ночует у нас.

— Скажи ему, что он зря дает мне снотворное. Я все равно не сплю и только еще больше мучаюсь. Лучше дайте мне возможность по-настоящему бодрствовать. Знаешь, тетя, наша свадьба была вечером — двадцатого бойшакха[1]. Завтра как раз годовщина и опять, как в ту ночь, звезды зажгутся на небе. Мони, вероятно, забыла — мне хочется ей напомнить об этом. Так позови ее хоть на две минуты. Почему ты молчишь? Наверное, доктор вам всем говорит, что я слишком слаб, что мне совсем нельзя... но, тетя, я тебе совершенно определенно говорю, если

[1] Бойшакх — первый месяц индийского календаря.

я смогу поговорить с ней всего лишь несколько минут, то совершенно успокоюсь, не понадобится никаких усыпляющих средств. Я не спал эти две ночи, потому что мне очень нужно было сказать ей кое-что. Тетя, ну не плачь же ты. Мне совсем хорошо, никогда еще в жизни я не знал такой полноты чувств, как сегодня. Поэтому я прошу ее позвать. Я знаю, что сегодня я смогу вручить ей свое сердце. Мне так давно хотелось ей все высказать, но я не мог. Поэтому нельзя терять ни минуты, позови ее сейчас же, потом я уже буду не в состоянии сказать ей все, что у меня на сердце. Нет, тетя, я не в силах выносить твои слезы. Ты была так спокойна все эти дни, что же с тобой случилось сегодня?

— Я думала, Джотин, что я уже выплакала все свои слезы, но вижу, что их еще много осталось... я больше не могу...

— Позови Мони, я ей напомню о завтрашнем дне, чтобы...

— Иду, мой милый. Шомбху будет у дверей, если что-нибудь понадобится, позови его.

Маши прошла в спальню Мони, села на пол и стала тщетно взывать:

— Ну приди же, приди же хоть сейчас, ты злая, бессердечная женщина, выполни последнюю просьбу того, кто все тебе отдал, — он уже умирает — не убивай его.

Услышав шум шагов, Джотин вздрогнул и позвал:

— Мони!

— Нет, это я Шомбху. Вы меня звали?

— Позови сюда госпожу.

— Кого позвать?

— Госпожу.

— Она еще не вернулась.

— Не вернулась? Куда она уехала?

— В Шитарампур.

— Она сегодня уехала?

— Нет, три дня тому назад.

На мгновение Джотин ощутил страшную слабость в теле, в глазах у него потемнело. Он долго лежал неподвижно, откинувшись на подушки. Шаль, которая прикрывала его ноги, он отшвырнул прочь.

Когда маши, спустя долгое время, вернулась, Джотин ни слова не спросил о Мони, и она подумала, что он отвлекся от мыслей о ней.

Неожиданно Джотин воскликнул:

— Я рассказывал тебе о сне, который я видел прошлой ночью?

— Какой сон?

— Мне снилось, что Мони толкала дверь, пытаясь войти в мою комнату, дверь слегка приоткрылась, но дальше никак не раскрывалась. Она видела меня в щель, но войти не могла. Теперь я знаю, что Мони будет вечно стоять за дверью, а войти никогда не сможет. Я ее постоянно звал, но здесь ей нет места.

Маши молчала. Она поняла, что волшебное царство, которое она создавала для Джотина из лжи, исчезло. Когда горе приходит — его нужно вытерпеть.

Никто не может защититься при помощи уловок от ударов провидения.

— Тетя, любовь и нежность, которые я получил от тебя, будут сопровождать меня во всех моих будущих рождениях. Я ухожу из жизни, полный твоею любовью. В следующем рождении ты обязательно будешь моей дочерью и я буду растить тебя, окружив любовью и заботой.

— Что ты говоришь, Джотин? Зачем мне опять рождаться женщиной? Лучше пожелай, чтобы я стала твоим любимым сыном.

— Нет, нет, только не сыном. Ты придешь в мой дом такой же обворожительной девушкой, какой ты была в юности. Я тебя наряжу в самые лучшие одежды.

— Что ты болтаешь, Джотин. Лучше бы ты заснул.

— А имя я тебе дам — Лакшми.

— Это же старомодное имя.

— Ну и пусть старомодное. Ты сама — моя старомодная маши. Ты должна вернуть в мой дом дух того прекрасного времени.

— Я не хочу приносить в твой дом девочку, — это несчастье.

— Тетя, ты считаешь меня слабым и хочешь уберечь от всяких волнений?

— Дитя мое, я женщина и сама слабое существо. Поэтому я так боялась за тебя и все время старалась огра-

дить тебя от всяких несчастий. Но что я могла сделать? Я так ничего и не сумела предотвратить.

— Тетя, в этой жизни я не сумел воспользоваться всем тем, чему научился. Но знание остается при мне, и в следующем рождении я покажу, на что способен настоящий человек.

— Дитя мое, ты можешь говорить все, что хочешь, но в своей жизни ты ничего не брал, а все отдавал другим.

— Тетя, я могу гордиться одним — я никогда не был деспотом в счастье и не добивался удовлетворения своих желаний насилием. Я никогда не вырывал того, что мне не давалось, никогда не желал того, что принадлежало другому. Всю жизнь я ждал чего-то со сложенными в мольбе руками. Я не хотел лжи, и поэтому мне столько времени пришлось желать. И, быть может, истина, наконец, смилуется надо мной... Кто это, тетя, кто?

— Где? Тут никого нет, Джотин.

— Тетя, пойди посмотри в той комнате. Мне показалось...

— Дитя мое, там нет никого.

— Но мне совершенно ясно показалось, что...

— Да нет, Джотин, ничего нет. А вот сейчас идет доктор.

— Слушайте, — сказал входя врач, — когда вы сидите с больным, он слишком много разговаривает. Да и сколько ночей вы уже не спали. Идите отдыхать, с больным посидит мой помощник.

— Нет, тетя, не уходи. Тебе нельзя уходить.

— Хорошо, дитя мое, я посижу, тут в уголке.

— Нет, нет, сиди возле меня. Я не выпущу твоей руки из своей — не выпущу до самого своего конца. Я был все время у тебя на руках, и пусть бог возьмет меня из твоих рук.

— Хорошо, — сказал доктор, — но вы не должны разговаривать, Джотин-бабу. Вам, кстати, пора принимать лекарство.

— Пора? Чепуха. Время для приема лекарства прошло совсем. Пить их — только зря тешить себя. Мне они больше не нужны. К тому же я не боюсь смерти. Тетя, сейчас за мое лечение взялся сам Яма, зачем же собирать других докторов. Отошли доктора, отошли всех

докторов. Сейчас мне нужна только ты, и больше никто. Прочь всякий обман!

— Нельзя так волноваться, вам это очень вредно.

— Тогда вы уходите, доктор, вы меня волнуете... Маши, он ушел... Это хорошо! Теперь сядь ко мне сюда, на постель, положи мою голову к себе на колени и немного отдохни.

— Хорошо, дитя мое, лежи только, милый, и поспи немного.

— Нет, не проси об этом, если я засну, то уже, наверное, больше не проснусь. Мне нужно еще некоторое время бодрствовать. Ты слышишь звуки? Кто-то идет. Он сейчас войдет сюда.

V

— Джотин, милый, смотри, кто пришел. Ну посмотри же хоть раз.

— Кто это? Это сон?

— Нет, это не сон, милый, пришла Мони вместе со своим отцом.

— Кто ты?

— Неужели ты не узнаешь, милый, это твоя Мони.

— Мони? Разве та дверь открылась до конца?

— Да, она широко распахнута, мой милый, она распахнута.

— Нет, тетя, не нужно шаль класть мне на ноги. Не надо шали! Она — обман!

— Это не шаль, Джотин. Это Мони припала к твоим ногам. Положи ей руку на голову и благослови. Да не плачь же ты так, Мони. У тебя еще будет достаточно времени, чтобы плакать. А пока помолчи немного...

1914



Незнакомка

I

Сейчас мне восемьдесят семь лет. Моя жизнь интересна не продолжительностью и добродетельностью, а одним событием, воспоминание о котором я ценю особенно. Оно сыграло в моей жизни такую же важную роль, какую играет пчела в жизни цветка.

История моя небольшая, и я буду краток. Тем, кто понимает, что маленькое еще не значит незначительное, мой рассказ несомненно понравится.

В то время я только что сдал экзамены в колледже. Еще в детстве мой учитель имел все основания шутить над моей приятной внешностью и, сравнивая меня с цветком шимул, называть «прекрасным пустоцветом». Тогда я очень обижался, но с годами пришел к мысли, что, если бы мне пришлось жить снова, я все же предпочел быть красивым, даже если это вызывает насмешки учителя.

Мой отец был беден. Занимаясь адвокатурой, он нажил большое состояние, но пожить в свое удовольствие ему так и не довелось. Только на смертном одре он впервые вздохнул с облегчением.

Я был совсем маленьким, когда он умер, и мать одна воспитала меня.

Моя мать вышла из бедной семьи. Поэтому она всегда несколько кичилась своим богатством, да и мне не давала забыть об этом.

В детстве меня очень баловали, и мне кажется, что именно в этом причина того, что я так и не стал по-на-

стоящему взрослым. Даже сейчас я напоминаю младшего брата Ганеши, сидящего на коленях Оннопурны[1].

Но настоящим моим опекуном был дядя. Он был поглощен интересами нашей семьи так же, как пропитан песок реки Пхалгу ее водой. Ничего не делалось без него. Поэтому мне не приходилось о чем-либо заботиться.

Отцы, имеющие дочерей, должны согласиться, что я был завидный жених. Я даже не курил. Быть примерным человеком не составляет труда, поэтому я был таковым. Я обладал способностью во всем следовать советам матери, и в самом деле у меня не было тех качеств, которые дали бы возможность поступать иначе. Я был всегда готов подчиниться власти женской половины дома, а каждой девушке при выборе супруга следует учитывать это доброе предзнаменование. Предложения поступали из многих знатных домов. Но дядя (на земле он был главным доверенным лицом бога, вершившего мою судьбу) в отношении моей женитьбы имел свое мнение. Богатые невесты ему не нравились. Он желал, чтобы девушка в нашу семью вошла, покорно опустив голову. Однако дядя чрезвычайно любил деньги, и он хотел найти невесту с таким отцом, который не был бы богат, но в то же время был бы готов обеспечить свою дочь, отцом, из которого можно было бы извлечь какую-то выгоду и который в то же время не стал бы обижаться, если бы в нашем доме ему предложили вместо кальяна покурить из простой трубки, сделанной из кокосового ореха

Мой друг Хориш работал в Канпуре. Приехав в отпуск в Калькутту, он перевернул мне всю душу.

— Есть одна такая девушка,— заявил он.

Незадолго до его приезда я получил степень магистра искусств. Мне предстояли бессрочные каникулы: мне ведь не нужно было сдавать экзамены, искать работы, служить, думать о делах, учиться и даже желать чего-либо. Дома обо мне заботилась мать, а вне его — дядя.

В этой пустыне безделья предо мной возник мираж, закрывший для меня весь мир. То был образ прекрасной женщины, созданной моим воображением. Взглядом ее было небо, дуновение ветерка — ее дыханием, а в шелесте листьев я слышал произносимые ею заветные слова.

Как раз в это время приехал Хориш и рассказал о

---

[1] Оннопурна — одно из имен богини Дурги.

ней. Мое сердце дрогнуло, словно молодая листва дерева бокул от порывов весеннего ветра.

Хориш был человеком остроумным, он умел заинтересовать людей, к тому же мое сердце жаждало любви.

— Поговори с дядей,— предложил я ему.

Хориша нельзя было превзойти в умении собирать вокруг себя людей. В обществе он был очень популярен. Дядя, начав беседовать с ним, уже не хотел отпускать его. Весь разговор происходил в гостиной дяди. Больше всего дядю интересовало состояние дел отца невесты. Оказалось, что все обстоит так, как ему хотелось. Некогда чаша богатства их семьи была полна, сейчас она пуста, но на дне ее еще осталось кое-что. У них не было средств жить так, как этого требовала честь рода, и они, покинув родные места, уехали на запад страны, где жили очень скромно. Девушка была единственной дочерью, и отец, конечно, без колебаний отдаст все, что осталось от былого благополучия их семьи. Все было хорошо, но одно смущало моего дядю — девушке уже исполнилось пятнадцать лет.

— Не опорочен ли чем-нибудь их род? — беспокоился он.

— Нет,— заверил его Хориш.— Просто отец не может найти жениха, достойного своей дочери. Сейчас женихи очень поднялись в цене. Отец же поклялся выдать за человека из хорошей семьи. Он выжидает, а время шло, и девочка выросла.

Как бы то ни было, искусная речь Хориша подействовала. Дядя смягчился.

Предварительные переговоры о свадьбе прошли без осложнений. Конечно, дядя знал, что мир простирается за пределы Калькутты и включает в себя все, вплоть до Андоманских островов [1]. Однажды он по какому-то особому случаю даже ездил в Каннагар [2]. Но тем не менее, будь при этом мой дядя Ману, он не преминул бы тотчас же запретить указом переходить даже мост Хабра [3].

В душе я очень хотел сам поехать и посмотреть девушку, но не смел даже предложить это. Было решено по-

---

[1] Андоманские острова — острова в Бенгальском заливе.

[2] Каннагар — город, расположенный на другом берегу Ганга, в девяти милях от Калькутты.

[3] Мост Хабра — мост через Ганг в Калькутте.

слать на смотрины и для благословения невесты моего двоюродного брата Бину. На его вкус и здравый смысл я мог вполне положиться.

— Недурна! — заявил он по возвращении из Канипура.— Чистое золото!

Бину всегда был сдержан в своих оценках. Там, где мы говорили «превосходно», он говорил «сносно». Поэтому я понял, что мой брак не поселит вражды между богами Праджапоти и Камадевой.

II

О том, что свадьба должна была состояться в Калькутте, говорить не приходится. Шомбхунатх-бабу с дочерью и друзьями прибыл в Калькутту, как и обещал Хоришу, за три дня до свадьбы. Лет ему было около сорока или немного больше. Волосы у него были черные, и лишь в усах начала появляться седина. Шомбхунатх-бабу был видный мужчина, и его нельзя было не приметить в толпе.

Я надеюсь, что и он остался доволен моей внешностью. Но понять, так ли это, было трудно, — Шомбхунатх-бабу был очень неразговорчив. Скажет несколько слов, и кажется — у него нет сил говорить дальше. Дядя же болтал, не умолкая. Как бы между прочим он все время подчеркивал, что по богатству и положению мы не уступаем другим семьям города.

Шомбхунатх-бабу почти не принимал участие в разговоре и только иногда, когда дядя умолкал на мгновение, хмыкал или говорил «да». Будь я на месте дяди, это охладило бы мой пыл, но дядюшку поведение гостя нисколько не смущало. Он решил, что Шомбхунатх-бабу — человек неинтересный, неживой. В душе он был доволен этим, так как считал, что излишняя живость у родственников невесты не является достоинством. Когда Шомбхунатх собрался уходить, дядя небрежно и свысока попрощался с ним и даже не проводил его до кареты.

Относительно приданого обе стороны договорились. Дядя чрезвычайно гордился тем, что в данном деле он проявил исключительную ловкость. Он не оставил никакой неясности. Все было решено: какая часть приданого будет дана деньгами, сколько будет украшений и какого

качества должно быть золото. Я же не знал, какое будет приданое, но понимал, что переговоров о нем не избежать, что это основная часть свадебных приготовлений и дядя от них не откажется. Тем более что удивительная практичность дяди была предметом гордости нашей семьи. Во всех столкновениях, когда дело касалось интересов нашей семьи, дядя одерживал победу — это был общепризнанный факт. Хотя мы не нуждались в деньгах, а семья невесты была в стесненных обстоятельствах, все равно мы должны были настоять на своем, — такое уж было правило в нашей семье — до остальных нам не было дела.

Церемония посылки пасты из корня куркумы в дом невесты была обставлена очень пышно[1]. Для того чтобы сосчитать, сколько людей участвовало в шествии, потребовался бы специальный человек. Мать и дядя дружно посмеивались, мысленно прикидывая, сколько беспокойства доставит другой стороне оплата их.

Наконец, под дикий шум, производимый оркестром, флейтой и певцами-любителями, под шум, напоминающий рев обезумевшего слона, топчащего заросли лотоса, на котором восседает богиня музыки, я отправился в дом к невесте.

Я представлял собой узел из парчи. На мне было столько украшений, что я напоминал собой выставку драгоценностей в витрине магазина. Я должен был предстать перед будущим тестем в таком виде, который бы ясно говорил о моей стоимости.

Дяде не понравился дом, где должна была состояться свадебная церемония. В саду не было достаточного места, чтобы разместить участников свадебного шествия, да и особых приготовлений к свадьбе не было видно. К тому же Шомбхунатх-бабу был холоден в обращении, совсем не был смущен и молчал, как всегда. И если бы не его друг — адвокат, лысый, охрипший, огромный и очень смуглый мужчина с чадором, обвязанным вокруг талии,

---

[1] По индийским обычаям, когда свадебные приготовления закончены, семья жениха посылает пасту из корня куркумы и подарки в дом невесты, где невесту натирают этой пастой. Чем богаче семья жениха, тем больше людей участвует в шествии. Семья невесты, в свою очередь, должна угостить и наделить подарками участников шествия.

который, сложив умоляюще руки, беспрестанно кланяясь, льстиво улыбаясь и невнятно болтая, не начал аплодировать оркестру и не умилостивил важнейших представителей со стороны жениха, скандал мог бы разразиться в самом начале.

Через некоторое время, после того как я уселся с гостями, дядя вызвал Шомбхунатх-бабу в соседнюю комнату.

Не знаю, что там произошло, но по истечении нескольких минут Шомбхунатх-бабу вернулся и позвал меня:

— Пройдите сюда на минутку.

А произошло следующее. Если не у всех, то у некоторых людей есть свои особенности. Дядя всегда боялся быть обманутым. Он беспокоился, что украшения невесты могут быть с изъяном, а после свадьбы уже ничего нельзя будет изменить. Так как в отношении подарков жениху и устройства дома для свадьбы Шомбхунатх-бабу проявил умеренность, дядя решил, что и в отношении приданого нельзя положиться на его слова. Поэтому он привел ювелира.

Когда я вошел в комнату, то увидел, что дядя сидит на кушетке, а ювелир вместе с весами и пробирным камнем расположился на полу.

— Ваш дядя хочет до брачной церемонии проверить все украшения, — обратился ко мне Шомбхунатх-бабу.— Что вы на это скажете?

Я молчал, опустив голову.

— Что он может сказать? — возмутился дядя. — Будет так, как я сказал!

— Это правда? — спросил отец невесты, посмотрев в мою сторону. — Будет, как сказал ваш дядя? Вы ничего не можете на это возразить?

Я покачал головой, давая понять, что здесь я бессилен.

— Хорошо, тогда присядьте. Сейчас я сниму украшения с дочери и принесу их сюда.

— Опаруме незачем здесь сидеть, — сказал дядя. — Пусть идет к гостям.

— Нет, — возразил Шомбхунатх-бабу, — он должен остаться здесь.

Шомбхунатх-бабу принес в платке украшения и положил их на кушетку перед дядей. Это были старинные фамильные драгоценности, массивные и тяжелые, не по-

хожие на современные легкие и изящные вещицы. Ювелир, взяв одну из них, сказал:

— Что здесь смотреть! Это чистое, без примесей золото. Такое сейчас не купишь.

С этими словами он взял браслет, с изображенной на нем головой мокора[1], и легко согнул его.

Дядя вынул блокнот, где был список обещанных украшений. После подсчета оказалось, что число их меньше, чем указанное в списке, но по ценности и весу они намного превосходят обещанное.

Среди украшений была одна пара серег. Шомбхунатх-бабу передал их ювелиру и попросил посмотреть.

— Это английский сплав, в нем очень мало золота,— сказал ювелир.

— Возьмите их, — обратился Шомбхунатх-бабу к дяде и отдал серьги.

Дядя взглянул на них — эти серьги были подарком нашей семьи невесте. Яркая краска залила лицо дяди. Ведь его не только лишили удовольствия унизить бедного человека, но, сверх того, самого поставили в неловкое положение.

Нахмурившись, дядя сказал мне:

— Опарум, иди посиди с гостями.

— Не нужно, — сказал Шомбхунатх-бабу. — Идемте, я угощу всех.

— Что вы говорите! — воскликнул дядя. — А как же смотрины невесты?

— Об этом не беспокойтесь. Идем.

Оказалось, что этот робкий человек обладал огромной силой. Дяде пришлось подчиниться. Угощение участников свадебного шествия состоялось. Нельзя сказать, что все было очень роскошно, но блюда были превосходно приготовлены, и все остались довольны.

Когда все поели, Шомбхунатх-бабу предложил и мне попробовать угощение.

— Что же это такое? — растерянно крикнул дядя. — Жениху до совершения свадебного обряда есть не полагается!

Шомбхунатх, оставив без внимания это восклицание, обратился ко мне:

— А что вы скажете? Разве это предосудительно?

---

[1] Мокор — мифическое существо.

Дядя всем своим видом показывал, что запрещает мне принять предложение Шомбхунатх-бабу, и я не решился ослушаться его.

Я отказался.

— Я доставил вам много хлопот, — сказал тогда Шомбхунатх-бабу. — Мы не богаты и не достойны вас, извините. Уже поздно, и я не хочу вас больше затруднять.

— Мы сейчас вернемся к гостям, — поспешно сказал дядя.

— Я говорю об экипаже...

— Вы шутите? — с удивлением спросил дядя.

— Шутили вы, у меня не было ни малейшего желания делать это.

Глаза дяди округлились от изумления, он не мог вымолвить ни слова.

— Я не хочу приносить в твой дом девочку, — это я в состоянии ограбить свою девочку.

Мне же лично Шомбхунатх-бабу не счел нужным сказать и одного слова. И он был прав. Ведь я ничего не значил. Рассказывать о том, что произошло после, у меня нет ни малейшего желания. Наши сторонники учинили разгром, побили фонари и удалились.

Когда я возвращался домой, не было ни музыки, ни праздничных огней и лишь звезды скупо освещали дорогу.

III

Дома все горели огнем ненависти.

— Отец невесты так надменен! Все пороки железного века собраны в нем! Посмотрим, кто возьмет теперь его дочь замуж! — то и дело слышались возгласы.

Но разве это наказание для того, кто сам не боится оставить свою дочь в девушках?!

Пожалуй, во всей Бенгалии я был единственный мужчина, которого отец невесты выгнал из дома перед самым обрядом.

— Я буду жаловаться на оскорбление нашей семьи и на то, что так недопустимо было расторгнуто брачное соглашение, — заявил дядя, готовый поднять скандал. Но наши доброжелатели убедили его, что такое поведение сделает нас еще большим посмешищем.

Описывать, как я был разгневан, совершенно излиш-

не. Я мечтал лишь о том, чтобы благодаря неожиданному повороту судьбы Шомбхунатх-бабу униженно пал к моим ногам. Я же только покручивал бы усы, не обращая на него никакого внимания.

Но в моем сердце рядом с черным потоком ненависти струился поток другого, светлого чувства. Моя душа тянулась к той, незнакомой мне девушке, и я не мог успокоиться. В тот несчастный вечер она находилась рядом со мной, нас разделяла только стена. Но я видел знак, сделанный сандаловой пастой на ее лбу, ее фигуру, одетую в красное сари, и краску стыда на лице. Но как мне узнать, что творилось тогда у нее в сердце? В моем распоряжении были весенние цветы волшебной лианы моего воображения, до меня доносился запах ее духов, я слышал шелест ее платья. Тогда она была в нескольких шагах от меня, сейчас же расстояние между нами стало бесконечным.

В один из дней я отправился к Бину домой и принялся расспрашивать его о девушке. Он не был многоречив, но каждое его слово было подобно искре и воспламеняло мою душу. Из разговора я понял, что девушка была удивительно хороша. Я никогда не видел ни ее, ни ее портрета и не мог в своих мечтах нарисовать ясный образ ее. Поэтому моя душа, словно призрак, вздыхая, бродила у той заветной стены.

От Хориша я узнал, что девушка видела мою фотографию. Возможно, я ей понравился. Это было вполне вероятно. Сердце говорило мне, что мой портрет она хранит в шкатулке. И, может быть, оставаясь одна, закрывшись в комнате, она открывает заветную шкатулку. Когда девушка склоняется над портретом, волосы падают ей на лицо. Неожиданно, услышав за дверью шаги, она торопливо прячет портрет в своем благоухающем сари.

Прошел год. Дядя, смущенный скандалом, больше не заводил разговора о моей женитьбе. Мать же хотела подождать, пока в обществе забудут о моем позоре, а затем снова попытаться женить меня.

До меня дошли слухи, что руки моей бывшей невесты добивались женихи с положением, но она дала клятву не выходить замуж. Когда я узнал об этом, душа моя наполнилась ликованием. В мечтах я видел, что девушка потеряла аппетит и забывает причесываться. Отец,

увидев ее осунувшееся лицо, начинает волноваться. И вот однажды он застает ее плачущей в своей комнате. «Скажи, что с тобой, дорогая?», — спрашивает он. «Ничего, отец», — говорит девушка, поспешно вытирая слезы. Но ведь она любимая и к тому же единственная дочь Шомбхунатха. Сердце отца не может быть спокойным, когда его дочь увядает, как увядает во время засухи бутон цветка, не успевшего расцвести. Смирившись, Шомбхунатх приходит ко мне. А потом? Ненависть, словно черная змея, притаившаяся в моей душе, шипя нашептывает мне: «Когда гости снова соберутся на свадьбу, когда зажгутся огни и отовсюду будут приглашены люди, ты сбросишь с головы убор жениха и вместе с друзьями покинешь дом невесты». Но другой поток чувства прозрачного, как слеза, приняв образ чудесного лебедя, шепчет: «Отпусти меня, я полечу в цветущий сад Дамаянти и шепну твоей возлюбленной радостную весть»[1]. А когда кончится темная ночь горя, пойдет новый дождь, и увядший цветок — лицо моей любимой — расцветет. По эту сторону стены останется весь мир, а в заветную комнату войдет только один человек. На этом мои мечты прерывались...

IV

Но мой рассказ на этом не кончается. И я должен рассказать почему.

Я вез мою мать к святым местам. Это поручение было возложено на меня, так как дядя и на этот раз не решился переехать мост Хабра. В дороге я вздремнул, но вагон трясло, и спал я беспокойно. На одной из станций я неожиданно проснулся. Игра света и тени делала все похожим на сон. Только звезды на небе казались старыми знакомыми, все же остальное было туманно и неясно. Тусклый свет фонарей делал окружающие предметы странными и далекими. Моя мать крепко спала. Купе скупо освещалось лампой, скрытой зеленым абажуром. Повсюду в беспорядке лежали вещи, казалось, что и они относятся к миру сновидений.

---

[1] В древнеиндийской поэме «Наль и Дамаянти» царевич Наль поймал лебедя. За свое освобождение лебедь обещал полететь к Дамаянти и рассказать о его любви к ней.

И вот этой необыкновенной ночью кто-то произнес:

— Идите сюда скорей, в этом вагоне есть место.

Мне показалось, что я услышал слова из песни. Чтобы понять, как прекрасно звучит бенгальский язык в устах бенгальской девушки, нужна была именно такая обстановка, когда не чувствуешь ни времени, ни пространства.

Мне голос человека говорит больше, чем его внешность. Мне кажется, что по голосу вернее, чем по внешности, можно судить о душе человека, о том, что не находит выражения на его лице. Я быстро открыл окно вагона и выглянул, но никого не увидел. В темноте на платформе стоял железнодорожник, он махнул фонарем, и поезд тронулся, я же остался сидеть у окна.

Я не увидел той девушки, но сердце мое нарисовало ее образ. Она была подобна звездной ночи, окутавшей весь мир и в то же время недосягаемой. О незнакомая девушка, в одно мгновение ты заняла трон моего сердца! Как удивительно: ты расцвела, словно цветок, в моем полном грусти, жаждущем и беспокойном сердце. Волнение его не заставляет дрожать твои лепестки и не нанесло ущерба их безграничной нежности.

Стучали колеса, а в душе моей звучала песня. И припевом в ней были слова: «есть место, есть место». Неужели в твоем сердце есть место для меня? Разве можно дать место тому, кого не знаешь? Или незнание только туман, иллюзия, и если разорвать путы его, познание сделается безграничным. О девушка с чарующим голосом, неужели я не знаю тебя, когда красота твоего голоса запечатлена в моем сердце? «Есть место, есть», — зовешь ты меня, и я слышу, я не задержусь ни на мгновение.

Той ночью я спал плохо. На каждой станции я выглядывал в окно, боясь, что незнакомка, севшая ночью в наш вагон, сойдет на одной из них.

На следующий день мы должны были пересесть в другой поезд. У нас были билеты первого класса, и мы надеялись, что там будет немного народу. Но когда мы сошли с поезда, то увидели, что тот же поезд ожидают подчиненные генерала-сахеба с большим багажом. Через несколько минут поезд прибыл. Я понял, что надежду сесть в вагон первого класса нужно оставить. Мы

оказались в очень затруднительном положении. Все вагоны были переполнены. Мы шли от двери к двери. Неожиданно какая-то девушка, увидев мою мать, крикнула.

— Садитесь к нам, здесь есть место...

Я вздрогнул. Это был тот же голос, и я узнал припев моей песни — «есть место». Не мешкая ни секунды, мы с матерью влезли в вагон. Я не успел даже внести вещи. Другого такого беспомощного человека, как я, в мире не найдешь! Незнакомая девушка не растерялась, она быстро взяла вещи из рук носильщика и втащила их в уже тронувшийся поезд. Правда, мой фотоаппарат так и остался на той станции, но я об этом не жалею. Не знаю, как описать дальнейшее. В душе моей я храню цельную и ясную картину прошлого. Но с чего начать и чем кончить?

На этот раз я, наконец, увидел девушку, голос которой так поразил меня прошлой ночью. Я взглянул в сторону матери — она не дремала. Девушке было лет шестнадцать — семнадцать. Движения ее были свободны, красота безупречна. Вся она светилась каким-то мягким светом и совсем не казалась застенчивой.

Больше я ничего не могу добавить к ее описанию. Я не помню, какого цвета было на ней сари. И действительно, в ее туалете не было ничего такого, что могло бы затмить ее. Главное была она сама. Она была словно тонкий, нежный цветок, распускающийся только ночью. Расцветая на дереве, этот цветок пренебрегает им.

Вместе с нашей спутницей ехало трое маленьких девочек. Девушка без конца болтала и смеялась с ними. Я держал перед собой книгу, но не читал, а прислушивался к их разговору. Это была милая детская болтовня. И что самое интересное, между девушкой и ее маленькими собеседницами не чувствовалось разницы лет. С девочками она легко и радостно сама становилась девочкой. С собой девушка везла несколько иллюстрированных книг для детей. Дети упросили почитать им вслух рассказ, который им особенно нравился. Несомненно, они слушали этот рассказ раз двадцать. Но я понимал их настойчивость. Ее голос, словно прикосновение волшебной палочки, обращал слова в золото. Девушка была так полна жизни, что все, соприкасаясь с ней, оживало.

И девочек привлекал не сам рассказ, их сердца трогала большая живительная сила, которая чувствовалась в незнакомке. Свет ее пал и на меня, и солнце моей жизни засияло ярче. Для меня эта девушка была олицетворением неба и вечной, не знающей усталости жизни в мире.

На следующей станции девушка купила жареной чечевицы и вместе со своими маленькими спутницами, смеясь и не смущаясь, принялась есть ее. Я же был скован — я не мог бы спокойно, не смущаясь, есть в присутствии девушки.

В душе моей матери боролись противоречивые чувства. Ей не нравилось, что девушка, не стесняясь присутствия мужчины, с таким большим аппетитом ест жареную чечевицу. И в то же время что-то мешало ей упрекнуть незнакомку в бесстыдстве. Моя мать пришла к выводу, что девушка не получила должного воспитания. Ей очень хотелось заговорить со странной спутницей, но она не могла преодолеть своей привычки сторониться людей.

В это время поезд подошел к большой станции, на которой еще одна большая группа людей генерала-сахеба должна была сесть в наш поезд. В поезде мест уже не было. Все они столпились у нашего вагона. Моя мать окаменела от страха, не был спокоен и я.

За несколько минут до отхода поезда служащий этой станции на стене нашего купе прикрепил билеты, с написанными на них именами.

— Эти места были заказаны предварительно, — сказал он мне. — Вам придется перейти в другой вагон.

Я вскочил с излишней торопливостью.

— Нет, мы не уйдем отсюда, — заявила на хинди незнакомка.

Но служащий, не обратив внимание на взволнованную девушку, позвал начальника станции — англичанина.

— Я очень сожалею, но... — сказал он мне.

Я принялся звать носильщика. Девушка вскочила со своего места и с пылающим гневом глазами воскликнула:

— Вы не должны уходить! Вы останетесь там, где вы находитесь!

Она подошла к дверям купе и сказала по-английски начальнику станции:

— То, что эти билеты были заказаны раньше, ложь!

С этими словами девушка сорвала со стены билеты и, разорвав, бросила на платформу.

В это время к вагону подошел английский генерал. Он дал знак сопровождающим его лицам подняться в вагон. Но, увидев гневное лицо нашей спутницы и поговорив с ней, генерал отозвал начальника станции в сторону. О чем они говорили, не знаю. Но отход поезда был задержан. Только когда был прицеплен еще один вагон, поезд покинул станцию. Девушка и дети принялись снова есть свою жареную чечевицу, а я, сгорая от стыда, не отрывался от окна.

Наконец, поезд прибыл в Канпур. Девушка собрала все вещи. Ее и детей встретил слуга, говоривший на хинди. Тогда моя мать не выдержала:

— Скажите, как вас зовут, — спросила она.

— Колени, — ответила девушка.

Мы вздрогнули.

— А ваш отец...

— Он местный врач, его имя Шомбхунатх Сен.

Сказав это, девушка со своими спутницами покинула вагон.

Эпилог

Презрев запрещение дяди, ослушавшись матери, я приехал в Канпур. Я встретился с Колени и ее отцом. Отбросив гордость и сложив умоляюще руки, я смягчил сердце Шомбхунатха-бабу.

Но Колени сказала:

— Я не выйду замуж!

— Почему? — спросил я.

— Это приказ матери...

Проклятье! Неужели и у нее есть дядя!

Но затем я понял: то была родина-мать. После несостоявшейся свадьбы девушка дала обет посвятить свою жизнь обучению детей.

Но надежда не покинула меня. Голос незнакомки и сегодня, словно флейта, звучит в моем сердце. Я покинул родную семью и посвятил себя всему миру. Слова «есть место», которые я услышал впервые той темной ночью, стали припевом в песне моей жизни. Тогда мне было двадцать три года, сейчас мне исполнилось восемь-

десят семь лет. Я не перестал верить, но порвал со своим дядей. Моя мать не смогла отказаться от меня — я был ее единственным сыном.

Вы думаете, я надеюсь еще жениться на ней? Нет, никогда! В душе моей запечатлелись слова «есть место» и вселяющий надежду голос незнакомки. Проходит год за годом, а я живу здесь, в Канпуре, вижусь с ней, слышу ее голос, помогаю в ее работе. И душа моя говорит мне, что я завоевал место в ее сердце. О незнакомка, знакомство с тобой не имеет конца! Но я доволен судьбой, я нашел свое место в жизни.

1916



Содержание

Рабиндранат Тагор
Рассказы

Редактор *Э. Боровик*
Художник *М. Большаков*
Художеств редактор *Г. Кудрявцев*
Технический редактор *Ж. Примак*
Корректор *А. Типольт*

*

Сдано в набор 3|VIII 1956 г. Подписано к печати 19|XII 1956 г. Бумага 84×108[1]|32. 13,5 печ. л.-22,14 усл. печ. л.21,95 уч.-изд. л.
Тираж 90 000. Цена 8 р. 10 к.
Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

*

Отпечатано в книжной ф-ке им. Камиль Якуба Отдела издательств и полиграфической промышленности Министерства культуры ТАССР, г. Казань, ул. Баумана, 19, 1957 г.